

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ

V

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1956

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. Виноградов (Москва). Вопросы образования русского национального литературного языка	3
М. М. Гухман (Москва). О соотношении немецкого литературного языка и диалектов	26
В. П. Георгиев (София). Проблема возникновения индоевропейских языков	43

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

К итогам дискуссии о «хетто-иберийском» языковом единстве	68
---	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Фр. Травничек (Брно). Некоторые замечания о значении слова и понятия	74
Г. С. Кнабе (Курск). О применении сравнительно-исторического метода в синтаксисе	76
М. А. Габинский (Кишинев). Автохтонные элементы в молдавском языке	85
М. Ш. Ширалиев (Баку). Сложноподчиненное предложение в азербайджанском языке	93
М. М. Гаджиев (Махачкала). Сложноподчиненное предложение в лезгинском языке	99

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

П. А. Сергеев (Курган). О постановке лингвистических дисциплин в высшей школе	107
В. А. Белошапкина (Рига). Практические занятия по современному русскому языку	112

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. И. Ефимов (Москва). «Вопросы культуры речи», вып. 1	116
А. И. Зарецкий (Курск). А. Б. Шапиро. Основы русской пунктуации	127
Л. С. Бархударов (Москва). Журнал «Иностранные языки в школе» в 1953—1954 гг. (Обзор статей по вопросам языкознания)	132
В. А. Никонов (Москва). Областные работы по топонимике	142
Н. Г. Кордэтяну (Кишинев). Dicționarul limbii române literare contemporane, vol. I, ed. Acad. R. P. R., 1955	147
Изучение русского языка в Чехословакии за последние десять лет.	152

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ю. С. Маслов (Ленинград). Международное совещание славяноведов в Белграде	156
Н. Н. Стаховский (Киев). Научная работа кафедры русского языка РГУ им. Т. Г. Шевченко (1950—1955 гг.)	159
Новая советская литература по вопросам языкознания	161

Р е д к о л л е г и я:

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), В. П. Грисорин (и. о. отв. секретаря редакции), А. И. Ефимов, В. В. Иванов (и. о. зам. главного редактора), П. А. Кондрашин, П. П. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, В. А. Серебренникова, А. С. Чикава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-01606	Подписано к печати 13/1 1956 г.	Тираж 12200 экз.	Заказ 1967
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆	Бум. л. 5 ¹ / ₂	Печ. л. 14,39	Уч.-изд. л. 18,3

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

В. В. ВИНОГРАДОВ

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА*

Проблема «язык и общество» — одна из центральных проблем советского языкознания. Ее решение в нашей науке тесно связано с основными положениями марксистской теории исторического развития общества и с марксистским пониманием роли языка в этом развитии. Язык общенароден на всех этапах своей истории. История языка находится в неразрывной связи с историей народа. В развитии языка не могут не отразиться исторические изменения в структуре и социальной сущности категории народа — от племени к народности и от народности к нации — буржуазной и социалистической. Поэтому многие языковеды склонны разграничивать по крайней мере три этапа в развитии каждого языка: племенные диалекты, язык народности и национальный язык. Применительно к истории русского языка эта периодизация получает несколько усложненное выражение: восточнославянские племенные диалекты доисторической поры, язык восточнославянской (или древнерусской) народности, который затем в процессе феодальной дифференциации и концентрации древнерусских территориально-государственных объединений, связанных с разными диалектными группами восточнославянского населения, с XIV—XV вв. развивается в три языка трех народностей — великорусской, украинской и белорусской, и, наконец, образующиеся разными темпами со второй половины XVII в. на базе языков этих народностей современные национальные языки России, Украины и Белоруссии.

Иногда эта же периодизация переносится и в историю литературных языков. Дело в том, что племенные диалекты или языки обычно являются бесписьменными, а языки народностей, хотя и могут быть бесписьменными, но чаще всего, по крайней мере в славянских странах, они уже имели письменную форму выражения. Становление народности и государства увеличивало потребность в письме и письменности. В эпоху же формирования нации общество никогда не обходится без письменно-литературного языка. В периоды развития народности и нации степень распространения письменности и широта охвата разных сфер общественной жизни формами письменно-речевого общения бывают очень различны, они зависят от конкретно-исторических условий (от уровня развития общества, от взаимоотношений или соотношений между письменным и общенародным разговорным языком, от общего характера культуры и связанных с этим ограничений в сферах применения письменности — для нужд культа, для государственно-канцелярских и юридических надобностей или для потребностей науки и художественной литературы).

* Доклад, представленный на Совещание Международной славянской комиссии в Риме 1—3 сентября 1955 г.

Обычно указывают также на то, что только в эпоху существования нации разговорный и письменный языки тесно сближаются, их взаимодействие и взаимопроникновение становятся базой стилистического расчленения единого национально-литературного языка. Между тем разговорный язык народности часто бывает очень далек от письменно-литературного языка. В этот период литературный язык обычно не отражает с необходимой полнотой и широтой общий язык того народа, которому принадлежит письменность, литература. Так, ход развития русского литературного языка в древний период, в донациональную эпоху осложнялся параллельным применением церковнославянского языка русской редакции в разных жанрах литературы и письменности, а также многообразными процессами взаимодействия этих двух языков или двух типов русского письменно-литературного языка (т. е. церковнославянского и собственно русского).

Между тем в период национального развития русский литературный язык, не составляя обособленной от разговорного общенародного языка системы, совпадая с ним во всем основном, в своей структуре, в то же время характеризуется едиными более или менее выдержанными нормами речевого употребления и разнообразием стилей речи. Самое понятие «литературного языка» наполняется разным содержанием и имеет разный объем применительно к историческим периодам существования народности и нации. Так, в древней Руси письменный язык, возникший на общенародной восточнославянской речевой основе, тесно связанный с нею в своем развитии, но, естественно, постепенно расходящийся с живой народной речью, обслуживал потребности внешнеполитические, юридические и бытовые, а рядом с ним функционировал и развивался собственно литературный русский язык, сложившийся на инославянской, хотя и близкородственной языковой базе, так называемой старославянской или церковнославянской.

Взаимодействие двух языков особенно глубоко и разнообразно осуществлялось в древнерусской художественной литературе в связи с развитием ее разных стилей и жанров. Роль и место художественной литературы в культуре народности и культуре нации — совсем разные. Исторически изменяются и самые критерии художественности. В развитии национальной культуры значение художественной литературы, постепенно охватывающей и отражающей все стороны народной жизни и свободно пользующейся всеми богатствами общенародного, общенационального языка, особенно велико. Художественная литература выступает как великий организующий фактор в самом процессе формирования и развития национального языка. Развитие народности в нацию, связанное с ликвидацией феодальных отношений, с образованием в стране общего рынка, с ростом, подъемом капитализма, сопровождается постепенным сужением сферы употребления «чужого» языка, а в истории русского литературного языка — также постепенным образованием системы так называемых трех стилей — на основе упорядоченного, нормированного соотношения, взаимодействия и разграничения русских и церковнославянских элементов. Таким образом, и с этой стороны как будто подкрепляется гипотеза о различии культурно-общественных функций литературного языка и условий его развития в эпоху народности, с одной стороны, и нации, с другой.

Существенны также различия в характере регламентации литературного языка, в строгости, обязательности и универсальности его норм — применительно к разным сторонам его структуры — в разные эпохи его развития. Высказывалось предположение, что нормы письменного языка в первую очередь охватывают его грамматический строй (основное ядро синтаксической системы и морфологию) и отчасти словарный состав и что

выработка норм литературного произношения связана с более поздней эпохой развития национального языка.

Нормы — еще очень зыбкие в период существования народности — замыкаются в то время в узких пределах письменно-литературного языка и не оказывают заметного влияния на общенародный язык и его диалектные ответвления. Нормализация национального языка неразрывно связана с расширением влияния литературного языка на народно-разговорный язык, особенно в связи с образованием литературно-разговорной формы национального языка (в русском языке не ранее XVIII в.) и с характерным для периода национального развития процессом нивелировки диалектов, их «перемалывания», утраты ими резко диалектных особенностей. В эпоху национального развития устойчивая нормализация охватывает все стороны литературной речи, в том числе и произношение. Так, орфоэпические нормы русского литературного языка сложились на почве московского городского говора, который в свою очередь образовался на основе говоров Подмоскovie. Русское литературное произношение окончательно закрепилось и установилось, приобретая характер национальных норм, в начале XIX в. — не без воздействия образцового театрального произношения.

Однако есть возражения против признания этой исторической схемы воспроизведения связи истории языка и истории народа универсальной и господствующей. Так, болгарский академик В. Георгиев пишет: «Основные периоды развития данного языка нужно определять на основании особых изменений, происходящих в данном конкретном языке, а не в связи с развитием исторических категорий — народности и нации»¹. «Правильная периодизация истории данного конкретного языка, — продолжает он, — должна исходить из следующих основных положений:

Раскрытие основных „качеств“ в развитии данного языка, с учетом того, что переход языка от старого качества к новому происходит путем постепенного отмирания элементов старого качества.

Раскрытие специфики развития данного конкретного языка, т. е. раскрытие основных внутренних законов, обуславливающих его развитие.

Учет того, что язык и законы его развития находятся в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит данный язык.

Разграничить периоды в развитии языка — значит указать на самые характерные признаки нового периода, отличающие его от старого»².

В. Георгиев считает, что «при периодизации данного языка внутренне законы, вызывающие изменения в морфологическом строе языка, имеют особенно важное значение». По отношению к болгарскому языку основным внутренним законом его развития В. Георгиеву представляется движение от синтетического строя к аналитическому, и результаты действия этого закона, затрагивающего «как имена, так и глаголы и даже другие грамматические категории», должны представлять «основной критерий периодизации истории болгарского языка»³.

Здесь прежде всего остается неясным соотношение и взаимодействие между так называемыми «внутренними законами развития языка» и объективно историческими факторами развития литературного языка. Неопределенной является также связь законов развития разных структурных элементов языка. Кроме того, при автоматическом переносе на

¹ В. Георгиев, Болгарское языкознание на новом пути, «Acta Linguistica», t. IV, fasc. 1-2, Budapest, 1954, стр. 8.

² Там же, стр. 10.

³ Там же, стр. 11-12.

литературный язык тех тенденций и условий развития, которые обнаруживаются в истории народно-разговорного языка, совершенно стираются различия между письменно-литературным языком и общенародным языком с его диалектными ответвлениями и вариациями и тем самым совсем утрачивается специфика литературного развития языка.

В действительности же разнообразные явления народной, иногда областной, речи в систему литературного языка вовлекаются нередко вовсе не в момент их зарождения, а через очень значительный промежуток времени и получают здесь своеобразное течение и выражение — в зависимости, с одной стороны, от общественно-исторических условий развития литературного языка, с другой, от законов и способов приспособления к своеобразиям литературно-языковой системы в ее разных вариантах. Например, так называемый переход *е* в *о*, до сих пор чуждый некоторым южновеликорусским говорам, в русском литературном языке протекал совсем не так, как в народных диалектах; он столкнулся здесь с не свойственными народно-областной речи книжно-славянскими стилистическими разновидностями литературного языка, со специфическими особенностями их функционирования, с многочисленными новыми семантическими группами слов (например, славянизмами и иноязычными заимствованиями) и лексико-грамматическими особенностями в кругу разных категорий (ср., например, *врачебный*, *лечебный*, *учебный*; ср. *вдохновенный*, *проникновенный*, *сокровенный* и т. п.).

У исторической фонетики и исторической грамматики русского литературного языка есть целый ряд таких объектов исследования, которыми совсем не занимается общая история народного языка. Старославянское наследие в составе русского литературного языка имело свою традицию, свое звуковое, грамматическое и лексико-фразеологическое развитие. Исторические закономерности изменявшихся взаимоотношений и взаимодействий между славянизмами и народными русизмами в составе русского литературного языка еще не раскрыты. В некоторых наших отечественных, а особенно зарубежных работах есть тенденция рассматривать разные типы и стили русского литературного языка даже применительно к XVI и XVII вв. как разные языки — церковнославянский и русский.

Не касаясь вопроса о том, насколько правильно такое резкое разграничение разных языков в русской литературе и письменности XVI и XVII вв.¹, все же необходимо признать, что перед исторической фонетикой, грамматикой, лексикологией и стилистикой русского литературного языка стоят специфические проблемы и задачи, очень далекие от традиционной историко-диалектологической схемы развития народного языка, включающей в себя лишь историю форм и конструкций народно-разговорной речи с ее областными вариациями и видоизменениями — и то далеко не в полном объеме. Между тем в русском литературном языке еще очень долго — до первых десятилетий XVIII в., иногда вплоть до «Российской грамматики» Ломоносова, — сохранились, особенно под влиянием церковно-книжной традиции, пережитки, своеобразные варианты и осколки архаических форм, даже форм словоизменения — как русских, так и «славяно-русских». Их функции, лексические ограничения и сферы стилистического распространения пока еще остаются не выясненными.

Таким образом, нельзя отрицать важности для истории русского общенародного языка и его диалектов, а также — с более широкой социально-исторической и культурно исторической точки зрения — и для истории

¹ См., например, критические замечания проф. Б. О. Унбегуна о книге проф. С. Д. Никифорова «Глагол» (B. O. Unbegaun, Some recent studies on the history of the russian language, «Oxford Slavonic Papers», vol. V, 1954, стр. 126).

русского литературного языка изучения различий в общественно-исторических условиях развития языка в эпохи восточнославянской и великорусской народности, с одной стороны, и в эпоху оформления русской нации, с другой. Но нельзя не видеть и того, что характер отражения этих исторических процессов в развитии общенародного разговорного языка и его диалектов и в развитии русского литературного языка имеет существенные качественные отличия. Так как «литературный язык» есть понятие исторически изменяющееся, для разных эпох его развития наполненное разным содержанием — в зависимости не только от отношений к общенародному языку и диалектам, но и от объема и значения выполняемых им общественных функций, то было бы ошибочно, например, находить во всех изменениях русского литературного языка XIV—XVI вв. непосредственное отражение перехода от языка восточнославянской народности к языку великорусской народности.

Проблема «язык и общество» по отношению к истории литературного языка приобретает специфическую направленность и крайне сложное значение. Так, в языке московских грамот XIV—XV вв. обнаруживается явная зависимость от традиций древнего Киева и отчасти Новгорода. И в целом русский литературный язык Московской Руси XIV—XVI вв. продолжает во многом, особенно в своих высоких литературных жанрах, развивать те традиции, которые сложились в древнерусском литературном языке Киевского государства. Больше того: для русского литературно-языкового развития XV—XVI вв. характерно обращение к некоторым ставшим уже архаическими пластам древнерусского литературного языка XI—XIII вв. Все это говорит о сложности и своеобразии общественно-исторических условий развития русского литературного языка и о специфике законов этого развития сравнительно с историей общенародного русского языка.

*

Когда выдвигается вопрос об образовании русского литературного языка, то обычно привлекают к себе внимание две исторические эпохи: эпоха возникновения древнерусского письменного языка, в связи с созданием древнерусской литературы и письменности, и эпоха формирования национального русского литературного языка с XVII в. по 20—30-е годы XIX в., когда в творчестве Пушкина ясно определились литературные нормы русского литературно-словесного выражения и сложилась во всех своих основных звеньях структура современного русского языка. Однако понятие «русский литературный язык» в этих случаях неоднозначно: оно имеет качественно разнородное содержание. Согласно господствующему и во всяком случае господствовавшему до появления труда акад. С. П. Обнорского «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (М.—Л., 1946) мнению, литературным языком древней Руси до XVII — начала XVIII в. был язык церковнославянский, сформировавшийся у восточных славян на основе общелитературного языка славянства IX—X вв. — языка старославянского.

Акад. А. А. Шахматов выдвинул проблему влияния «церковного» (или церковнославянского) произношения даже на звуковой строй древнерусского литературного языка, по крайней мере его «славянизированного типа»¹. Вопрос об образовании древнерусского литературного языка тесно

¹ См. А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка («Энциклопедия славянской филологии», вып. 11. 1), Пг., 1915, стр. 208 и др. Ср. в то же время, Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV веков, в кн. «Исследования по русскому языку», т. I, СПб., 1885—1895.

связывался с водворением в древней Руси христианской культуры, с воздействием на восточное славянство византийско-болгарского просвещения. Наиболее широкую, хотя и ярко модернизированную картину освоения древнеболгарского языка не только образованными слоями древнерусского общества, но и массой горожан нарисовал А. А. Шахматов в своих курсах по истории русского языка и в своих разнообразных статьях по вопросам древнерусской культуры, литературы и литературного языка.

Шахматовская концепция — при всех ее индивидуальных оттенках — не вступала в противоречие с теми взглядами на процесс образования и развития древнерусского литературного языка, которые укрепились у нас со времен А. Х. Востокова и развивались затем М. А. Максимовичем, Ф. И. Буслаевым, М. А. Колосовым, А. И. Соболевским, Б. М. Ляпуновым, Н. Н. Дурново и другими историками русского языка.

В советскую эпоху шахматовская концепция образования русского литературного языка встретила решительное возражение и резкий отпор со стороны акад. С. П. Обнорского, проф. Л. П. Якубинского, а позднее члена-корр. АН СССР Д. С. Лихачева и некоторых других советских филологов и историков. Придавая особое значение государственно-деловому, а также поэтическому языку древней Руси, эти исследователи считают, что основа древнерусского литературного языка — восточнославянская народно-речевая. По мнению С. П. Обнорского, анализ языка «Русской Правды» (в краткой и пространной редакции), «Слова о полку Игореве», сочинений Владимира Мономаха, «Моления Даниила Заточника» приводит к неоспоримому выводу, что русский письменно-литературный язык «старшего периода» был народным во всех элементах своей структуры — и в звуковом строе, и в грамматических формах и конструкциях, и даже в лексико-фразеологическом составе. С. П. Обнорский настаивает на том, что возобладавшее представление о роли старославянского языка в образовании древнерусского литературного языка не может быть признано исторически обоснованным, во всяком случае оно крайне преувеличено, так как не считается с широким применением родной народно-разговорной речи в художественной литературе и словесности восточнославянского общества, а также в государственно-деловой и бытовой его практике.

Проф. Л. П. Якубинский в своих университетских лекциях, изданных под общим заглавием «История древнерусского языка»¹, рисовал гораздо более сложную картину образования и развития древнерусского литературного языка. Опираясь на ту общественно-историческую закономерность, согласно которой возникновение письменности обусловлено внутренними потребностями развивающегося общества, Л. П. Якубинский воспроизводит при помощи сравнительного историко-этимологического анализа соответствующей группы слов основные этапы истории письма у восточных славян и приходит к тому выводу, что в X в. и в начале XI в. государственным и дипломатическим языком древнерусского государства был язык старославянский, но что постепенно развивалась в городах древней Руси для практическо-бытовых нужд и письменность на народной восточнославянской речевой основе. В XI в. в древней Руси — в связи с усложнением и развитием общественной жизни города, в связи с расширением социально-политических прав городского веча, с распространением частной деловой переписки, — по словам Л. П. Якубинского, — происходит культурно-языковая революция, и функции государственно-делового речевого общения начинает осуществлять письменный язык на

¹ Л. П. Я к у б и н с к и й, История древнерусского языка, М., 1953.

народной восточнославянской основе. В других жанрах или видах древнерусской литературы развивается сложное стилистическое взаимодействие и сочетание русизмов и церковнославянизмов, или с преобладанием восточнославянской стихии, как, например, в языке «Слова о полку Игореве», в языке сочинений Владимира Мономаха, или с явным господством церковнославянского начала, как, например, в языке культовой, житийной, а иногда и историко-повествовательной публицистической прозы.

Член-корр. АН СССР Д. С. Лихачев, написавший исследования по вопросам древнерусского летописания, сделавший много интересных наблюдений над языком Новгородских летописей, «Слова о полку Игореве», разных памятников древнерусской повествовательной литературы, доказывал, что и древнерусская письменность, и древнерусский литературный язык возникли и сложились как продукты и результаты самобытной восточнославянской культуры, явились как плод развития восточнославянского общества под влиянием внутренних государственных нужд и культурно-бытовых потребностей. В образовании и развитии древнерусского литературного языка, по мнению Д. С. Лихачева, нашла отражение высокая культура устного публичного слова, достигнутая восточнославянским обществом IX—X вв.¹ Несмотря на увлечения и преувеличения, в этих работах заключается много исторически ценного, много такого, что позволяет преодолеть односторонний схематизм шахматовской концепции.

В настоящее время объективно-историческое положение вопроса об образовании древнерусского литературного языка может быть представлено в следующем виде. Вопрос о времени возникновения письменности у восточных славян остается не вполне ясным. Имеются основания предполагать наличие у них письменности, хотя еще и мало совершенной, в эпоху до крещения Руси. Во всяком случае в составе «Повести временных лет» до нас дошли договоры Руси с греками начала X в. (древнейший — 907 г.); некоторые из них, видимо, были написаны в Киеве (договор 945 г.). Бытовое письмо на бересте, относящееся к XI—XII вв. и найденное среди других берестяных грамот при раскопках Новгорода, Гнездовская надпись на сосуде начала X в., надписи XI в. на шиферных пряслицах, на кирпичках и других изделиях ремесла и т. п. — все это говорит о широком распространении письма и грамотности на Руси среди простых людей — ремесленных, промысловых и торговых — уже в X в., а возможно, и в IX в. Ставить это широкое применение в быту письменной речи восточными славянами в непосредственную связь с влиянием старославянского языка затруднительно.

Развитие и укрепление древнерусского (Киевского) государства, естественно, вызвало развитие и совершенствование письма, необходимого для фиксации государственных актов, для разного рода переписки, для потребностей развивающейся культуры — одной из самых богатых в средневековой Европе.

На основе древней, уходящей глубоко в дописьменную эпоху, общенародной по языку традиции синтаксических конструкций, формул и фразеологизмов посольских, воинских и разного рода договорных грамот, а также формул обычного права развивается письменный язык делового типа, древнейшим из известных нам образцов которого являются договоры

¹ См., например, следующие работы Д. С. Лихачева: «Новгородские летописные своды XII в.». Автореф. канд. дисс. (ИАН ОЛЯ, 1944, вып. 2—3); «Возникновение русской литературы» (М. — Л., изд. АН СССР, 1952) и статью «Литература» (в кн. «История культуры древней Руси», т. II, М. — Л., 1951); см. также его статью «Исторические предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы» (ВИ, 1951, № 12).

с греками. Яркие представители этого типа письменного языка — Мсти-славова грамота (ок. 1130 г.), а также более поздние грамоты разных местностей и в особенности знаменитый юридический памятник древней Руси — «Русская Правда», составленная в XI в., повидимому в Новгороде. Представляют большую ценность для истории русского языка найденные в 1951—1955 гг. при раскопках в Новгороде берестяные грамоты, в большей своей части являющиеся частными письмами и отражающие живую разговорную речь новгородцев.

Крещение Руси в конце X в. содействовало более широкому развитию письменности, прежде всего богослужебной и, шире, — церковно-религиозной на старославянском языке. Повидимому, очень рано наряду с письменным деловым русским и литературно-книжным церковнославянским в древней Руси развивается своеобразный третий тип письменно-литературного языка, который употреблялся в жанрах художественной литературы в той мере, в какой последняя в то время выделялась среди общей массы письменности. Этот тип древнерусского литературного языка имел общенародную основу и развивался на базе древней, восходящей к далеким дописьменным эпохам традиции народно-поэтической речи, представляющей собой при отсутствии письма своеобразную форму устно-литературного выражения. Он широко представлен в русских летописях (в особенности в их повествовательных частях). Его ярчайшим образцом является «Слово о полку Игореве», относящееся к концу XII в., но дошедшее до нас в копиях с позднейшего (видимо, XVI в.) списка, а также другое выдающееся произведение — «Слово Даниила Заточника» (конец XII — начало XIII вв.), также дошедшее в поздних списках.

Таким образом, древнерусская народность обладала тремя типами письменного языка, один из которых — восточнославянский в своей основе — обслуживал деловую переписку, другой, собственно литературный церковнославянский, т. е. русифицированный старославянский, — потребности культа и церковно-религиозной литературы. Третий тип, повидимому, широко совмещавший элементы главным образом живой восточнославянской народно-поэтической речи и славянизмы, особенно при соответствующей стилистической мотивировке, применялся в таких видах литературного творчества, где доминировали элементы художественные.

Однако этот третий тип литературного языка, бывший предметом напряженного живого и глубокого интереса советских историков русского языка и русской литературы за последнее десятилетие, еще не описан с полной определенностью в своих общих структурных свойствах. Наиболее разносторонне и широко изучался язык «Слова о полку Игореве»¹, менее исследован язык художественно-повествовательных частей древних летописей. Сохранившиеся немногочисленные памятники литературно-художественного искусства древней Руси принадлежат к разным жанрам. Поэтому старая проблема древнерусского литературно-письменного двуязычия сохраняет свою актуальность и до сих пор.

Само собой разумеется, что от того или иного понимания процесса образования древнерусского литературного языка и его исторических изменений зависит вся концепция его дальнейшего развития, между прочим и в эпоху формирования национального литературного русского языка с XVII в. вплоть до его, так сказать, полного самоопределения в творчестве Пушкина и в развитии русской речевой культуры XIX в.

¹ См. Д. С. Лихачев, Изучение древней русской литературы в СССР за последние десять лет, М., 1955, стр. 14—15.

*

В XIV—XVI вв. на базе отдельных частей древнерусской народности начинают формироваться и развиваться три восточнославянские народности — великорусская, украинская и белорусская. Постепенно становятся все более яркими языковые различия этих народностей и языковое единство в пределах каждой из них. Колыбелью великорусской народности была область Ростово-Суздальская, на почве которой выросло Московское государство. В течение двух столетий, со второй четверти XIV в. и кончая первой четвертью XVI в., Москва объединила все северновеликорусские области и восточную половину южновеликорусских княжеств. Народные говоры этих местностей начинают функционировать как диалекты формирующегося великорусского (русского) общенародного языка; при этом руководящая роль в системе этих говоров принадлежала ростово-суздальскому диалекту. Складываясь на ростово-суздальской и владимиро-московской основе, язык великорусской народности уже с конца XIV — начала XV в. оказывает заметное регулирующее влияние на язык других частей Московского (Русского) государства. Несмотря на свое диалектное многообразие, язык великорусской народности был единым во всех основных элементах фонетической системы, грамматического строя и словарного состава. В структурном отношении язык великорусской народности XV—XVI вв. уже значительно ближе к современному русскому языку, чем язык древнерусской народности (ср. переход *е* в *о*, современную систему противопоставления согласных по твердости-мягкости, глухости-звонкости, развитие *аканья*, завершение формирования новой системы видо-временных форм глагола, закрепление современной системы именного склонения и т. п.). Глубокие изменения происходят в словарном составе языка великорусской народности: становятся общими для языка в целом такие слова, как *крестьянин*, *деньги*, *лавка* (в значении торгового заведения), *деревня*, *пашня* (ср. украинск. *нива* или *рилля*) и т. п. Общенародный великорусский язык начинает оказывать, особенно с XVI в., все усиливающееся влияние на развитие русского литературного языка.

Хотя на великорусской почве еще долго продолжают развиваться старые стилистические традиции древнерусского литературного языка, однако словарный состав, фразеологическая система, а отчасти звуковой и грамматический строй письменного языка северо-восточной Московской Руси, особенно его деловых разновидностей, подвергаются новым изменениям, отражая общие тенденции развития языка великорусской народности. Московский деловой язык XV—XVI вв., вбирая в себя элементы говора Москвы и диалектов окружающей его этнографической среды, получает известную литературную обработку и нормализацию. Сложившись по преимуществу на материале юридических актов и договоров, он начинает, особенно с XVI в., употребляться значительно шире. На нем пишутся руководства по ведению хозяйства, повествовательные исторические и географические сочинения, мемуары, лечебники, поваренные книги и другие произведения. Расширение литературных функций письменного-делового языка все больше содействует превращению его в своеобразный стиль литературной речи и тем самым содействует «национализации» русского литературного языка, во всяком случае образованию общенациональных грамматических, а отчасти и звуковых произносительных норм. Ярким образцом этого типа письменного-литературного языка в XVI в. являются, например, Домострой (язык этого памятника описан недавно проф. М. А. Соколовой), челобитные И. Пересветова, в XVII в. — Уложение 1649 г. (язык которого анализируется в исследовании проф. П. Я. Черных — «Язык Уложения 1649 г.»), сочинения царя Алексея Михайловича, сочинение Г. Котошихина «О России в царствование Алек-

сея Михайловича» и мн. др. Деловой язык Москвы, унаследовавший древнерусские традиции, а также испытывавший влияние со стороны соответствующих жанров новгородской письменности, к концу XVI в. стал общим для всего обширного русского государства. Именно в нем складываются существенные элементы будущей грамматической, а отчасти и лексической системы русского национального литературного языка.

Однако этот тип языка не был вполне свободен от влияния противостоящего ему книжно-литературного, «славянизированного» типа языка, также продолжавшего свои древнерусские «киевские» традиции в Северо-Восточной Руси. Между общеразговорным языком великорусской народности и этим архаизированным типом литературного языка, также расширявшим свои функции в связи с возникновением многих новых жанров в литературе и письменности великорусской народности, особенно с конца XV — начала XVI в., углубляются грамматические и лексико-фразеологические расхождения. С ростом и укреплением Русского государства, с возникновением идеи о «Москве — третьем Риме» книжно-литературный славяно-русский язык начинает претендовать на исключительное значение в сфере «высокой» литературы. В нем все сильнее выступает тенденция к созданию единых литературных, архаически-славянизированных норм. Новая, так называемая «вторая» струя югославянского влияния усиливает риторическую пзоощренность («плетение словес») славянизированного высокого слога. Возрождаются славянизмы в орфографии, в морфологии и лексике (ср. укрепившиеся в этот период такие слова высокого стиля, как *зодчий*, *сословие*, *союз* вместо прежнего *свуз* или *соуз*, *бренный* и т. п.). Однако — вследствие развития многих новых жанров письменности и литературы, связанных с многообразием эстетических, публицистических и идеологических заданий, — диапазон речевых колебаний в пределах отдельных литературных произведений, особенно в кругу художественного творчества, значительно расширяется. В высокий славянизированный слог нередко широкой волной вливаются элементы живой народно-разговорной речи и народного фольклора.

Акад. А. С. Орлов отметил отзвуки народной песни и живого просторечия в языке воинских повестей этого периода (например, в «Истории о Казанском царстве»), а в языке посланий царя Ивана Грозного, по словам того же акад. А. С. Орлова, звучит вся гамма разнообразных тонов — от «парадной славящины до московского просторечия».

Среди более демократических кругов общества высокий славянизированный слог так обильно насыщался элементами живой народной речи, что церковно-книжная основа его обнаруживалась лишь в употреблении славянских форм в устойчивых небольших группах слов (некоторые глаголы в форме аориста и имперфекта, слова *бысть*, *рече*, *аще* и др.), в довольно широком использовании неполногласных дублетов общенародных слов (*град*, *брег* и т. п.), в применении отдельных архаических синтаксических оборотов (вроде дательного самостоятельного). Такая своеобразная народно-литературная вариация славяно-русского языка употреблялась не только в собственно повествовательных жанрах, но также и в жанрах, прикрепленных к церковно-книжному языку (ср. первоначальную редакцию Жития Михаила Клопского). Вообще соотношение и противопоставление основных двух типов литературного языка в эту эпоху осложнено все усиливающимся разнообразием стилистических форм и разновидностей литературной речи, возникающих в результате их взаимодействия и смешения. Естественно, что эти процессы особенно напряженно и многообразно проявляются в языке литературно-художественных произведений. Уже в «Сказании о Мамаевом побоище» на первый план выдвигаются явления, связанные с великорусской дей-

ствительностью того времени и с соответствующей народной лексикой. Начиная с XVI в. до нас дошли записи народных песен и других образцов обработанной народно-поэтической речи. Воинские повести XV — XVI вв. и исторические песни и повести XVII в., продолжая старые древнерусские традиции этих жанров, а также обращаясь к элементам церковно-книжного языка, вместе с тем широко используют современный им фольклор, особенности народно-поэтической речи великорусской народности.

С середины XVII в., когда вследствие развития капиталистических отношений в недрах феодального общества осуществляется слияние в одно целое отдельных областей и земель, вызванное «... усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок»¹, существенно изменяются взаимоотношения между общенародным языком и местными диалектами. Постепенно прекращается образование новых резких диалектных различий; хотя старые еще и обладают значительной устойчивостью, однако на территориях экономически более развитых, более тесно связанных с центрами политической жизни они начинают постепенно сглаживаться. В городах образуются так называемые «мещанские говоры», представляющие собой своеобразное приспособление местного диалекта к городскому просторечию.

Все это содействовало внутреннему сплочению единой системы общенародного литературно-делового языка, в котором уже в XVI — XVII вв. выкристаллизовываются твердые грамматические признаки именного и глагольного словоизменения (впрочем, с возможностью употребления отдельных архаических форм при стремлении к «красноречию»), а в XVII в. обозначаются в основном современные типы сложных предложений. Внутреннее единство морфологической системы и главных структурных особенностей синтаксиса придает этому типу литературного языка национальный характер. В XVII в. устанавливаются многие из тех явлений, которые характеризуют грамматическую систему русского литературного языка XVIII — XIX вв. (например, объем категорий одушевленности и неодушевленности, система словоизменения местоимений — с устранением, хотя и не полным, энклитических форм личных местоимений, система словоизменения составных имен числительных и т. п.). В XVI и особенно в XVII в. происходит развитие и закрепление новых форм синтаксической связи (например, с союзом *если*, распространение возникших с конца XV в. союзов типа *потому что*, *оттого что* и т. п.).

Со второй половины XVI в. начинает складываться на почве урегулирования соотношений славянизмов и русизмов своеобразная система грех стилей литературного языка: высокого слога, или «красноречия», простого, составляющегося из элементов народной разговорной и отчасти деловой речи, — «просторечия», и стилистической сферы промежуточной, или «посредственной». Диалектная база литературного языка, особенно его приказно-деловых стилей — московский говор (говор территории ближнего Подмосковья), северновеликорусский (ростово-суздальский) по своему происхождению, постепенно все больше и больше, особенно с середины XVI в., проникается южновеликорусскими элементами как через первичные средневеликорусские говоры (например, коломенский), так и непосредственно под южновеликорусским влиянием (укрепление среднего типа аканья, безударные окончания *-ы*, *-и* в именительном падеже множественного числа слов среднего рода и т. п.). Все это не могло не отразиться и на развитии приказно-делового языка, который, расши-

¹ В. И. Ленин, Соч., т. 1, стр. 137.

ряя круг своих стилистических вариаций, постепенно усиливает свои притязания на литературное равновесие с языком славянорусским.

Показательно, что во второй половине XVII в. появляются сатирические произведения («Служба кабаку», «Сказание о куре и лисице» и др.), пародирующие нормы высокой литературной речи, осмеивающие пристрастие ее к славянизмам. Высокая литературная речь постепенно перестает быть безусловным предметом почтительного восхищения. Процесс образования русского национального литературного языка был связан с все большим сужением культурно-общественных функций славянорусского типа книжного языка и с постепенным приспособлением его к единой системе и единой норме общенародного языка. Те функциональные стили этого типа литературного языка, которые обслуживали интересы церкви и религии, постепенно, особенно наглядно в начале XVIII в., вытесняются из светского культурно-общественного обихода и превращаются в церковно-культовый жаргон. Русский национальный язык в XVII и в XVIII вв. формируется на основе синтеза всех жизнеспособных и исторически продуктивных элементов русской речевой культуры: живой народной речи с ее областными диалектами, устного народно-поэтического творчества, государственно-делового языка в его разнообразных вариациях, стилей художественной литературы и церковнославянского типа языка с его разными функциональными разновидностями (ср. стиль сочинений протопопа Аввакума). Процессу литературно-языкового объединения, процессу создания единых норм литературного языка, прежде всего грамматических и орфографических, сильно содействовало распространение книгопечатания, особенно с середины XVII в. Способствуя нормализации русского литературного языка, росту культуры, книгопечатание сыграло огромную роль в распространении единого общенационального русского языка.

Процесс развития национального языка всегда сопровождается расширением его связей с другими языками. Через их посредство в национальном языке происходит своеобразное накопление общего интернационального речевого фонда, — конечно, в творческой народной обработке. Славяно-русский книжный тип литературного языка с XVII в. обогащается интернациональными терминами, воспринимаемыми через посредство не только греческого, но и ученого международного языка средневековой европейской науки — языка латинского. С середины XVII в. становится более тесной связь между русским и украинским литературными языками — в связи с воссоединением украинского народа с русским в едином Русском государстве. На почве украинского языка раньше развились такие жанры художественной литературы, как виршевая поэзия, интермедия и драма. Проникшие в украинский язык из польского «европеизмы», интернациональные термины обогащают словарный состав русского литературного языка. Развитие тесных связей с украинским и польским языками способствует углублению взаимодействий между славянскими литературными языками, особенно в процессе создания собственной научно-технической терминологии на международной основе. Польский язык в XVII в. выступает в роли поставщика европейских научных, юридических, административных, технических и светско-бытовых слов и понятий. В конце XVII — начале XVIII в. усвоение иноземной военной и торгово-промышленной техники, ряд новшеств, например, попытки кораблестроения, организация врачебного дела, устройство почтовых сообщений и т. п., реорганизация государственного управления — все это было связано с проникновением новых понятий и обычаев в быт и духовный кругозор русского общества, создавало острую потребность в пополнении и расширении словарного состава русского национального языка.

Сложность этих процессов не может скрыть и затушевать основных линий формирования и развития национального русского языка. Прежде всего выступила задача грамматической нормализации литературного языка. (Существование этой задачи было связано, с одной стороны, с устранением целого ряда архаически-славянских дублетных форм в системе именного и глагольного словоизменения (например, причастий и деепричастий на *-ше*, форм аориста, имперфекта и т. п.), а также словообразования, с исключением некоторых пережиточных синтаксических конструкций, и, с другой стороны, с ограничением употребления некоторых грамматических форм и категорий книжно-славянского стиля или просторечно-облистного типа.

Была необходима грамматическая нормализация стилистического характера, опирающаяся на складывающуюся систему трех стилей литературного языка, однако направленная на строгое и стройное выделение единой устойчивой грамматической структуры русского национального языка. К разрешению этой проблемы с разных сторон подходили крупнейшие литературные деятели первой половины XVIII в., например, А. Д. Кантемир, В. Е. Ададуров, В. К. Тредиаковский, В. Н. Татищев и другие. В. К. Тредиаковский в своих филологических трудах остро подчеркивал необходимость освобождения национально-литературной грамматики как от архаически-славянских («мнимо высокого славянского сочинения»), так и от просторечно-разговорных вариаций и отклонений (от «мужичьего», «подлого заблуждения»). В. Е. Ададуров в «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» (приложение к Немецко-латино-русскому словарю Вейсмана, 1731 г.) предложил краткую схему нормативной грамматики русского литературного языка. Но наиболее глубокое и полное выражение грамматическая регламентация формирующегося национального русского языка в его трех основных стилях получила в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова.

Грамматические категории прежнего славяно-русского типа языка, уже вымершие в общем употреблении, теперь окончательно исчезают. Сохраняются лишь те славяно-русские формы, которые были приняты в деловой речи (например, формы родительного падежа прилагательных женского рода на *-ья*, *-ья*: *высокия чести* и др.; формы причастий, формы сравнительной и превосходной степени на *-айший*, *-ейший* и др.). Ломоносов выводил общие закономерности русского грамматического строя из наблюдений над многообразным материалом живой разговорной речи и из своей художественно-словесной практики. Ни в «Российской грамматике» Ломоносова, ни в его произведениях нет резко просторечных и тем более областных грамматических форм (есть северновеликорусская и областная лексика), что выгодно отличает язык Ломоносова, например, от языка Кантемира.

В произведениях Ломоносова не употребляются, например, энклитические формы местоимений, глагольные формы 2-го лица единственного числа настоящего времени с конечным безударным *-и*, деепричастия на *-вше* (*положивше*, *украшивше* и т. п.), членные формы деепричастий (*изображаяй*, *имеяй* и т. п.), встречающиеся в сочинениях Кантемира и Тредиаковского (а позднее — А. Н. Радищева). Это обновило и демократизировало весь грамматический строй русского литературного языка. Кроме того, Ломоносовым систематизированы фонетические и грамматические различия между высоким и простым стилями, причем в простой слог был открыт широкий доступ грамматическим формам живой устной речи, не носящей узко областного отпечатка (например, формам типа *желаньев*, *блекляе* и т. п.).

В истории развития культуры народа важным моментом считается

появление собственных нормативных грамматик родного языка. У исследователей исторической морфологии русского литературного языка XVIII в. есть важные опорные пункты в виде «российских грамматик» Ф. Максимова, В. Ададунова, особенно М. В. Ломоносова, А. А. Барсова, Н. Курганова и грамматики Академии Российской (1802 г.). Однако при всей ценности грамматических свидетельств, которые содержатся в основополагающих трудах М. В. Ломоносова и А. А. Барсова, обе эти грамматики — что и естественно — далеко не охватывают всей совокупности морфологических, а тем более синтаксических явлений русского литературного языка XVIII в.

Не подлежит сомнению то обстоятельство, что периоды грамматической нормализации и грамматического развития литературного языка не совпадают с периодами изменений и развития его словарного состава. Упорядочение и развитие грамматической системы национального русского литературного языка до появления «Российской грамматики» Ломоносова (1755 г.), следовательно до 40—50-х гг. XVIII в., протекало в иных направлениях и осуществлялось в ином темпе, чем позднее — под организующим влиянием открытых Ломоносовым грамматических законов и норм русского языка — с 50—60-х гг. XVIII в. до 20—30-х гг. XIX в., до так называемой Пушкинской эпохи. Единая нормативная грамматика, охватывающая всю грамматическую сферу языка, упорядочивающая язык в унитарно-национальном плане, создает мощный и однородный костяк национального языкового организма и поднимает на более высокий уровень и индивидуально-стилистические выразительные возможности. В некоторой связи с нормализацией грамматической системы русского национального литературного языка находится и вопрос о его произносительных нормах.

В последние десятилетия наши знания об изменениях в звуковой системе русского литературного языка XVI—XVII и последующих веков значительно обогатились. Несколько более проявился характер московского аканья (работы К. В. Горшковой и Р. И. Аванесова, П. Я. Черных и др.)¹, хотя время включения аканья в произносительные нормы литературного языка, ход его развития и последующие изменения в этом процессе пока еще остаются точно не установленными (ср. взгляды Б. Унбегауна, С. Д. Никифорова, Р. И. Аванесова, П. Я. Черных, С. П. Обнорского и др.)². Кроме того, было подчеркнуто, что различие *ъ* и *е* (под ударением), типичное для литературного произношения до начала и даже до середины XVIII в., свойственно не только северным, но отчасти и южным великорусским говорам.

Акад. С. П. Обнорский не раз выдвигал гипотезу о существовании и борьбе в русском литературном языке XVIII и XIX вв. двух произно-

¹ См. К. В. Горшкова, Из истории московского говора в конце XVII — начале XVIII века. Язык «Писем и бумаг Петра Великого». Канд. дисс., М., 1945; е е же, Из истории московского говора в конце XVII — начале XVIII века, «Вестник Моск. ун-та», 1947, № 10; П. Я. Черных, Язык Уложения 1649 года, М., 1953.

² С. Д. Никифоров, Язык московской письменности XIV—XVII веков, «Р. яз. в шк.», 1947, № 1. Вопреки А. И. Соболевскому, относившему появление московского аканья к XIV в. (см. «Лекции по истории русского языка», 4-е изд., М., 1907, стр. 76—77), С. Д. Никифоров вслед за А. А. Шахматовым полагает, что аканье лишь во второй половине XVI в. входит в строй московского государственного языка. П. Я. Черных сначала допускал распространение аканья в Москве лишь в XVII в. (см. «Ученые записки [Ярославск. пед. ин-та]», вып. 4, 1944, стр. 92). В «Исторической грамматике русского языка» (2-е изд., М., 1954) он пишет: «В XV в. в Москве аканье уже получило широкое распространение» (стр. 137). Правда, тут же делается оговорка, что «в старопечатных московских книгах XVI — XVII вв. аканье почти не получило отражения».

сительных норм — московской и петербургской¹. При этом С. П. Обнорский явно преувеличивал и расширял пределы распространения петербургской произносительной нормы. Так, на основании изучения пушкинских рифм он приходил к выводу, что «нормы литературного языка, отраженные Пушкиным, примыкают к северной разновидности литературного языка»². Между тем известны свидетельства современников Пушкина и близких друзей его, жителей Петербурга, например П. А. Плетнева, о том, что Пушкин лишь прирожденных москвичей считал судьями «по части хорошего выговора на русском языке»³.

Перевод столицы в начале XVIII в. в Петербург уже не мог оказать существенного влияния на общий характер русского литературного языка. В самой новой столице было смешанное разноречное население, для которого, по крайней мере на первых порах, сложившиеся в Москве произносительные навыки и нормы сохраняли свой образцовый характер. Впрочем вопрос о времени сложения единых твердых произносительных норм русского литературного языка не может считаться окончательно решенным. Колебания в его хронологическом прикреплении охватывают целый век, а то и больше (от второй половины XVIII в. до середины XIX в.).

Гораздо более сложно и разнообразно протекали процессы развития и стилистической нормализации лексико-фразеологического состава русского литературного языка в первые десятилетия XVIII в., так как словарь широко, непосредственно и быстро отражает все изменения в жизни общества.

В русском литературном языке Петровской эпохи происходит резкое усиление значения разновидностей государственной, приказной речи, расширение сферы ее влияния. Заботы передового общества и правительства о «внятном» и «хорошем стиле» переводов, о сближении их с «русским обходительным языком», с «гражданским посредственным наречием», с «простым русским языком» отражали сложный процесс формирования общерусского национального языка. Деловая приказная речь вытесняла славяно-русский тип языка из области науки.

Освобождению литературного русского языка от излишних церковно-славянизмов содействовало широкое проникновение в его словарный состав интернациональной лексики и терминологии. Процесс переустройства административной системы, реорганизация военно-морского дела, развитие торговли, фабрично-заводских предприятий, освоение разных отраслей техники, рост научного образования — все эти исторические явления сопровождаются созданием или заимствованием новой терминологии, вторжением потока слов, направляющихся из западноевропейских языков — голландского, английского, немецкого, французского, польского и итальянского. Профессионально-цеховые диалекты разговорно-бытовой русской речи также привлекаются на помощь и влияют в систему письменного делового языка. Верхушки эксплуататорских классов охотно поддаются моде, среди высших слоев общества распространяется поверхностное щегольство иностранными словами. Поэтому Петр I вынужден был отдать приказ, чтобы реляции «писать все российским язы-

¹ См.: ред. С. П. Обнорского на «Грамматику русского языка» Р. И. Копутича (ИОРЯС, 1916, кн. 1); его же, Пушкин и нормы русского литературного языка, «Труды юбилейной науч. сессии [Ленингр. гос. ун-та]», Секция филол. наук, 1946, стр. 86.

² С. П. Обнорский, Пушкин и нормы русского литературного языка, стр. 98.

³ См. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. III, СПб., 1886, стр. 400. Ср. критические замечания Б. В. Томашевского о взглядах С. П. Обнорского в статье «К истории русской рифмы» («Труды Отдела новой русской лит-ры [Ин-та лит-ры (Пушкинского дома) АН СССР]», I, М.—Л., 1948, стр. 240—241).

ком, не употребляя иностранных слов и терминов», так как от злоупотребления чужими словами иногда «самого дела выразуметь невозможно». Прозаические сочинения А. Д. Кантемира дают некоторое представление о научно-деловой речи первых десятилетий XVIII в. Здесь формируется средний стиль научно-деловой прозы, иногда сближающийся с просторечием, а иногда поднимающийся до высокого. Задача разработки среднего стиля была особенно актуальна, так как границы и различия между высоким и низким стилями были общепризнаны и очевидны. «Обыкши я подло и низким штилем писать, не смею составлять панегирики, где высокой штиль употреблять надобно», заявлял Кантемир в «Изъяснениях» к «Речи к Анне Иоанновне»¹. Стремясь там, где представлялась возможность, пользоваться русскими терминами (*средоточие* — *центр*; *понятие* — *идея*; *существо* — *субстанция* и т. п.), Кантемир понимал историческую необходимость освоения иноязычных интернациональных терминов.

Из делового приказного слога при помощи живой разговорной речи постепенно вырастают новые стили научно-технических произведений, новые стили публицистической и повествовательной литературы, гораздо более близкие к устной речи и более понятные, чем старые стили славяно-русской книжной речи, хотя богатая церковнославянская лексика и семантика продолжают служить мощным источником обогащения национального русского литературного языка в течение всего XVIII в.

Резкие колебания в формах и конструкциях, в словоупотреблении и фразеологическом составе до некоторой степени регулировались распределением языковых явлений по трем стилям («красноречие», «просторечие» и «средний», или «посредственный стиль»). Различия между просторечием и красноречием или высоким стилем сказывались и в орфоэпических нормах. В высоком стиле культивировались оканье, фрикативное *г*, *е* под ударением вместо *о* перед твердыми согласными; здесь были свои характерные особенности в ударении слов и в интонации.

Основы лексической нормализации нового литературного языка обобщены и закреплены М. В. Ломоносовым в его рассуждении «О пользе книг церковных». Ломоносов объединяет в понятие «русский язык» все разновидности русской речи — славяно-русское красноречие, приказный язык, живую устную речь с ее областными вариациями, стили народной поэзии — и стоит за «рассудительное употребление чисто русского языка», обогащенного культурными ценностями языка славяно-русского, который он рассматривает не как особую самостоятельную систему литературного выражения, а как арсенал стилистических и выразительных средств, придающих величие и торжественность русскому языку и дифференцирующих его стили. Простой или низкий стиль целиком складывается из лексических элементов живой народно-разговорной речи, а также и из свойственных ей конструкций и идиоматических синтаксических оборотов, даже с примесью простонародных выражений. Средний стиль состоит из слов и форм, общих славяно-русскому типу книжного языка и устной русской речи. В высокий слог входят славянизмы, а также выражения, общие живому русскому языку и славяно-русскому типу книжной речи. Каждый из трех стилей связан со строго определенными жанрами литературы. В пределах каждого стиля развиваются более узкие функциональные разновидности. Теория трех стилей ввела в довольно узкие стилистические рамки употребление элементов прежнего славяно-русского типа языка, она ограничила применение иностранных слов.

Во многих случаях одна и та же мысль могла быть теперь по-разному

¹ А. Д. Кантемир, Сочинения, письма и избранные переводы, I, СПб., 1867, стр. 306.

выражена средствами каждого из этих трех стилей. Существовали сложные ряды смысловых соответствий между словами и фразеологическими оборотами разных стилей. Например: *вотще, напрасно, попусту, зря; рубище, вретиче, лохмотье, отрепье, обноски; обр, кровать, постель; стезя, дорога, тропя; злак, зелень, трава; рыбарь, рыбац, ловец, рыболов; кормило, руль; закрыть очи свои, скончаться, умереть, помереть* и т. п.

Семантический объем и конструктивные средства этих трех стилей русского литературного языка XVIII в. были очень различны. Особенно далеко расходились в этом отношении высокий и простой стили. Гражданские, патриотические, общественно-политические и научно-философские мысли преимущественно выражались средствами высокого («славянского») и отчасти среднего стили. В пределах каждого из трех стилей помещались строго определенные виды литературного творчества. Простому стилю, ближе всего связанному с живой народной речью и фольклором, до начала XIX в. отводилось очень скромное место в художественной литературе. В основном оно ограничено было кругом комедий, басен, эпиграмм, бытовой переписки. Наиболее важные, наиболее значительные по своему содержанию жанры были насыщены славянизмами, иногда очень «обветшалого», устарелого характера, чуждыми народному языку. Правда, передовые писатели второй половины XVIII в. и начала XIX в. (А. Н. Радищев, Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков, Г. Р. Державин, И. А. Крылов) с разных сторон и в разных направлениях открывают литературе новые средства словесного выражения и новые сокровища «природного» русского слова. Их творчество во многом не подчиняется формальным предписаниям теории трех стилей.

Уже Ломоносов понимал, что все богатство, все выразительные возможности русского языка не вмещаются в узкие пределы теории трех стилей. Поэтому художественно-речевая практика Ломоносова оказалась богаче его теории. В стиле произведений Ломоносова, кроме разграничений жанрово-стилистических, наблюдаются разграничения функционально-речевые и тематические, например, в рамках высокого стили — стиль панегирический, стиль исторический, стиль одический и т. д.

Таким образом, в пределах каждого из трех основных стилей литературного языка намечалось сложное многообразие жанровых и функционально-речевых стилистических вариаций. Например, в пределах высокого стили различались стиль ораторской речи, стиль оды, стиль трагедии, стиль научного рассуждения и т. п., в пределах среднего стили — стиль повести, стиль газетной и журнальной публицистики, стиль учебного руководства, стиль официальной деловой речи и т. д. Менее дифференцированы были за пределами художественной литературы функционально-речевые разновидности низкого или простого стили. Зато здесь ярко выступали социально-характеристические вариации и экспрессивные краски разговорно-бытовой речи.

Естественно, что границы и состав среднего стили, в котором происходили сложное взаимодействие и объединение книжно-славянских и народно-разговорных элементов, были особенно широки. Средний стиль постепенно становится ядром системы формирующегося русского национального языка, а его изменения делаются движущим началом ее развития. Однако нормы этой национальной языковой системы еще неустойчивы и колебания их очень разнообразны и широки. Так, в русском литературном языке XVIII в. даже в пределах одного и того же стили наблюдается широкое сосуществование синонимических дублетов, непродуктивных и продуктивных способов образования слов от одной основы с более или менее однородным значением, например: *следство — следствие; присутствие — присутствие; действие — действие; спокойность — покой-*

ство — спокойствие; щедрость — щедрота; густость — густота; крутость — крутизна; дарить — даровать — дарствовать и т. п. (почти все примеры взяты из произведений М. В. Ломоносова). Дальнейшее семантико-стилистическое развитие русского языка постепенно привело к сокращению функционально немотивированной дублетности или к дифференциации значений словообразовательных синонимов.

Художественная литература с 30—40-х гг. XVIII в. становится той творческой лабораторией, в которой вырабатываются нормы национального литературного языка. Особенно важное значение в ходе этого процесса имели усилия крупнейших писателей XVIII в., направленные на углубление и расширение народно-языковых основ среднего стиля, на сближение высокого стиля с семантико-фразеологическими закономерностями русского народного языка, а также на литературную регламентацию, на упорядочение простого стиля. В этом отношении характерны принципы, выдвинутые А. П. Сумароковым и его школой. Вводятся ограничения для литературного употребления областных народных слов и выражений. Широко используется в художественных произведениях устная и письменно-бытовая речь образованной среды, главным образом московское интеллигентское употребление. Вульгаризмы запрещаются. Выдвигается лозунг «олитературирования» разговорной речи. Простой слог приближается к среднему. Объявляется борьба с приказно-бюрократическим функционально-речевым стилем и подъяческим жаргоном. Все это ведет к расширению состава и функций среднего стиля, не регламентированного Ломоносовым. Реорганизуется структура высокого стиля. Распатываются его традиционные славяно-русские, церковно-книжные основы, еще так крепко связанные у Ломоносова с «пользой книг церковных». А. П. Сумароков и его школа ведут яростную борьбу с галломанией придворно-аристократического круга и его дворянских подголосков, с жаргоном светских щеголей, пересыпавших свою речь французскими (а иногда немецкими) словами. Комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль» еще оригинальнее, острее и глубже развивают сатирические тенденции борьбы с жаргонами, с узким провинциализмом и профессиональной цеховой односторонностью речи, за единые общенациональные нормы обработанного литературного языка.

Углубление национальных основ литературного русского языка особенно ярко сказывается в позиции Г. Р. Державина, который иногда достигал высокой степени реалистического мастерства. По словам В. Г. Белинского, «с Державина начинается новый период русской поэзии». В стиле Державина как бы предчувствуется будущий язык Пушкина: в образах и выражениях, общих обоим поэтам, легко увидеть большую широту и народность, силу и музыкальность языка.

Например, у Державина:

В прекрасный майский день...
... При гласе лебедей
(«Прогулка в Царском селе»).

У Пушкина:

Весной при кликах лебединых
Являться муза стала мне
(«Эродий над гробом праведницы»)

У Державина есть выражение «Сотрясший тлена суеты»; у Пушкина и ярче, и семантически острее, значительнее:

Твоим огнем душа пала
Отвергла тлен земных сует
(«В часы забав иль праздной скуки...»)

Влияние Ломоносова, Фонвизина и Державина отразилось и на языке Радищева.

Таким образом, огромную роль в выработке норм национального литературного языка, в обогащении его словарного состава, изобразительных средств, в усовершенствовании его синтаксического строя и развитии стилистических возможностей сыграли русские писатели. Но нельзя недооценивать большого творческого участия в этом процессе и других передовых общественных деятелей, особенно представителей отечественной науки.

В XVIII в. протекал сложный и разносторонний процесс формирования русской национальной терминологии, включавшей в себя необходимый фонд интернациональных терминов, но имевшей также широкую базу живой народной речи. Так, Ломоносов боролся с излишним, неоправданным заимствованием иностранных слов, засоряющим русский язык, но там, где было необходимо, свободно пользовался иноязычными, интернациональными терминами (например, *небесная сфера, фазис, призма, гидростатические законы, цинк, висмут, вольфрам* и т. п.). Страстно желая сделать достижения науки доступными народу, Ломоносов в широких масштабах вводил в научный оборот лексику повседневного употребления. Уже в его переводе «Вольфианской экспериментальной физики» (1745) выступают в роли научных терминов такие слова и выражения, как *опыт, жидкие тела, упругость, теплота, зажигательное стекло, сила тягости, весы чувствительные, давление воздуха, известь негашеная, равновесие тел* и др. «Русские академики, от Ломоносова до Севергина, — писал в «Истории Российской Академии» акад. М. И. Сухомлинов, — ... составляли учебники и руководства на русском языке, читали публичные лекции, помещали научные, общедоступные, статьи в повременные издания и т. д. Членам Академии наук и Российской Академии принадлежит честь создания и усовершенствования русской научной терминологии. Благодаря их усилиям наука впервые заговорила у нас на родном языке — событие в высшей степени важное не только в истории русского литературного языка, но и в истории русской образованности вообще»¹. Особенно велика была роль народного языка в формировании русской научной терминологии — ботанической, зоологической, медицинской, промысловой и технической.

В истории лексико-фразеологического и отчасти общего стилистического развития русского литературного языка с конца XVII в. до Пушкинской эпохи можно различать три периода: первый период — Петровское время и его продолжение до 30—40-х гг. XVIII в., когда словарный состав русского литературного языка пополняется большим количеством профессионально-технических терминов и разнообразной интернациональной лексики, когда остро выступает значение «посредственного стиля», когда рост национального самосознания в русском обществе приводит к потребности стилистической регламентации литературного языка на чисто русских национальных основах, на базе «простой речи». Второй период — со второй трети XVIII в., особенно с 40—50-х гг., когда окончательно складывается система трех стилей, а затем развитое Ломоносовым учение о трех стилях и об их лексико-фразеологическом составе ложится в основу стилистической практики употребления литературного языка. Тогда же вырисовываются в более четких линиях грамматические нормы национального русского литературного языка. Третий период — с 70—80-х гг. XVIII в., когда начинается смещение, а иногда и устранение

¹ М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. 4, СПб., 1878, стр. 4.

границ между тремя стилями. В это время наглядно вырисовывается многообразие функционально-речевых стилей, однако стесненное и ограниченное рамками каждого из трех стилей. Все острее выдвигается проблема образования единой общенациональной литературно-языковой нормы. Намечаются контуры единой не только грамматической, но и лексико-семантической системы русского национально-литературного языка, но пока еще без свободного расширения народно-разговорной его базы. Так расчищается и открывается путь к той синтетической национально-языковой норме литературного выражения, которая нашла воплощение в творчестве А. С. Пушкина.

История русского литературного языка в XVIII в. в основном сводится к трем сложным процессам: ко все более тесному сближению стилей литературного языка с системой национально-разговорного общенародного языка; к постепенному устранению перегородок, жанровой разобщенности между тремя стилями языка и к созданию единой национально-языковой нормы литературного выражения при многообразии способов ее функционально-речевого использования; и, наконец, к литературной обработке народного просторечия и к формированию устойчивых норм разговорно-литературной речи, к сближению норм живой устно-народной речи с нормами литературного языка.

При всем богатстве и разнообразии форм литературного выражения в общерусском национальном языке во второй половине XVIII в. еще не установилось единых твердых норм. Высокий слог и прикрепленные к нему жанры старели или заметно эволюционировали в сторону сближения с живой разговорной речью; простой слог с его вульгаризмами и диалектизмами, с его неупорядоченным синтаксисом, с его бедными средствами отвлеченного изложения не мог обслуживать ни развивающуюся публицистику, ни науку, ни официально-деловую практику, ни многочисленные жанры художественной литературы. Все острее к концу XVIII — началу XIX в. ощущалась потребность в отмене жанрово-стилистических ограничений, в создании средней литературной нормы, близкой к народно-разговорному языку и в то же время обогащенной стилистическими достижениями всей литературной культуры речи. К этому стремились многие писатели конца XVIII и начала XIX в. (Н. И. Новиков, В. В. Капнист, И. И. Дмитриев, Н. М. Карамзин и др.). Особенное значение для истории русской литературно-художественной речи имела литературная деятельность Карамзина, с именем которого современники прямо связывали создание «нового слога российского языка».

Карамзин выдвигал задачу — образовать один, доступный широким кругам национально-литературный язык «для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и говорить, как пишут». Для этого необходимы: устранение резких церковнославянизмов, особенно культового, архаически-книжного и «учено»-старомодного типа в произношении, грамматике и словаре, при широком использовании тех славянизмов, которые стали общим достоянием книжной речи; тщательный отбор наличного языкового материала и создание новых слов и оборотов (ср. неологизмы самого Карамзина: *влюбленность*, *промышленность*, *будущность*, *общественность*, *человечность*, *общепользный*, *достижимый*, *усовершенствовать* и др.). Язык преобразуется под влиянием «светского употребления слов и хорошего вкуса». Упорядочиваются синтаксис и фразеология. Из общего литературного активного словаря постепенно исчезает значительная часть специальных слов ученого языка, восходящих к церковнославянизмам. Архаические и профессиональные славянизмы избегаются (*учинить*, *изрядство* и т. п.). В общем литературном употреблении не рекомендуется пользоваться специальными терминами школы, науки, техники, ремесла и хозяйства.

Накладывается запрет на провинциализмы и на ярко экспрессивные фамильярно-просторечные или простонародные слова и выражения. Употребление грамматических конструкций и форм распространенного и сложного предложения шлифуется в том же направлении. Устанавливается строгий порядок слов. Отступления должны быть стилистически оправданы. Регламентированы приемы построения сложных синтаксических периодов. Число употребительных союзов сокращено (ср. исключение даже таких книжных союзов, как *ибо*, *якобы*, *ежели* и др.). Точно определены формы синтаксической и лексической симметрии в соотношении членов периода.

Карамзинский стиль был как бы направлен на то, чтобы все замыкать в простые формулы, объяснять и популяризировать. Карамзин дал стилистике русской художественной литературы новое направление, по которому пошли такие замечательные русские писатели, как К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский. Даже стиль Пушкина многим был обязан стилистической регламентации Карамзина, которая отчасти легла в основу выдвигавшихся тогда принципов грамматической нормализации литературного языка (ср. «Граматику» Н. И. Греча). Слог Карамзина, по словам современника, «стал слогом всех» (С. П. Шевырев). Однако это было не совсем так. Отсутствие широкого демократизма и народности, пренебрежение к «простонародной» речи и ее поэтическим краскам, слишком прямое отрицание многих достижений славяно-русской речевой культуры, еще продолжавшей снабжать словарным материалом язык науки и техники, а образами и фразеологией — стили художественной прозы и особенно стиха, излишнее пристрастие к «европеизмам» в области фразеологии, а иногда и конструкций словосочетания, наконец, надоедливая легкость, сглаженность и манерность изложения в стиле эпигонов Карамзина — все это убедительно свидетельствовало о том, что вопрос о единой норме национально-языкового литературного выражения мог быть разрешен только на более широкой народно-речевой базе. Вокруг «нового слога русского языка» закипела общественная борьба (ср. «Рассуждение о старом и новом слоге» А. С. Шишкова, с одной стороны, и критику из лагеря декабристов, с другой).

Прогрессивные писатели начала XIX в. (такие, как А. С. Грибоедов, И. А. Крылов, К. Ф. Рылеев и др.) использовали в качестве художественно-выразительных средств не только то, что было уже закреплено в литературном языке той эпохи как норма национально-литературного выражения, но и то, что широко применялось в разговорной народной речи, еще не получило литературной обработки и канонизации. Умелое употребление и активный отбор типичных для живой разговорной речи выражений и конструкций приводят к закреплению их в общенациональной системе литературного языка, способствуют его дальнейшему развитию и совершенствованию. Вместе с тем в русской литературе первых десятилетий XIX в. были указаны и продемонстрированы разнообразные пути и средства использования даже старинных средств высокого слога — при наличии глубоких стилистических или идеологических мотивировок.

В языке Пушкина вся предшествующая культура русской литературной речи получила качественное преобразование. Язык Пушкина, осуществив всесторонний синтез русской языковой культуры, стал высшим воплощением национально-языковой нормы в области художественного слова. Художественно-речевая практика Пушкина определила дальнейшие пути развития национального литературного русского языка. Народность языка, по Пушкину, определяется всем содержанием и своеобразием национальной русской культуры. Пушкин признает европеизм, но только

оправданный «образом мысли и чувствований» русского народа. Эти принципы были для поэта не отвлеченными правилами, но плодом глубокой оценки современного состояния литературного языка; они определяли метод его творческой работы. Пушкин объявляет себя противником «искусства, ограниченного кругом языка условленного, избранного». «Зрелая словесность» должна иметь своей основой «странное (т. е. самобытное, отражающее творческую оригинальность народа.—В.В.) просторечие». В этой широкой концепции народности находили свое место и славянизмы, и европеизмы, если они соответствовали духу русского языка и удовлетворяли его потребностям, сливаясь с национальной семантикой. В системе национального литературного русского языка должны были на народной основе объединиться и славянизмы, и книжные, и разговорные элементы общерусского языка, и просторечие широких народных масс, их живая разговорная речь.

Пушкин сочетал слова и обороты церковнославянского языка с живой русской речью. На таком соединении он создал поразительное разнообразие новых стилистических средств в пределах разных жанров. Он воскрешал старинные выражения с ярким колоритом национальной характеристики. Но Пушкин предупреждал, что «славянский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно». В пределах общенациональной языковой нормы возможно богатое функционально-стилистическое разнообразие слов и оборотов. Но для этого необходимо «чувство соразмерности и сообразности». Этот принцип решительно противопоставляется как учению о трех стилях — с прикрепленным к каждому из них кругом слов и оборотов, так и принципу «аристократического» отбора слов и выражений в «новом слоге российского языка». Установив общенародную литературно-языковую норму, Пушкин разрушает все преграды для движения в литературу тех элементов русского языка, которые могли претендовать на общенациональное значение и которые могли бы содействовать развитию как общественных функционально-речевых стилей, так и индивидуально-художественных композиций и стилевых систем. Те же принципы Пушкин применяет к европеизмам. В языке его ранних произведений встречаются галлицизмы, в частности, в области фразеологии («воин мести», «сын угрюмой почвы», «листы воспоминаний» и др.), в синтаксических конструкциях (например, именительный независимый).

Пушкин постепенно освобождает от них свой стиль. Он — противник «калькирования» чужих выражений, перевода их слово в слово. Но Пушкин не отвергает иноязычные, а тем более интернациональные заимствования, особенно необходимые в научной и публицистической прозе. Вовлекая в русскую речь европеизмы, Пушкин исходит из семантических закономерностей самого русского языка и из культурных потребностей русской нации.

Принцип всенародной общности языка ведет к отрицанию ненужных, излишних заимствований. Употребление специальных терминов в общелитературной речи Пушкин тоже ограничивал: «Избегайте ученых терминов,— писал он П. В. Киреевскому 4 января 1832 г.,— старайтесь их переводить». Пушкин отбирает и комбинирует наиболее характерные и знаменательные формы народной речи, семантически сближая литературный язык с «чистым и правильным языком простого народа», от которого он резко обособлял жеманные социально-речевые стили мещанской полунтelligенции, «язык дурного общества». Понятно, что областные этнографические особенности народной речи, узкие провинциализмы Пушкиным лишь в редких случаях включались в литературную норму. Из областных наречий и говоров он вводил в литературу лишь то, что было общепонятно и могло получить общенациональное признание. Пуш-

кинский язык чужд экзотике областных выражений, избегает ненужных арготизмов. Он почти не пользуется профессиональными и сословными диалектами города. В том же направлении смысловой емкости при предельной простоте Пушкин шлифует синтаксис. Краткие, сжатые фразы (обычно в 7—9 слов), чаще всего с глагольным центром, логическая прозрачность в приемах сочинения и подчинения предложений (употребление без излишних стилистических ограничений широко известных союзов книжной и народно-разговорной окраски) рельефно оттеняют быстрое движение острой и ясной мысли. В творчестве Пушкина впервые пришли в равновесие основные стихии русской речи. Он доказал, что «глубокие чувства» и «поэтические мысли» могут быть литературно выражены самой простой, народной речью, «языком честного простолюдина». И такое их выражение — энергичное, живое и драматическое, свежее и простосердечное, «драгоценно» и способно производить сильнейшее впечатление. Из безбрежной стихии народно-разговорной речи Пушкин допускал в литературный язык все то, что, по его мнению, составляло коренные основы национального русского языка.

Разрешив в основном вопрос об общенациональной языковой норме, Пушкин окончательно похоронил теорию и практику трех литературных стилей. Открылась возможность бесконечного индивидуально-художественного варьирования литературных стилей. Широкая национальная демократизация литературной речи давала простор росту и свободному развитию индивидуально-творческих стилей в пределах общелитературной нормы. Вместе с тем, при наличии единой твердой национально-языковой нормы и вследствие смешения и слияния прежде разобщенных стилистических контекстов, — развивается сложное и богатое разнообразие функционально-речевых стилей, которые характеризуются своеобразными типизированными способами использования языковых средств. Особенно рельефно выступают различия между такими стилями речи, как художественно-беллетристический, научный, публицистический, официально-торжественный, или риторический, деловой, канцелярский и некоторые другие.

Со времени Пушкина русский литературный язык входит как равноправный член в семью наиболее развитых западноевропейских языков. Доведя до высокого совершенства лирические стихи, Пушкин дал классические образцы языка художественной повествовательной и исторической прозы. Но проблема «метафизического языка» (т. е. национальных стилей отвлеченной, философско-книжной, научной и публицистической речи) еще не была разрешена. Развитие научно-философского и критико-публицистического стилей в 30—40-х гг. XIX в. было связано с интенсивным и широким развертыванием культурно-публицистической деятельности таких выдающихся представителей русской демократической культуры, как В. Г. Белинский и А. И. Герцен. Много содействовал обогащению художественной речи отвлеченной лексикой и фразеологией М. Ю. Лермонтов.

К 30—40-м годам XIX в. основное ядро национального русского литературного языка вполне сложилось. Русский язык становится языком художественной литературы, культуры и цивилизации мирового значения.

М. М. ГУХМАН

О СООТНОШЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ДИАЛЕКТОВ

1

Термин «литературный язык», широко применяемый в работах по русскому или французскому языкам, мало употребителен в исследованиях по истории немецкого языка. Многообразие диалектов здесь обычно противопоставляется «Schriftsprache» («письменный язык»). Этим объясняется и название таких сводных работ, как монография А. Социна «Schriftsprache und Dialekte im Deutschen...»¹, или книга В. Хенцена «Schriftsprache und Mundarten»². Противопоставление это, став традиционным, повторяется и в заглавиях некоторых более частных исследований³.

Содержание термина «Schriftsprache» отнюдь не стабильно. В соответствии со своей внутренней формой данный термин часто применяется для обозначения письменного языка в собственном смысле слова. Во многих работах, однако, он употребляется с более широким содержанием и используется для обозначения единой наддиалектной нормы, сложившейся к XVIII в. и существующей до настоящего времени не только в письменной фиксации, но и в устной форме⁴.

Противоречивый характер употребления термина «Schriftsprache» отмечался неоднократно в литературе, в частности на это обращал внимание в своей обзорной работе и В. Хенцен⁵. Впрочем сам Хенцен под «Schriftsprache» понимает именно язык письменности⁶, противопоставляемый им всему многообразию диалектов. В этом случае письменная форма общения обособляется от всех разновидностей устной формы общения, в том числе и наддиалектной нормированной разновидности народно-разговорного языка. Подобная точка зрения вряд ли является правильной.

Наряду с термином «Schriftsprache», часто конкурируя с ним, в литературе по немецкому языку используется термин «Hochsprache» (например,

¹ A. Socin, Schriftsprache und Dialekte im Deutschen nach Zeugnissen alter und neuer Zeit, Heilbronn, 1888.

² W. Henzen, Schriftsprache und Mundarten, 2-e Aufl., Bern, 1954.

³ Ср., например: O. Behagel, Schriftsprache und Mundart. Rektoratsrede, Gießen, 1896; E. Steiger, Mundart und Schriftsprache in der zweiten Hälfte des 18 Jahrhunderts, Freiburg, 1919 и др.

⁴ Ср., в частности, такое понимание «der Schriftsprache» у О. Бехагеля. Один из разделов своей работы «Die deutsche Sprache» (11-e Aufl., Halle, 1954) он называет «Die Schriftsprache als Einheitssprache im Gegensatz zu den örtlichen Verschiedenheiten der Mundarten» (стр. 38).

⁵ См. W. Henzen, указ. соч., стр. 10.

⁶ Ср., например, его определение: «Als Schriftsprache hat faktisch zu gelten die für den schriftlichen Verkehr bestimmte und als solche in den einzelnen Epochen anerkannte Sprachform» (указ. соч., стр. 37).

die neuhochdeutsche Hochsprache) для обозначения языкового единства, противопоставляемого многообразию диалектов и стоящего над ними. Термин «Hochsprache» включает как устную, так и письменную форму языка, хотя и не всегда употребляется однозначно¹. К тому же он вызывает и известные нежелательные ассоциации в связи с тем классовым содержанием, которое вносили некоторые реакционные языковеды, рассматривавшие «Hochsprache» как продукт творчества господствующих классов, придавших высшую форму обработки немецкому языку.

В новейших зарубежных работах по немецкому языку, как, например, в докладе проф. В. Штейница², делается, однако, попытка ввести термин «Literatursprache» («литературный язык») для обозначения единой наддиалектной нормы немецкого национального языка. Несмотря на то, что само понимание литературного языка в этом докладе не раскрывается более подробно, В. Штейниц подчеркивает, что понятие «литературный язык» включает как письменную, так и устную форму языка. Отождествляя понятие «литературный немецкий язык» с понятием «современный немецкий язык» («deutsche Sprache der Gegenwart»), что является спорным, В. Штейниц противопоставляет его многообразию диалектов.

Однако современный немецкий национальный язык включает не только литературную норму (литературный язык), но и все многообразие немецких диалектов, причем литературный язык является высшей формой национального языка, подчиняющей себе местные диалекты. Сложность соотношения литературного языка и диалектов в Германии, легкость проникновения диалектных явлений, особенно фонетических, в литературный язык, устойчивость полудиалекта, весьма распространенного среди широких слоев населения в качестве народно-разговорной формы современного немецкого языка, представляющей собой посредствующее звено между литературной нормой и диалектом, не позволяют ограничивать содержание понятия «современный немецкий язык», сводя его только к литературному языку.

Вместе с тем весьма существенно отметить, что литературный язык — понятие историческое. Его содержание меняется в зависимости от конкретных исторических условий. В эпоху существования развитых национальных языков литературный язык в его письменной и устной разновидностях является выразителем единой общенациональной нормы, противостоящей многообразию местных диалектов; он выступает как высшая форма общенационального языка. В более ранние периоды отношение литературного языка (если это не чужой язык, как, например, латынь в Западной Европе, а литературный язык, основанный на базе родного языка) к местным диалектам значительно сложнее, что отражается и на самом характере единства общенационального языка. В то же время особенности литературного языка, его место в системе общенационального языка и его соотношение с диалектами могут быть различными в разных языках. Специфические условия развития отдельных народностей, пути развития этих народностей в нации отражаются и на характере литературного языка и на его соотношении с местными диалектами. Наличие или отсутствие чужого литературного языка, степень диалектной раздробленности, характер письменности на родном языке и многие другие факторы влияют на характер литературного языка, его отношение к местным диалектам и вместе

¹ См. литературу, приведенную в этой связи В. Хенпенем (указ. соч., стр. 11, прим. 2).

² См. W. Steinitz, Über die Aufgaben der Abteilung «Deutsche Sprache der Gegenwart», сб. «Das Institut für deutsche Sprache und Literatur», Berlin, 1954: «Ich verwende im folgenden, freilich auch mit Vorbehalt, als Terminus für den ganzen Komplex *Literatursprache*...» (стр. 68).

с тем определяют место литературного языка в системе языка общенародного.

С другой стороны, литературный язык имеет свои основные признаки, позволяющие рассматривать то или иное языковое явление как факт литературного языка. Несмотря на то, что многие советские языковеды уделяли особое внимание выделению системы признаков литературного языка¹, мы не имеем еще общепринятой точки зрения по этому вопросу. Более или менее общими являются, однако, следующие положения²: 1) литературный язык может существовать не только в письменной, но и в устной разновидности, в связи с чем он не равен письменному языку; 2) не всякая письменная фиксация может быть отнесена к литературному языку; так, например, широкое использование местных диалектов в немецкой художественной литературе для речевой характеристики персонажей отнюдь не является фактом литературного языка, в равной степени как и сохранившиеся в немецких городских книгах записи опросов свидетелей, весьма ярко отражающие местные особенности той или иной области Германии, нельзя рассматривать как факт литературного языка данного исторического периода; 3) литературный язык и язык художественной литературы — понятия отнюдь не тождественные. С одной стороны, содержание понятия «литературный язык» шире, поскольку и язык публицистики, и язык других жанров письменности могут относиться к литературному языку; вместе с тем литературный немецкий язык выступает в современной Германии не только в письменной, но и в устной формах общения. С другой стороны, понятие «литературный язык» уже понятия «язык художественной литературы», поскольку в языке художественной литературы широко используются диалект, полудиалект, а также элементы просторечия, недопустимые в литературном языке; 4) для литературного языка типичен отбор языковых фактов; сознательность этого отбора особенно сильна в определенные исторические эпохи, например, в период формирования национального литературного языка; в другие периоды может действовать установившаяся традиция или сложившаяся общая норма. Сам факт отбора создает особую обработанность литературного языка, которая является важнейшим его признаком.

2

Соотношение немецкого литературного языка и местных диалектов было качественно отличным в разные периоды истории немецкого языка. При этом характер литературного языка в ранние периоды его истории, а также процесс выработки единого литературного языка определялись специфическими условиями формирования языка немецкой народности и закономерностями его развития в немецкий национальный язык.

Язык немецкой народности сложился на базе объединения близкородственных диалектов трех племенных групп — иствеонов (франки), герминонов (алеманны, баварцы и др.), ингвеонов (саксы). Насколько позволяют судить языковые и археологические данные, этому объединению предшествовал длительный (не менее 500—600 лет) период обособленного существования трех племенных групп, вследствие чего к эпохе образова-

¹ В последнее время особенно В. В. Виноградов и Р. И. Аванесов.

² См. в этой связи Р. И. Аванесов, Литературный язык в его отношениях к системе общенародного языка, «Открытое расширенное заседание Ученого совета [Ин-та языкознания АН СССР]. 13—16 июня 1955 г. Тезисы докладов и выступлений», М., 1955.

ния немецкой народности (IX—X вв.) между диалектами немецкого языка существовали значительные расхождения.

Сопоставление одного из северных диалектов — древнесаксонского — с диалектами южными, алеманнским и баварским, показывает существенные отличия в области фонетического строя, в грамматике и лексике.

В области фонетики расхождения касаются всей фонетической системы сопоставляемых диалектов. Так, например, старые общегерманские дифтонги **ai*, **ai* исчезли в древнесаксонском диалекте, превратившись в монофтонги, тогда как в южных диалектах монофтонгизация происходила лишь в ограниченных комбинаторных условиях, общей же закономерностью являлось лишь сужение старых дифтонгов. Поэтому южному *ouich* «также» соответствует саксонское *ōk*, а южному *heizzan* «называться» — саксонское *hētan*. Наряду с этим старые общегерманские долгие **ō*, **ē* дифтонгизировались в южных диалектах и оставались долгими в саксонском, вследствие чего южному *guat*, *guot* «хороший» соответствовало саксонское *gōd*, а южному *heaz*, *hiaz*, *hiez* «назывался» — саксонское *hēt*. Тем самым в древнесаксонском диалекте как старым, так и новым дифтонгам юга соответствовали долгие монофтонги.

В области консонантизма II передвижение согласных на юге охватывало всю систему согласных, в то время как на севере оно полностью отсутствовало, что привело к резким расхождениям в звуковом оформлении их генетически тождественных единиц.

В области грамматики эти расхождения были более ограниченными, однако все же они распространялись на различные морфологические категории. Так, например, в склонении личных местоимений 1-го и 2-го лица южным формам дательного, винительного падежей *mir* — *mich*, *dir* — *dich* соответствовала одна форма, не совпадающая ни с дательным, ни с винительным падежами южных диалектов, а именно: *mê / mi*, *dê / di*.

В склонении имен существительных расхождения касались формативов показателей отдельных падежей; ср., например, множественное число от слова «депъ»: южное *tagā* — северное *dagos*. В склонении имен прилагательных обращает на себя внимание отсутствие так называемой сильной формы именительного падежа в саксонском, в противоположность южным диалектам.

В системе личных окончаний глагола саксонский диалект обобщил во множественном числе настоящего времени окончание 3-го лица, тогда как та же парадигма на юге сохраняла старую дифференциацию по лицам.

Небезинтересно отметить, что многие характерные признаки саксонского диалекта, в частности и отличия в грамматическом строе, по сравнению с другими немецкими диалектами, делают его близким англо-фризской диалектной группе, а следовательно, древнеанглийским диалектам.

То же самое можно сказать и о лексике. Диалектные расхождения охватывают самые разнообразные сферы лексического состава, включая личное местоимение 3-го лица — южное *er*, саксонское *he* и служебные слова типа предлогов, союзов. Ср. южное *unz*, северное *bit* «до тех пор», «пока», южное *oder*, северное *eſte* «или», южное *zōsamene* и северное *to gader* «вместе»; для саксонского характерно первоначальное отсутствие предлога *in*; вместо него в древнесаксонских памятниках употребляется предлог *an*. Противопоставление южных языковых областей северу Германии сказывается и в путях проникновения и ассимиляции лексических групп, связанных с распространением христианства: ср. др.-сакс. *offrôn* «жертвовать» < лат. *offerre* и южн. *opfarôn* < лат. *operari*; ср. сакс. *otmôd* и южн. *demuot* «смирение» и т. д. Явления эти были отмечены известным немецким языковедом Т. Фрингсом в ряде его работ. Конечно, среди

древненемецких диалектов южные, алеманнский и баварский, с одной стороны, и северный — саксонский, с другой, занимают крайние позиции. Промежуточным звеном являлся франкский диалект, подразделявшийся на несколько наречий.

Несомненно, однако, что объединение трех групп близкородственных племен в единую немецкую народность создавало новые условия для существования прежних племенных диалектов, несмотря на сложившиеся расхождения и сохранявшуюся диалектную обособленность. Характерным для диалектов языка немецкой народности является процесс их взаимодействия, приводящий к распространению явлений, на первых порах территориально весьма ограниченных, в пределах разных диалектов немецкого языка.

Так произошло известное распространение и передвижения согласных из южных областей на территорию франкских наречий — явление, отмеченное еще Ф. Энгельсом, а затем подробно изученное и описанное Т. Фрингсом. «Оверхненемчивание» франкских наречий сказывалось также в адаптации южных местоименных форм и т. д. Другие явления распространялись, напротив, из франкских наречий. Процессы эти продолжались и в более поздний период. Они вели к увеличению количества общих характерных особенностей немецкого языка, представленных на более широких территориях, чем районы первоначального распространения диалектных отличий, и тем самым цементировали единство языка немецкой народности.

Не касаясь вопроса о том, как сказывалось формирование феодальных территорий на процессах дифференциации и сближения диалектов, отметим лишь, что длительное существование значительных расхождений в немецком языке различных областей Германии не могло не оказать влияния на формирование немецкого литературного языка и на закономерности его дальнейшего развития.

3

Наше представление о диалектах немецкого языка IX, X, XI вв. базируется на письменных памятниках и на данных исторической диалектологии, поэтому оно, конечно, не может быть полным. Однако, видимо, даже первые попытки письменной фиксации немецкого языка не давали непосредственного отражения народно-разговорного языка во всех существовавших в ту эпоху диалектных разновидностях; несмотря на наличие резких диалектных особенностей в письменности IX, X вв., в ней уже сказывается специфическое качество языка письменных памятников. Большинство письменных памятников этой эпохи представляет собой переводы с латинского, нередко подстрочные¹ или почти подстрочные² со своеобразной лексикой, богатой неологизмами, нередко являющимися кальками с латинских образцов. Ср., например, кальки типа *arm-herzi* или *arm-herzida* в соответствии с лат. *misericordia*, *forasouunga* или *fore-siht* как перевод лат. *providentia*, *zeichenunga* для передачи лат. *descriptio*, *festenunga* = лат. *affirmatio* и т. д.; ср. также неологизмы *gewahst* = *quantitas*, *wiolicli* = *qualitas*, *wissprachunga* = *disputatio*, *wist*, *wesin*, *wesanussida* = *substantia*; нередко одному латинскому термину соответствует несколько неологизмов; так, лат. *resurrectio* «воскресенье» соответствует *arstantnessi*, *urstendida*, *urstant*, *urstôdalî*, *ufferstende*, *urrist*; лат. *temptatio* «искушение» соответствуют нем. *freisa*, *khora*, *chqrunga*,

¹ Как, например, статут монахов Бенедиктинского ордена.

² См., например, свод евангелий Татиана.

bechorunga, *kostunga*, *spanst*, *kaspanst*, *ursôch* и т. д. Влияние латыни сказывалось не только в лексике, но и в синтаксических особенностях письменного языка этого периода. Другая традиция, устная, связанная с древней эпической песнью, получила свое отражение в единичных эпических памятниках этой эпохи. Характерный для этих памятников лексический отбор создает своеобразную неповторимую стилистическую замкнутость эпических литературных образцов. Ср. *gûa-hamo* «кольчуга», *sêo lidanti* «мореплаватель», *sunufatarungo* «отец и сын», *irmindeot* «весь народ» и др. Вместе с тем такой оригинальный памятник, как записанная в IX в. эпическая песнь о Гильдебранде, уже обнаруживает своеобразную особенность, свойственную многим более поздним письменным памятникам, — сочетание разных диалектных черт, сосуществование южных и северных форм, никогда не сочетавшихся ни в одном живом диалекте.

Этот ранний период существования письменности на немецком языке — период, когда лишь создавались предпосылки появления нового литературного языка, что происходило при наличии развитого литературного языка на чуждой основе (латыни), литературного языка с многовековой традицией, действующего в разнообразнейших сферах общения. Закономерности этого чужого литературного языка воспринимались как непреодолимый образец, которому старались подражать при письменной обработке немецкого народного разговорного языка.

Новый литературный язык создавался на базе местных диалектов, в ряде отношений значительно разошедшихся в своем развитии, и имел поэтому с самого начала несколько вариантов. Отсутствие единства литературного языка, а тем более отсутствие литературной нормы характеризует историю немецкого языка и в последующие периоды, вплоть до эпохи Реформации и Великой крестьянской войны.

4

XII—XIV вв. представлены уже развитым литературным языком на народной основе. Богатая рыцарская литература (рыцарский роман, рыцарская любовная лирика), шпильманский эпос, продолжающий до известной степени традиции древней эпической песни, религиозно-философская проза, наконец, деловая проза — вот те сферы, где используется немецкий литературный язык.

Как уже указывалось, не всякая письменная фиксация (например, хроникальные записи городских книг, протоколы судебных заседаний городских судов и т. д.) может быть отнесена к литературному языку. Простая письменная фиксация разговорной речи резко отличалась не только по своему стилю, но и по степени отражения диалекта от обработанного языка деловой прозы, запечатленного в таких памятниках, как «Саксонское зеркало». Любопытно отметить наличие в протоколах двух типов письменной фиксации. Один характерен для развитого канцелярского стиля, для деловой прозы как таковой. Другой проявляется в записях выступлений свидетелей и обвиняемых, он представляет собой непосредственную запись разговорной речи. Эти два элемента резко между собой различаются и по степени диалектной окраски, и по многим стилистическим особенностям.

Для исследователя той эпохи, когда уже имелся развитый литературный язык на народной основе с разнообразными функциональными стилями, вопрос о характере этого языка, о его соотношении с местными диалектами представляет большую сложность. Важно учитывать, что в XII—XIII вв. в науке, публицистике, религии, праве, деловых документах еще господствовала латынь, существовавшая не только в письменной, но и в устной

форме (произведения ораторского искусства, проповеди и т. п.). Вытеснение латыни немецким языком происходило раньше в поэзии, чем в прозе, раньше в деловой прозе, чем в научной литературе, и т. д.

С другой стороны, местные особенности языка немецкой народности еще в XII в. отражались и в обработанной форме языка. В XII в. литературе так называемого Рейнского круга в широком смысле этого слова противостоят памятники южных областей Германии. Расхождения касаются, так же как и в более древние эпохи, не только фонетики, но и лексики. Лимбургец Генрих фон Фельдеке создает некоторые свои произведения почти на своем родном диалекте. Поэмы о Карле Великом XII века связаны в языковом отношении с районом Кельна и отражают специфические особенности кельнского диалекта. Нередко рукописи одного и того же произведения, появившиеся в разных районах Германии, представляют собой переделки произведения в соответствии с диалектом переписчика или интерполятора, как это было, например, с разными вариантами поэмы о короле Ротере, или лишь частичную обработку подлинника интерполятором, как это имело место с различными вариантами поэмы об Александре, где элементы среднефранкского диалекта сосуществуют с баварскими диалектными особенностями. Язык мистиков XIII в. явно сохраняет черты диалекта Средней Германии. Диалектные особенности сказываются и в деловой прозе.

При наличии нескольких местных (областных) вариантов литературного языка довольно явственно обозначаются и новые многообразные тенденции, в результате действия которых литературный язык как бы поднимается над ограниченностью диалекта. Отметим отдельные явления этого рода.

Известно, что в XIII в. на первый план выдвигаются районы Швабии, Эльзаса и Южной Франконии, игравшие ведущую роль в политической, экономической и культурной жизни страны. Произведения поэтов этих областей (Гартман фон Ауэ, Готфрид Страсбургский) становятся образцами, которым стремятся подражать поэты и писатели, уроженцы и жители других местностей. Язык юго-запада становится как бы эталоном литературного языка. Так, саксонец Альбрехт фон Гальберштадт извиняется перед своими читателями и слушателями за то, что в его языке могут встретиться элементы родного диалекта. Об этом пишут и уроженцы Тюрингии. Другие, напротив, протестуют против швабской моды и стремятся отстаивать право своего диалекта на литературную обработку. А известный проповедник XIII в. Бертольд Регенбургский высмеивает стремление жителей Северной Германии подражать в одежде, правах и языке юго-западу. Вместе с тем сами поэты юго-запада Германии, в том числе Гартман фон Ауэ и Готфрид Страсбургский, отнюдь не просто фиксируют родной диалект. Уже к XIII в. может быть отнесено возникновение принципов известной поэтики Гуго фон Тримберга конца XIII в., где указывалось на то, что поэт может брать из любого диалекта тот материал, который ему подходит. Этот принцип очень хорошо отражает понимание соотношения литературного языка и диалекта в данную эпоху. Поэтому в произведениях средневековой литературы широко использовались фонетические, грамматические и лексические диалектные варианты. Так, например, у одного и того же писателя встречаются параллельные (юго-западные и юго-восточные или франкские) формы: *gân* и *gên* «идти», *stân* и *stên* «стоять», *nâ* — *nach* «близко», *hô* — *hoch* «высоко».

Грамматические дублиеты *genannt* — *genennet*, *gelaret* — *geleret*, *began* — *begunde*, алеманнск. *machte* и франкск. *mochte* (от глагола «мочь»), *wesse* — *weste* (от глагола «знать») встречаются у одного и того же автора. Иногда два диалектных синонима сочетаются в виде парных слов типа северно-франкск. *blîde* «весело, радостно» и южного *fro*: *blîde unde fro*; *pferd*

unde ross, kleid unde wāt и т. д. Широко использует этот прием в своих проповедях Бертольд Регенбургский.

Вместе с тем те же поэты юга Германии избегали резких диалектных черт, например, характерного для этой области перехода $\hat{a} > \hat{o}$, *au, hāt > hôt, haut*, а также форм с передудуцированными окончаниями типа *wan-delote, dannan, wannan* и специфических диалектных слов.

Наряду с этим весьма сильно действовал стилистический отбор лексики в пределах определенного жанра письменности; складывалась своеобразная стилистическая традиция, что придавало литературному языку также обобщенный надиалектный характер. Так, например, языку рыцарской поэзии свойственны не только многочисленные заимствования из французского языка типа *amur* «любовь», *garzun* «мальчик», «панж», *âventiure* «приключение», *rivier* «река», *turnir* «турнир» и т. д., особенно в области лексики, связанной с кругом представлений, относящихся к быту и культуре рыцарства, но и стремление избегать лексики, весьма употребительной, например, в шпильманской поэзии, а частично и в проповедях Бертольда Регенбургского; ср. *degen* «герой», *recke* «воин», *wine* «друг», *balt* «смелый», *fruot* «умный», *urluige* «война» и т. д. Напротив, французские заимствования отсутствуют не только в поэзии шпильманов, но и в религиозно-философской и правовой прозе. Вместе с тем для последней характерен свой стилизованный штамп, свой отбор слов.

Стилизованность литературного языка в пределах различных жанров письменности сочеталась с повышением роли определенных фразеологических, синтаксических штампов, с определяющей ролью традиции, сложившейся в пределах данного жанра. Любопытно, что разные жанры письменности характеризуются разной степенью продуктивности тех или иных словообразовательных средств. Так, например, образование новых глаголов путем сочетания глагола с наречием в основном встречается в религиозно-философской прозе и не употребительно в рыцарской поэзии; ср. образования с *hin-, her-, ūf-, umbe-, ūz-, in-*. Абстрактные имена существительные с суффиксами *-heit, -nisse / -nusse, -unge* распространены в религиозно-философской и деловой прозе и мало распространены в поэзии; ср. *aigenunge* «собственность», *besserunge* «улучшение», *vorderunge* «требование», *bekumberunge* «неприятность», «притеснение», *bundnisse* «союз», *empfehnisse* «рекомендация», «совет», часто встречающиеся в деловой прозе; *menschheit* «человечество», *frazheit* «обжорство», *staetekeit* «постоянство», *wisheit, klugkeit* «мудрость», *vriheit* «свобода», *lûterkeit* «чистота» и т. д. — характерные для языка религиозно-философской литературы.

Особенно существенно то обстоятельство, что перечисленные явления характерны для языка деловой и религиозно-философской прозы независимо от диалекта и не могут быть сведены к особенностям местного варианта литературного языка¹. Перед нами стилизованные особенности определенных жанров, имеющие уже в XIII, XIV вв. н а д д и а л е к т н ы й характер и сочетающиеся в литературном языке с отражением диалектных особенностей различных областей Германии. Чем значительнее сознательная обработка разговорной формы языка, следование определенным тра-

¹ Мы обращаем внимание на это обстоятельство, так как в литературе по интересующему нас вопросу широко распространена другая точка зрения. Так, Ф. К а р г (см. F. K a r g, Das literarische Erwachen des deutschen Ostens, Halle, 1932) рассматривал эти явления как специфическую особенность языка Метильды Магдебургской и близкого ей круга авторов. Этой же точки зрения придерживается вслед за Каргом и другими германистами и С. Д. К а п н е л ь с о в в своей статье «Образование немецкого национального языка» («Ученые записки [Иванов. пед. ин-та]», т. VI, 1954, стр. 47).

дициям, узаконенным образцам, тем более далеким от диалекта является язык проповедения, чем более непосредственной является письменная фиксация, тем более ясно выступают диалектные особенности.

Весьма показателен в этом отношении материал различных правовых документов. Хотя мы здесь и не встретим документа, свободного от диалектной окраски, обусловленной родным диалектом писца, или адресата документа, или города, где этот документ составлен, но анализ различных типов грамот позволяет установить разную степень проникновения диалекта в деловую прозу. В целом, однако, язык деловой прозы, несмотря на имеющийся штамп и лексический отбор, ближе к диалекту, чем язык художественной литературы.

Таким образом, соотношение литературного языка и диалекта в эпоху расцвета языка немецкой народности раскрывается как весьма сложная, многоступенчатая система. Литературный язык этого периода хотя и не имеет единой наддиалектной нормы, но вместе с тем отличается от простой письменной фиксации диалекта и во всем многообразии своих вариантов все же осознается как нечто целостное, как *tiusche zunge* в отличие от *landesprache* (областные языки), о чем и писал в конце XIII в. Гуго Тримберг.

Не случайно, например, что для поэта Готфрида, уроженца Страсбурга, лимбуржец Генрих фон Фельдеке при всем диалектном своеобразии языка последнего был создателем культуры немецкого языка, иными словами создателем литературного немецкого языка XII—XIII вв.

Сложная система литературного языка XII — XIII вв. весьма далека от тех представлений о классическом средне-верхненемецком языке, которые были свойственны в XIX в. школе Лахманна и наложили известный отпечаток на многие серийные издания средне-верхненемецких текстов. Для закономерностей развития литературного языка Германии характерно, что многовариантность литературного языка сохраняется и в последующие столетия.

5

Специфические особенности развития Германии XIV—XV вв. были подробно раскрыты Ф. Энгельсом в работе «Крестьянская война в Германии». Не имея возможности подробно остановиться на характеристике экономической, политической и культурной жизни Германии XIV—XV вв., отметим лишь стойкость феодальной раздробленности, обособленность развития отдельных областей.

Для дальнейших судеб немецкого литературного языка особое значение имело перенесение центра экономической и культурной жизни Германии на восток, в связи с чем в дальнейшем именно этому варианту литературного языка суждено было сыграть определяющую роль в установлении современной литературной нормы.

Вместе с тем растущий город все более обособлялся от сельской местности. Этот процесс был связан также и с заселением крупных городов выходцами из различных районов. Цеховое уложение, институт бродячих подмастерьев способствовали широким связям городов (особенно крупных) и их населения с различными районами Германии. В этом отношении весьма показательны биографические данные о первых немецких книгопечатниках. Так, например, известный аугсбургский печатник Günther Zainer родился в Рейтлингене, много путешествовал, искусству книгопечатания обучался в Страсбурге, откуда и прибыл в Аугсбург; Johann Sensenschmidt был родом из Эгера, ввел книгопечатание в Нюрнберге, затем переселился в Бамберг. Один из крупнейших книгопечатников Кельна Heinrich Quentell был родом из Страсбурга и т. д. Все это вело к стиранию

в городе диалектных особенностей того района, к которому он принадлежал, к появлению своеобразных городских полудиалектов, существующих и поныне в современной Германии и образующих как бы промежуточные звенья между литературным языком и собственно диалектами.

С 60-х годов XV в. значительное влияние на развитие немецкого литературного языка начинают оказывать книгопечатники. Крупнейшие для того времени книгопечатные предприятия создаются во всех больших городах Германии. Первопечатники G. Zainer, A. Sorg, H. Schönsperger, J. Bämmler в Аугсбурге; J. Zainer, C. Dingkmüt, L. Holle в Ульме; A. Koberger, J. Sensenschmidt в Нюрнберге; J. Mentelin, J. Grüninger, J. Pruss в Страсбурге; B. Ghotan, S. Arnds в Любеке; A. Pfister, J. Sensenschmidt в Бамберге; J. Koelhoff, H. Quentell в Кельне и многие другие издают в течение последних десятилетий XV в. и первых десятилетий XVI в. множество немецких книг как духовного, так и светского содержания: переводы библии, жития святых, псалтыри, произведения немецких мистиков, хроники, первые книги по естествознанию, путешествия (например, путешествие Марко Поло), произведения художественной литературы, словари и т. д. Нередко одна и та же книга появляется в изданиях разных печатников¹.

Анализ языка немецких первопечатных книг показывает, что местные (областные) варианты литературного языка продолжали существовать вплоть до Реформации и Великой крестьянской войны. Степень расхождения этих вариантов, как и характер их соотношения с диалектами той или иной области Германии, были весьма различны. Резко выделяются в этом отношении такие окраинные области, как ганзейские города на северо-востоке, Кельн на северо-западе, Цюрих, Базель на юго-западе. Любекские многочисленные издания имеют ярко выраженный нижне-немецкий характер. Стойко сохраняются фонетические, грамматические и лексические особенности диалекта северо-восточной части Германии². Спрос на книгу на нижне-немецком варианте литературного языка был столь велик, что в 1492 г. майнцский печатник П. Шефер издает нижне-немецкую хронику саксов Конрада Бото («Cronicken der Sassen»).

Нижне-немецкая литературная традиция продолжается и в XVI в. На северо-западе, в Кельне, многочисленные издания³ продолжают традицию кельнского варианта литературного немецкого языка XII, XIII вв. Еще в 1527 г. здесь выходит руководство по орфографии, сохранявшее полностью все особенности кельнской литературной традиции, отражающей закономерности средне-франкского наречия.

Значительно менее определенным является соотношение языка печатных изданий таких городов, как Аугсбург, Нюрнберг, Страсбург, Лейпциг, Майнц, Франкфурт-на-Майне. Несмотря на несомненные различия в языке этих изданий (в лексике, словоизменительных формах, особенно в орфографии), в целом они значительно ближе друг к другу, чем к изданиям окраинных территорий. К тому же в этих городах нередко

¹ Помимо многочисленных дюлхтеровских изданий немецкой библии (Ментелина, Цайнера, Зензеншмидта, Зорга, Грюнбергера и др.), много раз переиздавалась «Золотая легенда», или «Пассиональ» (Зорг, Кoberger, Бравдис, Ариде, ван Рейхен), хроника парей и пап, популярная «Книга жизни» (перевод известной книги Марсилия Фиччини) и т. д.

² Ср., например, роскошное издание «Золотой легенды» («Der hyllighen leuent vnde lydent, anders genomet Passional»), опубликованное в 1499 г. С. Арндсом, или знаменитый учебник, изданный Б. Готаном в 1483 г. («Eyn schone Arstedegeeboek van alerleye ghebreck vnnde krankheyden der mynschen») и т. д.

³ Ср., например, известную кельнскую хронику («Die Cronica van der hilliger Stat va Coelle», изданную И. Кельхофом в 1499 г., или «Золотую книгу» («Dat ander deil des duytschen passionails»), изданную в 1485 г. Л. ван Ренхеном.

наблюдаются расхождения даже в изданиях, осуществленных в одном центре. Следовательно, непосредственная связь между диалектом города и языком печатника отсутствует. Так, сопоставление языка перевода Теренция, изданного в 1499 г. в Страсбурге Грюнигером, с особенностями языка его же издания 1515 г. «Das buch der vergift» или с переводом библии 1485 г. обнаруживает расхождения, например, в отражении новых дифтонгов, являвшихся еще и тогда признаком определенной диалектной группы и не свойственных народноразговорной форме языка г. Страсбурга, но воспринимавшихся многими печатниками как признак литературного языка, стоящего над диалектами.

В библии обозначение новых дифтонгов значительно более последовательно, чем в издании книги «Das buch der vergift» 1515 г., где сохраняются старые формы *tusent*, *krut*, *tütsch*, *nüw* и т. д. В других изданиях г. Страсбурга, например в переводе «Трактата о разных чудесах», изданном И. Прюс, обозначение новых дифтонгов совершенно отсутствует. Впрочем даже издания таких печатников, как Г. Цайнер в Аугсбурге и А. Кобергер в Нюрнберге, отнюдь не представляют строгого единообразия. Так, Г. Цайнер в своем издании «Золотой легенды» (1471 г.) дает рядом старую форму *erdrich* и новую *erdreich*, старую форму *frund* (современное *Freund*), но новую *euch* и т. д. Наряду с этим сохраняются и старые дифтонги *bruoder*, *buoch* и т. д. в соответствии с диалектом г. Аугсберга. Кобергер обычно последовательно обозначает новые дифтонги и сочетает эту форму с употреблением новых монофтонгов — *bruder*, *gut* и т. д., хотя в других случаях он колеблется между средне немецкими и более южными формами: ср. причастие от глагола «быть» — южная форма сильного причастия *gewesen* и средне немецкая слабая форма *gewest*; колебания в формах третьего лица множественного числа настоящего времени этого же глагола между *sein* и *sind*; колебания между более южными формами *sun*, *sunne* и средне немецкими *son*, *sonne* и т. д.¹

В этой связи язык печатных изданий Страсбурга, Аугсбурга, Нюрнберга и др. представляет собой своеобразное переплетение устоявшихся традиций письменного языка данных центров и диалектных особенностей, характеризующих язык города или самого печатника, а также новых тенденций, характерных для немецкого литературного языка конца XV, начала XVI в. Вместе с тем очень часто язык того или иного печатного издания определялся характером языка рукописи, оказавшейся в руках издателя. При перепечатке же книги, уже изданной другим печатником, возможно было влияние языка первого издания. У разных печатников, а нередко и в разных изданиях одного и того же печатника эти гетерогенные элементы сочетаются по-разному, на что в литературе до последнего времени было обращено мало внимания. Поэтому распространенное в литературе мнение о том, что в Средней и Южной Германии существовало пять вариантов языка печатников, обусловленных территориальным (диалектным) делением, следует рассматривать лишь как несколько упрощенную схему. Реальные отношения были более сложными, хотя в основной массе эти издания (например, аугсбургских печатников) имели некоторые языковые особенности, так же как и издания восточно-средне немецких городов.

В предисловиях к первопечатным книгам впервые появляется для обозначения литературного языка термин «*gemain teutsch*» («общенемецкий»). Этот термин встречается в предисловиях к изданиям городов Аугсбурга, Страсбурга, Нюрнберга; при этом каждый издатель подчеркивает, что

¹ Ср., например, «*Buch der croniken und geschichten mit figur und pildnussen von anbegin der welt bis auf dise unser Zeit*», 1493 г.

именно его книга напечатана на подлинном общенемецком языке¹. Иногда рядом с этим термином появляется его уточняющая характеристика, например, «аугсбургский общенемецкий» и т. д. Также и М. Лютер, отмечая, что он в своих произведениях придерживался нормы канцелярии курфюрста саксонского (иначе — восточно-средненемецкого варианта литературного языка, характерного для Тюрингии и Верхней Саксонии), писал, что это «*ist auch die gemeinste deutsche sprache*» — («самый общий немецкий язык»).

Таким образом, разные варианты литературного языка еще в XV и XVI вв. объявлялись имеющими права общенемецкого языка. Однако показательно, что на это претендовали только издатели определенных центров Германии. Книгопечатники ганзейских городов или Кельна не говорят о том, что их язык надо считать общенемецким.

Необходимость выработки единого литературного языка осознается всеми передовыми деятелями Германии этой эпохи. Под знаком выработки этого единства проходит в значительной степени и переводческая деятельность М. Лютера. Интересны в этой связи впервые появившиеся в немецко-латинском словаре конца XV в. своеобразные стилистические пометы, *vul'r* (*vulgariter*), выделявшие просторечные с точки зрения составителя словаря лексические единицы в отличие от общепринятых, по его мнению, слов²; ср. противопоставление таких единиц, как *abschelen* и *schinden* = лат. *decorticare*; *Aiden* и *dochterman* «зять»; *anlegen die cleider* и *anziehen* «одеваться»; *haupt* и *kopf* «голова», *quelen* и *peinigen* «мучить», *mangeln* и *darben* «нуждаться» и т. д.

Интересно отметить, что *quelen* и *darben*, характерные для лексики Лютера, даются в словаре с пометой *vul'r*.

Более детальный анализ всех этих случаев показывает, что принцип отбора форм, понятие объема и характера лексики общенемецкого языка были для составителя словаря еще далеко не ясными. Тем не менее важно подчеркнуть осознание самого противопоставления общенемецких и просторечных, диалектных слов, впервые появляющееся в словаре, так как более ранние латинско-немецкие словники, например, изданный Цайнером в Аугсбурге в 70-х годах XV в., никаких стилистических синонимов не дают.

Однако о едином сознательном и последовательном нормировании литературного языка говорить еще нельзя. Это сказывается, в частности, и на колебаниях, наблюдаемых в указанном словаре в написании одних и тех же лексических единиц: одна и та же лексическая основа оформляется то по норме диалектов, сохранивших старые монофтонги, то согласно вокализму диалектов, развивших на их месте новые дифтонги (ср., например, *Ackerhrût*, но *Brachkraut*; *wîn*, но *edler wein* и т. д.). Та же непоследовательность наблюдается и в отношении обозначения старых дифтонгов. Но уже в конце XV в. и особенно в начале XVI в. в значительной части Германии признаком наддиалектного литературного языка становится сочетание новых дифтонгов типа *haus*, *mein*, *deutsch* и новых монофтонгов типа *gut*, *ging*. Эта закономерность постепенно становится признаком языка печатников не только Нюрнберга, Лейпцига, но и Страсбурга, Майнца, Бамберга, Дрездена, Виттенберга и Франкфурта-на-Майне³.

¹ В изданиях библии ссылка на «*recht gemein deutsch*» дается Г. Цайнером (1473—1475 гг.), И. Грюнингеном (1485 г.), Озмаром (1518 г.) и т. д.

² «*Vocabularius incipiens teutonicum ante latinum*», Strassburg, Johann Grüninger, около 1495 г. (см. описание в справочнике по инкунабулам «*Nachträge zu Hains Repertorium Bibliographicum*», № 380).

³ Мы не касаемся здесь вопроса о путях проникновения новых фонетических закономерностей в письменный язык. Этот вопрос исследуется нами подробнее в печатающейся монографии «От языка немецкой народности к немецкому национальному языку». Следует лишь заметить, что процесс этот был значительно сложнее, чем изло-

В области консонантизма признаком литературного языка становится отсутствие непередвинутых *p, t, k*. С различной степенью последовательности и отнюдь не единообразно отражались такие явления, как, например, оглушение звонких, отмечаемое особенно часто в изданиях Нюрнберга (ср. *pruder* вместо *bruder*, *paum* вместо *baum*), но чуждое более северным городам; делябиализация и лабиализация (ср. постоянное *mör* «море» в изданиях Нюрнберга); переход *â > á* (типа *hât > hôt*); переход *u > o* (типа *sun > son*, но и *gunst > gonst*, *kunst > konst*), особенно интенсивный в средненемецких диалектах; многообразно было и отражение редукции. Расхождения касались также грамматических форм, например, оформления аблаута сильных глаголов. Так, на юге уже в XV в. прошла унификация огласовки единственного и множественного числа претерита, тогда как в Средней Германии литературный язык сохраняет старое различие; поэтому на юге мы имеем *er blib — sie bliben*, *er sang — sie sangen*, а Лютер еще употребляет формы *er bleib — sie bliben*, *er sang — sie sungeñ*. Не было единства и в спряжении глаголов «быть» и «иметь», в роде имен существительных, в склонении имен существительных женского рода и т. д. Достаточно определенно выступало и лексическое своеобразие.

К эпохе Реформации и Великой крестьянской войны еще не существовало единого нормированного литературного языка в Германии, несмотря на наличие объединяющих тенденций. Это подтверждает прежде всего анализ языка той огромной полемической и агитационной литературы, которая связана с данным историческим периодом. До последнего времени литература эта находилась вне поля зрения языковедов и совершенно не учитывалась при изучении истории немецкого языка. Между тем нельзя понять роль М. Лютера в создании единого литературного языка, если не иметь в виду того огромного значения, которое приобретают вопросы языка в эпоху Реформации и Великой крестьянской войны. В ходе борьбы немецкого народа против засилья римской церкви, воплощавшей все тяготы феодального угнетения, вопросы языка оказались выдвинутыми на передний план. Впервые немецкий язык стал языком пропаганды и агитации среди широких народных масс. Его роль в развертывающейся идеологической борьбе была столь велика, что задача языковой унификации на народной основе привлекает внимание таких деятелей этой эпохи, как Лютер, Меланхтон и Агрикола.

Язык произведений Лютера представляет собой вначале один из вариантов литературного языка. Но уже в конце XVI в. этот вариант проникает на северо-запад вплоть до Кельна, на север — в район нижненемецкого литературного языка и на юго-запад — в Швейцарию. Длительнее всего сопротивляется его проникновению юго-восток — Бавария и Австрия, где в XVI в. развивается особенно интенсивная борьба против средненемецкого варианта литературного языка, зафиксированного в произведениях М. Лютера.

Создание единого литературного языка, выработка единой наддиалектной нормы, исчезновение конкурирующих вариантов литературного языка происходит прежде всего в письменности. В народно-разговорной речи диалект сохраняет свои позиции еще много столетий. Это находит свое выражение, в частности, и в том, что именно орфоэпическая норма складыва-

жено в упоминавшейся выше статье С. Д. Кацнельсона: в одних случаях местная письменная фиксация отражала непосредственно практику народно-разговорного языка данной области, в других случаях местный вариант литературного языка отрывался от диалектной специфики своей территории и воспринимал особенности другого литературного варианта, осознаваемого в данную эпоху как образец. Следует вместе с тем указать, что С. Д. Кацнельсон прав, присоединяясь в критике Бурдаха и его школы к Т. Фрингсу и его ученикам.

ется позже всего. Известно, что не только Опиц и поэты XVII в., но даже Гете и Шиллер, так много сделавшие для закрепления и развития единого литературного языка, всю жизнь сохраняли особенности произношения родного диалекта, отражавшиеся прежде всего в рифме. Так, Гете произносил *g* как спирант и рифмовал *neige* и *Schmerzensreiche*; Шиллер произносил *й* как *и* и рифмовал поэтому *Glück* и *Blick* и т. д. Практически орфоэпическая норма (Bühnendeutsch «сценическое произношение») была оформлена как свод правил только к концу XIX в., да и сейчас является скорее идеалом, чем живой реальностью. Вместе с тем даже в XIX и XX вв., когда немецкий литературный язык постепенно распространяется в устном общении, в устной форме литературного языка, особенно в его разговорно-бытовом использовании, сохраняются известные местные различия в лексике и фразеологии и даже в грамматике, на что обращали внимание О. Бехгель, В. Хенцен и др.¹

Процесс становления единого немецкого литературного языка реализуется тогда, когда язык Лютера перестает восприниматься в качестве одного из местных конкурирующих вариантов литературного языка и переступает границы Тюрингии и Верхней Саксонии. Однако в связи с длительной экономической и политической раздробленностью Германии, создание единого литературного языка, выработка единой общенациональной нормы, противостоящей диалектам, затягивается на ряд столетий. Борьба различных течений в вопросе нормализации языка в частности борьба восточно-средней традиции с юго-восточной, составляет особый вопрос, на котором нет возможности останавливаться в данной статье подробнее. Однако живучесть диалекта или полудиалекта в народно-разговорной речи (то, что часто называется *Umgangssprache*) характерна и для современных немецких крупных городов; берлинское просторечие, сохраняющее многие отличительные черты нижнегерманского диалекта, верхнесаксонское просторечие таких городов, как Лейпциг, это не что иное, как городской полудиалект, весьма ограничивающий и сейчас употребление литературного языка в устной форме.

Что же представляет собой современный литературный язык в своей диалектной основе? За последние десятилетия, особенно в работах Т. Фрингса, подчеркивалась восточно-среднегерманская, или, иначе, верхнегерманская (мейсенская), диалектная основа как современного немецкого литературного языка, так и языка М. Лютера². Однако, как показывает, в частности, работа Х. Бекера о саксонском диалекте, язык Лютера отнюдь не представлял собой простой фиксации этого диалекта. Характерное для верхнегерманского диалекта стяжение дифтонгов *ei* и *ai* (ср. лит. *baum*, но *böm*; *kleid* — *kled*) ни языку произведений Лютера, ни современному литературному языку не свойственны, как не свойственно и характерное для указанного диалекта совпадение лабиализованных и нелабиализованных гласных (*hübsch* = *hibsch*; *wir können* = *mir kennen*; *böse* = *bise*) или переход *e* в *a* (*schlecht* > *schlächit*; *sechs* > *sachs* и т. д.),

¹ Ср. материал, приводившийся рядом ученых, как, например, *Abendbrot* на севере и *Abendessen*, *Nachtessen*, *Nachtmahl* на юге; *Sahne* на северо-западе и *Rahm* на юге, *Schmand* в Пруссии; ср. также синонимы, как *Treppe* и *Stiege*; *Dachboden*, *Boden*, *Estrich*; *Fleischer*, *Metzger*, *Schlächter*; *Tischler* и *Schreiner*. Ср. также расхождения в системе значений одного и того же слова. Так, в Берлине *laufen* = «ходить», «идти», а на юге оно употребляется со значением «бежать», «торопиться»; на севере говорят *ein reines Hemd*, на юге — *ein frisches, saubres Hemd* и т. д. В грамматике различия скапливаются в степени употребительности простого прошедшего, в выборе вспомогательного глагола при образовании сложных времен от глаголов *sitzen*, *stehen* и др.

² Вслед за Т. Фрингсом той же точки зрения придерживается в своей упоминавшейся выше статье С. Д. Кацнельсон.

а также представленное в области консонантизма сохранение неподвижных форм в таких словах, как *strump*, *appel* и т. д.

Наконец, для верхнесаксонского, как, впрочем, и для некоторых других средненемецких диалектов, характерен переход *nd* в *ng* типа *hing* вместо *hinten*, *gejung* вместо *gefunden* и т. д. Все эти особенности не закрепились в немецком литературном языке.

Не менее сложной оказывается диалектная основа лексических норм современного немецкого литературного языка, так как на протяжении веков неоднократно менялись принципы отбора лексических средств из всего многообразия диалектных и стилевых возможностей народного языка. Так, распространенное во всей немецкой литературе VIII — XI вв. общегерманское *quena* «жена» уже в XII — XIII вв. становится признаком местного, ограниченного только югом варианта литературного языка. В древневерхненемецкий период общегерманское *gomo* «муж», «человек» и *man* «муж» выступают как равноправные элементы лексического состава языка письменности. Затем постепенно *gomo* в значении «человек» вытесняется субстантивированным прилагательным *menisko*, образованным по типу лат. *humanus* от основы *man* (ср. современное *Mensch*), а поскольку *man* издревле являлось синонимом *gomo* в значении «муж», то и в этом значении *gomo* еще в средневерхненемецкий период становится мало употребительным, а затем совсем исчезает из литературного языка. Прилагательные *mihhil* «большой», *lützel* «маленький», имевшие широкие этимологические связи в других германских языках, входили в лексику литературного языка различных областей Германии в течение ряда столетий, а затем вытесняются из литературного языка прилагательными *klein* и *groß* и сохраняются лишь в диалектах. Еще рукописи XIV, XV вв. и первые печатные книги отражают борьбу *mittel* и *groß*, *lützel* и *klein*, хотя упоминавшийся выше словарь, как впрочем и другие словники XV в., уже не дают *mittel*.

Подобные изменения в судьбе отдельных слов, прослеживаемые в истории немецкого языка, отнюдь не всегда объясняются влиянием известной диалектной базы. Впервые К. Бадер в специальной работе показал процесс лексического отбора, протекавший в литературном языке XV, XVI вв.¹ Еще до него А. Социн при сопоставительном анализе лексики Лютера и базельского варианта литературного языка использовал известный глоссарий базельского печатника А. Петри, который последний включил в базельское переиздание библии Лютера². Эти материалы были использованы А. Бахом в его «Истории немецкого языка» для обоснования восточно-средненемецкой основы современной лексической нормы³. Этой же точки зрения — на основании тех же данных — придерживается и С. Д. Кацнельсон, сохранивший и характерную для Бадера и Баха интерпретацию указанного материала.

Не приходится сомневаться в том, что традиция восточно-средненемецкого варианта литературного языка была широко использована Лютером (на что указывал ряд исследователей), но существенно отметить, что многие так называемые средненемецкие лексические особенности вошли в литературный язык таких городов, как Нюрнберг, Страсбург, задолго до Лютера (о чем в свое время говорил еще Бадер) и уже не являлись отличием этого варианта литературного языка, а имели более широкое распространение. Установление границ распространения отдельных слов

¹ K. von Bahder, Zur Wortwahl in der Frühneuhochdeutschen Schriftsprache, Heidelberg, 1925.

² A. Socin, указ. соч.

³ A. Bach, Geschichte der deutschen Sprache, Heidelberg: 4-e Aufl. — 1949; 5-e Aufl. — 1953.

литературного языка XV—XVI вв. отнюдь не всегда может быть доказательным вследствие наличия сложного взаимовлияния различных литературных традиций и различных лексических пластов, а также вследствие изменчивости границ распространения тех или иных слов. Недостаточно изучено в этой связи соотношение стилистической и диалектной дифференциации лексики. Вместе с тем известно, что в дальнейшем развитии немецкого литературного языка так называемые южные и восточно-средненемецкие дублеты XV и XVI вв. оказались равноправно включенными в лексическую норму; ср., например, *flehen* — *bitten*, *fühlen* — *empfinden*, *quall* — *pein*, *rasen* — *toben*, *schmücken* — *zieren* и т. д. Не следует забывать в этой связи, что и часть лексики, характерной для языка Лютера, исчезла затем из литературного языка, вытесненная более южными дублетами.

Обращаясь к языковой деятельности Лютера, следует указать, что в своих ранних произведениях он часто употребляет формы, значительно более близкие его родному диалекту (типа *gewest* вместо *gewesen*), не закрепившиеся в дальнейшем в литературном языке: *wilcher* вместо *welcher*, *bede* вместо *beide*, *gonst* вместо *gunst*, *wegern* вместо *weigern*, *furt* вместо *fort* и т. д. Лишь в более поздних произведениях Лютер освобождается от многих специфических местных черт, примыкая к традиции литературного языка более южных областей Германии. Небезинтересно отметить, что у Лютера встречается и характерный для юга вариант словообразовательного суффикса *-nuss*. Правда, нередко трудно точно установить, что принадлежало непосредственно языку Лютера и что должно быть отнесено за счет работы виттенбергских печатников, издававших его труды. Свидетельства современников указывают на то, какая огромная сознательная работа проводилась Лютером, а также печатниками и друзьями Лютера над языком его произведений в целях достижения максимальной ясности и понятности. Именно в связи с этим Энгельс писал, что Лютер очистил немецкий язык, что он первый создал современную немецкую прозу.

Нельзя, конечно, отрицать, что Лютер был подлинным мастером слова, а победа Реформации в преобладающем большинстве немецких земель делала его книги наиболее популярной литературой и это способствовало победе того варианта литературного языка, который он закрепил в своих произведениях. Но сам Лютер включается в традицию литературного языка не только восточной средней Германии, поскольку он использует и наиболее популярные формы более южного варианта литературного языка, заменяя ср.-нем. *Heubt* более южным *Haupt*, ср.-нем. *konst* более южным *kunst*, *spügniß* «призрак» словом *gespenst*, *bestriken* «связать», «поймать» словом *fangen* и т. д. Таким образом, закономерности языка Лютера не могут быть поняты вне традиции литературного языка предыдущих десятилетий, в том числе и южного варианта литературного языка.

В последующем развитии немецкого языка еще в большей степени сказывается сложность его диалектной основы. Лексическая, грамматическая, орфоэпическая норма как бы впитывают элементы разных диалектов. Если в эпоху Лютера такие лексические единицы, как *gleich* и *ähnlich*, *empfinden* и *fühlen*, *rasen* и *toben*, *flehen* и *bitten*, *gefäss* и *geschirr*, *getreide* и *korn* и т. д., были элементами разных диалектов, то сейчас оба элемента каждой пары вошли в литературный язык. Нельзя понять современную орфоэпическую норму немецкого языка, если не видеть в ней сочетания различных диалектных черт.

Приведенные факты указывают на сложность процесса формирования немецкого литературного языка и того, что можно назвать единой наддиалектной нормой. Литературный язык создавался и развивался на основе отбора и фиксации того, что существовало в народно-разговорной

форме немецкого языка. При этом литературная традиция играла важную роль. Отбор и связанная с ним впоследствии нормализация являются отличительными признаками процесса развития немецкого литературного языка. Вырастая из диалектного многообразия языка немецкой народности, литературный язык в условиях существования немецкой нации воплощает единство общенациональной языковой нормы, подчиняющей себе диалект и постепенно вытесняющей его из всех сфер общения.

В. И. ГЕОРГИЕВ

ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

1

В наши дни народы, говорящие на индоевропейских языках, населяют не только почти всю Европу и большие области Азии, но также почти всю Америку и Австралию и некоторые области Африки. Некогда, однако, территория, на которой обитали носители индоевропейских языков, была ограниченной. Известно, что индоевропейские языки были перенесены в Америку и Австралию лишь в последние несколько веков. То же самое можно сказать и относительно Африки, если не считать отдельные древние колонии на северном ее побережье.

На основании различных данных, которые мы черпаем из древней истории, можно определить, что в более отдаленное время индоевропейские племена и народы обитали в Центральной и Восточной Европе, а также в южной части Западной Азии от Черноморья вплоть до Гималаев, исключая Арабский полуостров и Месопотамию. Существует ряд фактов и соображений, показывающих, что арийцы переселились в Индию с запада: они появились в Северо-Западной Индии не позже начала II тысячелетия до н. э.¹ Некоторые другие данные указывают на то, что в более древнюю эпоху северная и центральная области Западной Азии, как и Северная и Северо-Восточная Европа, не были населены индоевропейскими племенами. Наконец, наличие неиндоевропейских языков в Юго-Западной Европе, остатком которых является язык басков, а также и неиндоевропейский характер старинных географических названий в этой области свидетельствуют о том, что некогда Юго-Западная и Западная Европа не были населены индоевропейскими племенами.

Возможно ли в границах этой обширной территории определить более точно область, в которой возникли индоевропейские языки или где говорили на том общем языке, из которого произошли отдельные индоевропейские языки?

Вопрос о первоначальной области, населенной племенами, говорившими на индоевропейском языке-основе, представляет серьезный интерес для языкознания, истории, археологии и этнографии. Он тесно связан с проблемой генезиса европейских народов, называемой обыкновенно «проблемой прародины индоевропейцев», которая многократно рассматривалась и обсуждалась. Частным ее вопросом является вопрос об этногенезе славян.

¹ Ср. Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи, История Индии, М., 1954, стр. 37. По мнению В. В. Струве («Вестник АН СССР», 1947, № 8, стр. 51 и сл.), арийцы вторглись в Индию в первой половине III тысячелетия до н. э.

Некогда славянские племена не занимали столь обширную территорию, как в наши дни. Часть из них начала переселяться на Балканский полуостров лишь в VI в. до н. э. Их распространение на восток, север и юг, в теперешнюю Европейскую часть Советского Союза, является историческим фактом. Принимая во внимание сведения, почерпнутые у древних писателей, соображения языкового порядка, а также археологические и этнографические данные, мы можем установить, что некогда славяне населяли область приблизительно между р. Одрой и верховьями Оки и Дона, на север от Карпат и на юг от Балтийского моря. Эта территория может быть обозначена термином «прародина славянских языков». На этой территории говорили на славянском языке-основе, или на праславянском языке.

Лучшим примером того, что такое вообще язык-основа и прародина языков, может служить история латинского языка. Латинский — это язык-основа, а Рим вместе с окрестностями — прародина романских языков. Из истории латинского и романских языков, которую можно проследить на протяжении приблизительно 25 веков, видно, как латинский язык, на котором говорили в середине I тысячелетия до н. э. только в Риме и его окрестностях, распространяется вследствие военных походов и колонизации по всей Италии, в современной Франции и Испании, отчасти на Балканском полуострове и в других местах. Во второй половине I тысячелетия в остальных частях Италии говорили на самых различных языках: оскском, умбромском, мессапском, греческом, этрусском, венетском, кельтском, лигурийском. Но латинский вышел победителем, а упомянутые языки со временем отмерли.

Распространение языков происходит двумя способами: с одной стороны, путем естественного прироста населения и миграции, и, с другой — путем вытеснения одного языка другим и отмирания побежденных языков. При первобытно-общинном строе распространение языков происходило обыкновенно первым путем, в эпоху разложения первобытного строя и в классовом обществе преобладал второй способ. Так, например, нынешние романские народы не представляют собой биологических потомков римлян, т. е. они не возникли путем деления и миграций. Они были нелатинскими племенами, утратившими свои языки в процессе латинизации. Поэтому можно говорить лишь о «прародине языков», но отнюдь не о «прародине народов».

«Прародина данных языков» не означает исконного местожительства племен, говорящих на них; нельзя считать, что данные племена или народы возникли и развивались исконно на том месте, которое мы называем прародиной их языков. Понятие «прародина» ограничено во времени, так же, как ограничено во времени и понятие «язык-основа». Оно означает, что в определенное время какое-то племя или группа племен, говорящих на данном языке, обитали на значительно более ограниченной территории. Это вместе с тем не исключает возможности, что предшественники этого племени или этой группы племен были переселенцами. Так, в частности, италийцы переселились в область Рима из какой-то другой области, однако именно в Риме оформился окончательно тот язык, который представляет собой язык-основу современных романских языков.

Некоторые буржуазные языковеды и археологи употребляют термин «пранарод». Понятия «язык-основа» и «пранарод» не соотносительны. Язык-основа — это язык одного племени или группы племен, из которого в дальнейшем развиваются языки данной группы народов. Термин «пранарод» ошибочен, он является немарксистским, потому что в первобытно-общинном строе не было народов, а существовали лишь роды, племена и племенные союзы.

Язык появился несколько сот тысячелетий тому назад вместе с появлением первых (или первого?) стадных коллективов людей¹. Современный человек существовал уже около 50 тыс. лет тому назад. Следовательно, как индоевропейский язык-основа, так и все другие семьи языков имеют историю во много десятков тысяч лет. При нынешнем состоянии науки о языке не существует никаких достоверных данных или правдоподобных соображений для определения той территории, на которой возник индоевропейский «праязык».

Научная постановка проблемы о «прародине» индоевропейских языков может быть сведена к следующему: на какой сравнительно ограниченной территории обитали племена, говорящие на индоевропейских языках, в последние тысячелетия существования первобытно-общинного строя, т. е. до появления классового общества и письменности.

Предварительное уточнение этих принципиальных положений необходимо, так как в наши дни в буржуазном языкознании преобладают взгляды, основывающиеся на ошибочных предпосылках. Известно, что многие немецкие языковеды и археологи, исходя из шовинистических или расистских соображений, пытаются доказать, что Северная или Средняя Германия и некоторые соседние с ней области будто бы были прародиной индоевропейских племен. Они утверждают, что индоевропейцы были посетителями так называемой «шнуровой керамики», и в связи с ее распространением стараются установить, что расселение индоевропейцев якобы началось из Северной или Средней Германии в конце III тысячелетия до н. э.² С другой стороны, немецкие расисты утверждают, что особенности языков возникают на основе биологических качеств различных рас. Таким образом, они связывают возникновение отдельных языковых семей с определенными расами и приписывают создание особого строя «индогерманского праязыка» так называемой «нордической расе». Подобные взгляды нельзя назвать научными: родство языков не имеет ничего общего с биологическим родством, с делением человечества на расы, которые были смешанными уже в древнейшие времена. Культура шнуровой керамики, культура расписной керамики, культура ленточной керамики и т. д. — это различные культуры разных индоевропейских племен или групп племен III тысячелетия. Раньше же на этой территории обитали разграниченные уже в отношении языка индоевропейские племена, которым керамика была незнакома, так как они были скотоводами или примитивными земледельцами, но не гончарами.

Несмотря на то, что большинству языковедов и археологов чужды подобные шовинистические и расистские концепции, все же некоторые положения этой теории имеют широкое распространение. Это относится,

¹ Человечество существует на земле (по расчетам, имеющим вполне научный характер, но, конечно, весьма приблизительным) около 1 млн. лет (см. М. О. К о с в е н, *Очерки истории первобытной культуры*, М., 1953, стр. 3).

² См.: Н. Н i r t, *Indogerm. Grammatik*, Teil I, Heidelberg, 1927, стр. 74 и сл. (Северная Германия; стр. 96: «Расселение индоевропейцев» между 1800—2000 до н. э.); F. S p e c h t, «*Zeitschrift für vergl. Sprachforschung*», Bd. LXII, 1935, стр. 106 и сл.; е г о ж е, *Der Ursprung der indogerm. Deklination*, Göttingen, 1944, стр. 2 и сл. (Средняя и Северная Германия: «шнуровая» керамика); P. K r e t s c h n e r, «*Glotta*», Bd. XXVIII, 1940, стр. 276 и сл. (Тюрингия, Саксония и Северная Германия; «шнуровая» керамика); P. T h i e m e, *Die Heimat der indogerm. Gemeinsprache*, Wiesbaden, 1951, стр. 566 (бассейн рек Вислы, Одры, Эльбы и Везера). См. также: W. S c h u l z, «*Zeitschrift für vergl. Sprachforschung*», Bd. LXII, 1935, стр. 184 и сл. («северная культура» и «шнуровая» керамика; «расселение» к концу III тысячелетия до н. э.): C. S c h u h a r d t, *Alteuropa*, Berlin, 1941; W. K r a i k e r, «*Rasse*», V, 1939, стр. 369 и сл.; е г о ж е, «*Die Antike*», Bd. 15, 1939, стр. 195 и сл.; статьи Н. S e g e r, E. S p r o c k h o f f, O. R e c h e — в сб. «*Germanen und Indogermanen*», I, Heidelberg, 1936 и др.

например, к довольно распространенному положению о том, что индоевропейские языки якобы отделились от индоевропейского языка-основы в конце III тысячелетия.

*

Основная ошибка старых концепций о генезисе индоевропейских языков состоит в том, что образование этих языков, их «отделение» от индоевропейского языка-основы относится к довольно поздней эпохе, обыкновенно к середине или даже к концу III тысячелетия до н. э. Новые данные показывают, что такой взгляд несостоятелен¹.

Хеттский язык, древнейшие письменные памятники которого восходят к XVIII в. до н. э., представляет обособившийся индоевропейский язык. Он действительно сохраняет много архаических черт, но содержит также и немалое количество новообразований. Известно, что при первобытно-общинном строе процесс изменений в общественной жизни и в языке происходит тем медленнее, чем дальше мы проникаем вглубь тысячелетий: для малейших изменений требовались тогда не столетия, а тысячелетия. Следовательно, эти изменения предполагают весьма продолжительный процесс развития, в рамках которого мог обособиться отдельный язык от первоначального индоевропейского языка-основы. Это соображение подтверждается и целым рядом других фактов.

В переднеазиатских текстах первой половины и середины II тысячелетия до н. э. засвидетельствованы индийские и иранские слова и собственные имена, как, например, *šuriaš* (= др.-инд. *sūryas* «солнце» в вавилонских текстах середины XVIII в.) — имя бога солнца у касситов (или коссейцев)². В хеттских текстах середины того же тысячелетия упоминается несколько индийских слов, как *panza*-«пять», *aika*-«один» и т. д. На основании изменений $l > r$, $k^we > ce$ (z вместо c), $o > a$, $oi > ai$, $e > a$ можно сделать вывод, что эти материалы относятся к обособленному индийскому языку. Изменение $k^we > ce$ произошло до перехода $e > a$. Только для этих двух последовательных изменений был необходим весьма продолжительный период времени. О большой древности обособленного праиранского или праиндийского языка свидетельствует семитское слово «лошадь» (аккад. *sīsū*, еврейск. *sūs*), заимствованное, по всей вероятности, из праиранск. (праиндийск.) **aswa-s* «лошадь» < и.-е. **ek'wo-s*³. Следовательно, обособление древнеиндийского и иранского языков предполагает отделение от остальных индоевропейских языков ранее середины III тысячелетия до н. э.

Наличие старинных иранских заимствований в угро-финских языках приводит нас к тому же заключению. Племена, говорившие на обособленном иранском языке, были, повидимому, в весьма отдаленную эпоху, т. е. не позже второй половины III тысячелетия, южными и юго-западными соседями угро-финнов, когда последние обитали на гораздо более ограниченной территории, где-то в пределах Урала, по соседству с р. Камой. Это видно из древних иранских и праиранских заимствований в угро-финских языках⁴. Следовательно, обособленные иранские племена населяли

¹ Ср.: V. G e o r g i e v, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, Sofia, 1941—1945, стр. 153 и сл.; Н. K r a h e, *Indogermanische Sprachwissenschaft*, Berlin, 1943, стр. 30 и сл.

² Ср. H. S c h m ö c k e l, *Die ersten Arier im Alten Orient*, Leipzig, 1928, стр. 6 и сл., 10 и сл., 20.

³ Ср. M. M a y r h o f e r, *Etym. Wörterbuch des Altindischen*, Heidelberg, 1953/4, стр. 62.

⁴ См. П. X а й д у, *«Acta Linguistica»*, t. II, Budapest, 1953, стр. 271 и 290.

южную Европейскую часть СССР в середине III тысячелетия до н. э.¹, а вероятно, даже и гораздо раньше.

Расшифрованные недавно крито-микенские памятники, написанные линейным письмом В, восходящие к XV—XII вв. до н. э. (так же, как и тексты, написанные линейным письмом А, датированные XVII—XVI вв.), раскрыли нам особый греческий диалект. Еще до этого периода антевокальное и интервокальное *s* исчезло, звонкие аспираты перешли в глухие, сочетание *ti* перешло в *si*, сочетание *gj* перешло в *z* (или *g'*, *d'*?), сочетание *i* + гласный перешло в *z* (или *d'*, *g'*), вполне установились новообразованные окончания *-xo* в родительном падеже основ на *-ā* мужского рода и *-xou* в родительном падеже множественного числа основ на *-ā* женского рода, исчезли аблятив и инструменталь и т. д. Такие изменения предполагают также тысячелетнюю историю обособленного греческого языка.

Итак, индоевропейские языки существовали и развивались многие тысячи лет.

2

Имеются серьезные основания предполагать, что индоевропейские племена обитали в более древнюю эпоху в Восточной и Центральной Европе, между Доном и Рейном, южнее Балтийского и Северного морей. За пределами первоначальной области их расселения оставались Западная и Юго-Западная Европа, включая Италию, а также и Северная и Восточная Европа на восток от Дона (и нижнего течения Волги).

Как можно заключить на основании археологических данных, эта область в эпоху палеолита была очень слабо населена. В начале четвертичного периода Европейский континент пережил эпоху великого оледенения. В течение ледниковой эпохи, длившейся многие сотни тысячелетий, климатические условия не были постоянными. Временами наступало потепление, ледники таяли и отступали на север. Новое похолодание снова приводило к росту и наступлению льдов. Так, например, на территории Польши установлено четыре периода наступления льдов. В зависимости от наступления и отступления ледников изменялся облик страны. С наступлением льда гибли и уходили к югу фауна и флора, не приспособленные к суровым климатическим условиям. При отступлении ледника тундра передвигалась на север и на ее месте появлялись степи и леса². В конце палеолита вся северная часть указанной выше области была покрыта льдом и, по всей вероятности, не была обитаема. Балтийские страны, например, где ледники отступили поздно, стали впервые заселяться человеком в эпоху лингби, которая хронологически соответствует мезолиту. Все стоянки типа лингби являются временными. Охотничьи группы, впервые передвигавшиеся в Северную Европу, вели подвижный образ жизни³. Южнее человек появился намного раньше. Так, на территорию теперешней Чехословакии первые люди пришли, вероятно, из восточноевропейских областей приблизительно сто тысяч лет тому назад⁴. Дунайская область и Северное Причерноморье никогда не подвергались оледенению; здесь человек появился еще раньше⁵, продвигаясь, по видимому, с юга⁶.

¹ См. В. И. Лыткин, ВЯ, 1953, № 5, стр. 57 и сл., 51 и сл.

² Ср. «История Польши», под ред. В. Д. Королюка, И. С. Миллера, П. Н. Третьякова, т. I, М., 1954, стр. 15 и сл.

³ См. А. В. Арциховский, Основы археологии, М., 1954, стр. 46.

⁴ Ср. З. Д. Неедлы, История чешского народа, т. I, М., 1952, стр. 30 и сл.

⁵ См. А. В. Арциховский, указ. соч., стр. 34 и сл., 39.

⁶ См. сб. «Происхождение человека и древнее расселение человечества», М., 1951, стр. 412.

Около 15 тыс. лет тому назад ледниковый период закончился. Наступил мезолит. Климат, растительный и животный мир Европы приобрели характер, близкий к современным. Во время мезолита (XV/XII—VII/VI тысячелетия до н. э.) вышеупомянутая область, очевидно, тоже была очень слабо населенной: редкие находки мезолита встречаются по Северному Причерноморью и отчасти по среднему течению Дуная. Здесь появляется более значительное население лишь в начале неолита, т. е. приблизительно с VI тысячелетия до н. э.

Человек постепенно заселял северные области рассматриваемой территории, продвигаясь с юга, от Дунайского бассейна и Северного Причерноморья. Так в общих чертах осуществлялось распространение индоевропейских племен в эпоху палеолита, мезолита и отчасти раннего неолита. Движение главным образом вдоль водных путей, с юга на север, приводило к освоению обширных пространств, и так как расселение шло большей частью из разных областей на юге, расселившиеся группы, сохраняя признаки этнической общности, при оседании на больших расстояниях неизбежно с течением времени должны все больше и больше отличаться друг от друга¹. Только когда во второй половине неолита и позже эти области были уже довольно плотно заселены, начинаются движения с севера на юг. Вообще в эпоху мезолита и неолита обычным процессом распространения племен и языков было освоение огромных пространств свободной территории. Лишь позднее, когда упомянутая область была заселена довольно густо, начинается распространение путем захвата чужих территорий вместе с населявшими их племенами и народами.

Изменения в обществе и в языке в эпоху первобытно-общинного строя происходили крайне медленно. Поэтому, если нам удастся установить некоторые факты в области языка, восходящие к концу первобытно-общинного строя, мы можем отнести их к гораздо более отдаленному периоду.

Как было указано выше, некоторые индоевропейские языки были оформлены уже в III тысячелетии до н. э. Это означает, что в течение IV и V тысячелетий и даже гораздо раньше индоевропейские племена населяли довольно большую территорию, в рамках которой в течение длительного периода времени могли дифференцироваться отдельные индоевропейские языки². У нас есть серьезные основания предполагать, что эта обширная область была населена индоевропейскими племенами по крайней мере со времени мезолита. Основная масса населения здесь говорила на индоевропейских диалектах и языках. Вероятно, уже в старые времена сюда проникали меньшие или большие группы неиндоевропейских племен, но они не оставили существенных следов.

На северо-восток от этой области вплоть до III тысячелетия до н. э., повидимому, не было никакого населения или, если таковое существовало, оно было чрезвычайно редким. Вообще до вторжения тюрко-татарских племен и народов, начавшегося с IV в. н. э., европейская территория СССР, исключая Кавказ, была населена племенами и народами только двух языковых семей — индоевропейской на юге и угро-финской

¹ Именно так распространялись племена в Европейской части СССР, ср. А. Я. Гр у н о в, Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху, М., 1952, стр. 252 и сл.

² По мнению Г. Кюна (H. K ü h n, «Proceedings of the First international congress of prehistoric and Protohistoric Sciences, London. August 1—6 1932», Oxford—London, 1934, стр. 237 и сл.), индоевропейцы не были разделены во время палеолита и мезолита, но во время неолита говорили уже на различных языках. Ср. также: С. К а р с т е н, Historische deutsche Grammatik, Heidelberg, 1939, стр. XI и сл.; Н. К r a h e, указ. соч., стр. 30; О. P a r e t, Das neue Bild der Vorgeschichte, Stuttgart, 1948, стр. 113 и сл.

(или уральской) на севере. Этот вывод можно сделать на основании сведений античных авторов и в особенности на основании географических названий на данной территории. Здесь нет никаких достоверных следов кавказской топонимики, исключая области самого Кавказа. Нет никаких серьезных данных, указывающих на то, что кавказские племена обитали западнее и севернее линии Азовское море — устье Волги¹.

Т. Лер-Сплавинский приводит серьезные аргументы в пользу предположения, что прародина славян находилась в бассейне р. Вислы². С другой стороны, М. Фасмер указывает на то, что древняя топонимика, в особенности же названия рек и водных бассейнов в области от Восточной Галиции, через Волинь, Подолье, Киев, Чернигов, Могилев, Полтаву, Курск, Орел, вплоть до верховья Дона — старинного славянского происхождения³. Он обращает внимание на то, что севернее области, населенной славянами, обитали балтийские племена. Это видно из наличия старинных балтийских географических названий в районах Вильнюса, Гродно, Минска, Витебска, Смоленска и даже Калуги и Можайска. Угро-финские племена первоначально населяли территорию на север и северо-восток от балтийских племен, по ту сторону линии Псков — Москва⁴.

Древнейшими обитателями территории между Балтийским морем и верховьем Волги, как и всей области между Балтийским морем и Уралом, были, по всей вероятности, угро-финские племена. На основании распространения так называемой культуры гребенчатой керамики, носителями которой были, повидимому, угро-финские племена, можно определить следующее: во второй половине III тысячелетия угро-финские племена, ведущие кочевой, рыбацко-охотничий образ жизни, распространяются от подножья Урала широко на запад, охватывая прибалтийские области и проникая вплоть до нижнего течения Одры и на юг к Силезии и Малопольше, Мазовше, Подлясье и пространству на север от Припяти⁵. Это первые более или менее значительные по числу неиндоевропейские племена, проникающие с востока в прародину индоевропейцев. Прошедшие на запад угро-финские племена были ассимилированы многочисленным индоевропейским населением⁶. Гораздо позднее, лишь в первых веках до новой эры, с востока начинается массовое вторжение тюркских племен. Можно предполагать, что подобные инфильтрации неиндоевропейских племен произошли также на западе⁷ и на юго-востоке. Кроме того, при раннем развитии рабовладельческого общества в Эгейской области, сюда было ввезено большое количество рабов (в классическую эпоху рабы в Афинах во много раз превышали по числу свободное население), позднее ассимилированных выходцев из различных стран Среди-

¹ См. M. V a s m e r, Die alten Bevölkerungsverhältnisse Russlands im Lichte der Sprachforschung, Berlin, 1941, стр. 5 и сл., 32 и сл.

² См. T. L e h r-S p ł a w i ŋ s k i, O pochodzeniu i praojczyźnie słowian, Poznań, 1946; е г о ж е, The Original and Ancestral Home of the Slavs, Poznań, 1947; е г о ж е, Польский язык, М., 1954, стр. 9 и сл.

³ См. M. V a s m e r, указ. соч., стр. 14 и сл.

⁴ См. там же, стр. 18 и сл.

⁵ См. Т. Л е р-С п л а в и н с к и й, Польский язык, стр. 19 и сл.

⁶ Некоторые особенности балто-славянских языков могут быть объяснены воздействием угро-финских языков, как, например, употребление творительного падежа и качестве сказуемого, употребление в функции дополнения родительного падежа вместо винительного при глаголах с отрицанием и т. д.; см. Т. L e h r-S p ł a w i ŋ s k i, O pochodzeniu i praojczyźnie słowian, стр. 136 и сл.; е г о ж е, ВЯ, 1955, № 1, стр. 155. Угро-финского происхождения также имена озер *Вины*, *Лемпно*, *Лампани* и рек *Паскржа*, *Гая*, *Соса*, *Неман*, *Немига* и др. (см. Т. Л е р-С п л а в и н с к и й, Польский язык, стр. 14).

⁷ Носители так называемой «мегалитической культуры» проникли, повидимому, с Запада.

земноморья¹. Все-таки основной массой населения в пределах вышеуказанной территории были всегда индоевропейцы, которые быстро ассимилировали иноязычные племена.

*

Сравнительно-историческое исследование лексики индоевропейских языков приводит к заключению, что всем или почти всем индоевропейским племенам были известны следующие домашние и дикие животные: собака, овца, корова и вол (бык), лошадь, свинья, коза; волк, медведь, мышь. Кроме того, во многих индоевропейских языках засвидетельствованы родственные названия следующих диких животных, птиц, насекомых и деревьев: ж и в о т н ы е: лисица, олень, рысь, заяц, змея, еж, черепаха, выдра, бобр; п т и ц ы: гусь, утка, нырок, орел, сокол, журавль, дрозд; н а с е к о м ы е: муха, овод, оса, пчела, вошь, блоха; д е р е в ь я: береза, бук, дуб, ель, ива, ольха, осина, сосна, тис, ясень. К общеиндоевропейской лексике принадлежат также слова *зима* и *снег*.

Единственное дерево, название которого можно считать общеиндоевропейским, — береза. Главная область распространения березы — от Восточной Европы до Южной Сибири. Наличие общего названия бука в некоторых из индоевропейских языков указывает на то, что часть индоевропейских племен обитала в Центральной и Восточной Европе в пределах границы бука, т. е. западнее линии Калининград—Крым. На основании таких данных сделан вывод, что в более древние времена индоевропейские племена обитали в Европе или Азии, в областях с умеренным климатом.

Человек прошел длинный путь от собирательства и охоты к скотоводству и земледелию. Наличие общеиндоевропейских названий ряда домашних и диких животных и отсутствие обозначений для понятий, связанных с земледелием², и общеиндоевропейских названий металлов показывает, что обособление индоевропейских языков было осуществлено еще до окончательного установления земледелия, т. е. прежде конца неолита (до III тысячелетия до н. э.). Этот факт находится в согласии с вышеприведенными данными. В общем, на основании данных общеиндоевропейской лексики, можно заключить, что в первой половине неолита индоевропейские племена были главным образом раннескотоводческими: земледелие только зарождалось. Однако после обособления индо-иранского и некоторых других языков связь между остальными индоевропейскими племенами и языками не была прервана и в их среде могли возникать общие земледельческие термины.

Известно, что смешение языков — одна из важнейших причин коренных изменений в структуре языка. При этом, чем более субстрат различается от суперстрата, т. е. побежденный язык от победившего, тем более значительны изменения. Доказательством этого являются современные индийские языки, которые существенно изменились в сравнении с индоевропейским языком-основой; такие же примеры дают хеттский, армянский, ирландский и другие языки. В упомянутой выше области мы находим самый архаический (из существующих ныне) индоевропейский язык — литовский. Это объясняется тем, что литовский развивался в рамках своей довольно древней родины (или неподалеку от нее) и испытывал воздействие только со стороны самых близких родственных язы-

¹ Этот процесс напоминает историю негров США.

² Ср. O. S c h r a d e r — H. K r a h e, *Die Indogermanen*, Leipzig, 1935, стр. 23 и сл., 29 и сл.

ков — славянских и германских, а в очень малой степени — угро-финских. Этот факт имеет значение при определении прародины индоевропейских языков.

3

Относительно языковой принадлежности древнейшего населения данной области можно делать ценные заключения на основании исследования географических названий. Особенно важное значение имеют названия больших рек и гор. В первобытно-общинном строе и даже еще позднее население часто покидало и даже уничтожало свои населенные пункты. Поэтому названия селений не могут дать нам вполне достоверных указаний о древнейшем населении данной области. Следовательно, названия больших рек, водных пространств и гор имеют в данном отношении наибольшее значение, потому что они обыкновенно сохраняются в течение долгого времени, независимо от смены населения. Все названия такого рода в рассматриваемой области имеют явно индоевропейское происхождение. Укажем здесь только самые важные из них.

Πόντος ᾽Αἰώνος — *Черное море*. Более старинная форма этого названия — ᾽Αἰώνος (Pind., Eur., Orph. Arg. и т. д.); идентифицированное по народной этимологии с αἰώνος «негостеприимный», оно было изменено по эвфемистическим соображениям в Εὖξενος (Pind., Eur., Hdt. и т. д.) = εὖξενος «гостеприимный». Сведения об этом изменении мы черпаем у древних греческих писателей. ᾽Αἰώνος заимствовано из иранского; ср. авест. *axšaena* «темный, черный»¹. Названия *Черное море*, турецк. *Karadeniz* представляют перевод древнего иранского названия. Еще с древнейших времен, по крайней мере с III тысячелетия до н. э., иранские племена обитали в областях, расположенных по северному побережью Черного моря, как видно из иранского происхождения названий всех больших рек в этой области, как Рā — *Волга*, *Дон*, *Донец*, *Днепр*, *Днестр* и т. д.

Рā — *Волга*. Название Рā, засвидетельствованное у Птолемея, иранского происхождения; ср. авест. *Raohā* (название реки), др.-инд. *Rasā* (название реки), слав. *роса*. Более позднее слово *Волга* — славянского происхождения; ср. русск. *волглый* «тяжелый». Мордовское название *Рав*, *Раво*, *Рава* заимствовано из иранского².

Иранского происхождения также все имена больших рек в Северном Причерноморье.

Τάναϊς — *Дон*. Наименование Τάναϊς засвидетельствовано впервые у Геродота. Оно происходит из иранского слова **dānu*- (жен. род), осет. *don* «вода, река».

Βορυσθένης — Δάνατρίς — *Днепр*. Слово Βορυσθένης как обозначение Днепра засвидетельствовано со времени Геродота. Сильно грецизированное название следует толковать как иранское: **voru-stāna* (или **varu-*) «широкое место, широкая область» и, ниже, по всей вероятности, обозначением устья реки; ср. название *Белый луг* и нижнее течение Днепра. Слово Δάνατρίς засвидетельствовано в первый раз в Аполоним. periopl. Ponti Euxini, 58; оно происходит из иранского **dānu-apara-* «задняя, отдаленная (потусторонняя) река» (или *āpra*-«глубокий»?); см. *Днепр*.

Υπανίς — *Буг*. Слово Υπανίς, засвидетельствованное у Геродота, можно толковать как иранское от и.-е. **su-pani-* «хорошее озеро (болото)». Название *Буг* родственное немецкому слову *Bach* «поток»³.

Τόρας, Τόρας — *Danastius, Danaster* — *Днепр*. Слово Τόρας, засвидетельствованное впервые у Геродота, представляет собой иранское прилагательное *tōras* «быстрый, сильный». Название *Danastius* (Amm. Marc.), *Danaster* (Iord), Δάναστρίς (Theoph. и др.) следует толковать как иран. **dānu-nazdyō* «ближайшая (по эту сторону) река», в противовес Δάνατρίς, см. выше.

¹ Ср.: M. Vasmer, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven, I. Die Iranier in Südrussland, Leipzig, 1923, стр. 20; В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.—Л., 1949, стр. 158 и сл.

² Ср. M. Vasmer, Russ. etym. Wörterbuch, Heidelberg, 1950 и сл., стр. 216 и сл.

³ Ср. J. Rozwadowski, Studia nad nazwami wód słowiańskich, Kraków, 1948, стр. 238 и сл.

Также индоевропейского происхождения название реки Дуная, как и всех его притоков, из которых здесь будут рассмотрены лишь самые значительные.

¹Ἰστρος — *Лунай*. Древнее название Дуная ²Ἰστρος засвидетельствованное со времен Гесиода (VIII в. до н. э.), — фракийского происхождения: оно восходит к и.-е. *is(ə)ro-s с эпентетической согласной *t* между *s* и *r* и родственно с др.-инд. *i ira* «сильный, буйный», *i-yati* «торопиться», дорич. *ἰαρός*, аттич. *ἰερός* «сильный, мощный, буйный», кельт. *Isara* — название реки и т. д.³ Позднее слово *Дунай* вытесняет ⁴Ἰστρος: *Дунай* представляет кельтское название среднего и верхнего течения той же реки⁵ (а не оятю, и иранское название ее нижнего течения). Наименование это было перенесено по нижнему течению реки с вторжением кельтов на восток Стефан Византийский и Евстафий указывают на то, что ⁶Ἰστρος назывался скифами Ματῶας. П. Кречмер правильно интерпретирует данное название как иранское (скифское) из **madivas*, **madvas*, сравнивая его с вед. *madati* «кипеть, вскипеть, волноваться, клекотать», лат. *madeo* «быть влажным, мокрым» и т. д.³

Πόρατα, Πυρετός — *Прут*, левый приток Дуная. Название Πόρατα, Πυρετός встречается впервые у Геродота. Оно иранского происхождения; ср. авест. *parədu* «широкий», авест. *parətu* «брод», осет. *ford* «большая река, море»⁴.

Ἰερασός (Ptol. 3,8,4) — *Cerem*, левый приток Дуная в Румынии. В тексте Птолемея допущена ошибка I-Σ вместо Σ-Τ, т. е. вместо **Seretus* — *Cerem*, вероятно по причине связывания иностранного имени с греческим словом *ἱερός* «святой». Название *Cerem* родственно с др.-инд. *sarīt* (жен. род.) «поток, река», *sarati* «течет», оно фракийского происхождения. Ср. античное название города Σερετίον в Далмации⁵.

Ἀλουτάς (Ptol.) — *Olt*, левый приток Дуная в Румынии. Слово Ἀλουτάς, позже *Alutus*, рум. *Alt*, *Olt*, засвидетельствованное впервые у Птолемея, — фракийского (или иранского) происхождения; ср. название реки *Aama* (< др.-русс. **Аама*) к юго-востоку от Киева, названия литовских рек *Aluntā*, *Aluo(n)ta*, *Alantas*, латв. *aluōts* «источник», иран. *Алонта* (с) (река Каспийского бассейна) и др.⁶

Иранского или фракийского происхождения все древние названия рек в Румынии, например: Νάρηκος (Ar. Rhod), Ναράχιον στῶμα (Argrian.), Ναράχιον — древнее название одного из рукавов Дуная (Сулинского канала) = др.-осет. *narax* «узкий, тесный»⁷, Βυζυ (Μουσιός, вместо *Μπουσιός, *Buzhi*, *Buzeu*)⁸ — правый приток р. Серет, Ἀρδέγεσις (⁹Ορδῆσσός, ¹⁰Ἀργεῖσσος, ¹¹Ἀργύσσος, *Arghis*, *Argyas*, *Arges*), Τιμισ (Τίβισις, Τίβισκος) — левый приток Дуная, *Μυρεσι* (Μάρις, Μάρσιος, *Marus*, *Marisia*) — левый приток р. Тиссы, *Αμποί* (*Ομποί*, *Ampee*, *Ampeie*) — приток Муреша ¹²Ἀραρός — неизвестный приток Дуная (=кельт. *Arar* — название реки)⁹. Ραβῶν (ныне *Jiu*) — приток Дуная (см. ниже), *Sargetia* и др.¹⁰.

Pathissus, Τίσας — *Tisza*, левый приток Дуная в Венгрии и Югославии. Это название встречается в нескольких вариантах: *Pathissus* (Plin.; Παρίσος вместо Παθισός или Πάτισος, Strab.; Πατρίσκιον вместо Πατίσσιον — название города, Ptol. и *Parthiscus*, Amm., = *Pathissus*), Τίσας (Τίγας, Prisc.), *Tisia* (Iord.), Τισός (Theophyl. Sim.) и т. д. Начальный слог *pa-* соответствует славянскому (и фрак.) *po-*; ср. серб. *По-мисје* «область реки Тиссы», русск. *По-волжье* и т. п., слав. *po-* восходит к более старинному *pa-* = лит. *pa-* < и.-е. **po*. Следовательно, название реки было Τίσας, а города или области — *Pat(h)is(s)us*. Это название фракийского или славянского происхождения; ср. др.-болг. *tisa*, *tisie*, *tisъ*, русск., болг. *tis*¹¹.

¹ См. J. Gokorny, Indogerm. etym. Wörterbuch, Bern, 1948 и сл., стр. 299 и сл.

² См. Н. Krahe, Sprache und Vorzeit, Heidelberg, 1954, стр. 130.

³ Р. Kretschmer, «Glotta», Bd. XXIV, 1935, стр. 5 и сл.

⁴ О происхождении имен Τίνας, Βορσθενής, Δινατρις, Ὑπανις, Τόρης, Πόρατα см.: M. Vasmer, Untersuchungen..., стр. 74, 65 и сл., 61 и сл.; Р. Kretschmer, «Glotta», Bd. XXIV, 1935, стр. 11 и сл.; В. И. Абаев, указ. соч., стр. 162, 177, 183, 185.

⁵ См. Н. Krahe, Die illyrische Namengebung, «Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft», Bd. I, 1947, стр. 220.

⁶ См.: J. Rozwadowski, указ. соч., стр. 277; Н. Krahe, Sprache und Vorzeit, стр. 49.

⁷ Ср. В. И. Абаев, указ. соч., стр. 174.

⁸ Ср. фракийские географические названия Βύζας, Βύζης, Βύζος < фрак. *βυζ- = новоперс. *buz* «коза, козел».

⁹ Ср. Н. Krahe, Sprache und Vorzeit, стр. 50.

¹⁰ Ср. А. Rosetti, Istoria limbii române, Bd. II, București, 1938, стр. 53 и сл., 63 и сл.

¹¹ См. в последнее время S. Szádeczky-Kardoss, «Acta antiqua», t. II, Budapest, 1953, стр. 77 и сл.; однако предположение, что Τίσας = иран. **tijah* «река» (?), не убедительно.

Marus (Plin., Тас.), ныне *Morasa* (нем. *March*) — левый приток Дуная в Чехословакии. Название родственно с лат. *mare* «море» русск. *море*, англо-сакс. *merise* «болото», нем. *Marsch* «топь, болотистое место», и др.¹

Naba (IX в.), ныне *Naab* — левый приток Дуная в Баварии. Название восходит к и.-е. **nobhā*².

Притоки Дуная в Болгарии будут рассмотрены в дальнейшем. Здесь мы указываем на происхождение наименований некоторых из самых важных притоков Дуная в Югославии, Австрии и Германии.

Márvos, *Bárvos* (Strab.), *Margis* (Plin.) — *Morava*, правый приток Дуная в Югославии. Это название иллирийского или фракийского происхождения: оно восходит к и.-е. **morgo-*; ср. англо-сакс. *merece*, др.-исл. *merki* «болото» от и.-е. **morg-*; ср. *Mroga* — название реки в Польше³.

Savus (Plin.), *Sava* — *Sava*, правый приток Дуная в Югославии. Происхождение этого названия иллирийское: и.-е. **sowo-s-*; ср. греч. βέω «идет дождь» и т. д.⁴.

Dravus (Plin.) — *Драва*, правый приток Дуная в Югославии. Это название иллирийского происхождения; оно восходит к и.-е. **drouo-s-*; ср. др.-инд. *dravati* «бежит, течет», *Draranti* — название реки, галл *Druentia* (название реки) и т. д.⁵.

Ἀραβων, *Ναράβων* (Ptol.), *Arrabona* — венг. *Rába*, нем. *Raab*, слав. *Paba* — правый приток Дуная в Австрии и Венгрии. Слово восходит к и.-е. **rabh-*; ср. лат. *rabies* «бешенство», др.-инд. *rabhas-* «буйность, сила», *rabhasa-* «дикий, буйный, сильный». Данное название родственно с названием реки в Дакии *Ῥαβων* (Ptol.), ныне *Jiuu* (рум. *Jiu*, *Jiu-l*); нынешнее имя представляет собой славянский перевод фракийского названия *Jiuu* = болг. *жив*, русск. *живой* в смысле «быстрый, буйный».

Ἐνος (Arrian.), *Αἴνος* (Ptol.: αἰ=ε), ныне *Inn*. Это название кельтского происхождения; ср. ср.-ирл. *en* «вода» < и.-е. **peno*⁶.

Isara, ныне *Isar* — правый приток Дуная в Баварии. Наименование реки кельтского происхождения; оно восходит к и.-е. **isaro-*; ср. фрак. *Ἰστρος*⁷.

Licus (Fort.), ныне *Lech*, правый приток Дуная в Баварии. Название реки кельтского происхождения; ср. литовские названия рек *Liėkė*, *Leikā*, лит. *liekna* «топь, трясины» и др.⁸

Jlara (1049), ныне *Jller*, правый приток Дуная в Баварии. Это название — кельтского происхождения; оно родственно с кельт.-герм. *Jllach* (1060 *Jlaha*; -aha < герм. *ahwā* «вода») — правый приток реки Лех, балто-слав. *Ила*, левый приток р. Гауя (Латвийская ССР), *Илия*, приток р. Припяти и приток р. Вилии (кельт.) герм. *Jl-feld* (Ганновер); ср. слав. *иль*, русск. *ил*, греч. ἰλός, «ил, грязь, болото». Ср. названия рек с суффиксом -ara: *Isara* (*Isar*, *Iser*, *Isère*), *Alara* (*Aller*), **Iscara* (*Ischer*), *Embiscara* (*Embscher*), *Visara* (*Weser*) и др.¹⁰ Можно предположить, что первоначальное название этой реки (**Ila*, **Jlura* или **Jluris*?) было изменено под влиянием наименования соседней реки *Isara*; ср. *Δάναστρις* — *Днестр* (более древнее *Danastius*) под влиянием *Δάνατρίς* — *Днепр*¹¹. Возможно также предположение, что более древняя форма была **ilu-rā* (**ilu-ri-s*, **il-brā*, **il-ara*)¹²; ср. греч. ἄλμυρός, ὕδαρος и т. п.

Индоевропейского (кельтского, венетского, германского, славянского) происхождения также все другие притоки Дуная в Чехословакии, Австрии и Баварии, как *Cusus* — *Váh* (*Waag*), *Ens* (*Enis*), *Erlaj* (*Arlape*),

¹ Ср.: Н. Krahe, *Sprache und Vorzeit*, стр. 64 и 103; E. Schwarz, *Deutsche Namenforschung*, II, Göttingen, 1950, стр. 89.

² Ср. J. Rozwadowski, указ. соч., стр. 134 и сл. См. и J. Pokorný, *Indogerm. etym. Wörterbuch*, стр. 315 и сл.

³ См. J. Pokorný, *Indogerm. etym. Wörterbuch*, стр. 748. Или от и.-е. **morgho-*; ср. латв. *merguot* «накапывает»; см.: A. Walde — J. Pokorný, *Vergl. Wörterbuch der indogerm. Sprachen*, Bd. II, Berlin — Leipzig, 1927, стр. 280; Д. Де-чон, *Характеристика на тракийския език*, София, 1952, стр. 24.

⁴ Ср. A. Walde — J. Pokorný, *Vergl. Wörterbuch*., Bd. II, стр. 468.

⁵ Ср. J. Pokorný, *Indogerm. etym. Wörterbuch*., стр. 205.

⁶ Ср. там же, стр. 807.

⁷ Ср. Н. Krahe, *Sprache und Vorzeit*, стр. 131; см. выше, стр. 52.

⁸ Ср. J. Pokorný, *Indogerm. etym. Wörterbuch*, стр. 669.

⁹ Ср. E. Schwarz, указ. соч., стр. 116 и сл.

¹⁰ См. Н. Krahe, *Sprache und Vorzeit*, стр. 54 и сл.

¹¹ См. там же, стр. 51.

¹² Ю. Pokorný (J. Pokorný, *Zeitschrift für celtische Philologie*, Bd. XX, 1936, стр. 521, Bd. XXI, 1937, стр. 88) предполагает **Illuris*. Ср. др.-в.-нем. *Wisura* > нем. *Wiser*.

Gran, Günz, Kamp, Krems, Laaber (Lapara), Leitha (Litaha), Mindel, Paar (Baraha), Pfatter (Peters), Regen (Regan), Traisen (Treisima, Trigramum), Vils, Wien, Wörnitz (Warinza), Ybbs, Zusan (Zusme) и пр.¹.

Индоевропейского происхождения также названия обеих больших гор в низовье Дуная — Карпат и Балкан.

Καρπάτης — *Карпаты*. Название Καρπάτης засвидетельствовано со времени Птолемея (II в. н. э.). Оно фракийского происхождения; Καρπάτης происходит из и.-е. **(s)korǵā-tā* «скалистая»; ср. алб. *karǵë* «скала»². Это слово сохранено в болгарских диалектах под формой *карпа* «скала». Как видно из отсутствия метатезы, это слово фракийского происхождения; оно перешло в болгарский язык через румынский или албанский.

Αἴμος — *Балканы*. Название Αἴμος засвидетельствовано со времен Гекатея (VI в. до н. э.). Античное слово сохранилось под формой *Эмине*, как название мыса в самой восточной части Балкан у Черного моря. Оно произошло из и.-е. **shaimo-s*. буквально «горный (хребет), верх» (или «лес, чаща») и соответствует греч. αἴμος «куст, кустарник, чаща, роща», др.-инд. *śīma, śīma-* «плато, верх, граница», ирл. *sīt* «цепь». Отсутствие начального *s* объяснено Д. Дечевым как влияние греч. αἴμος³. Более вероятным является предположение, что греки заимствовали это название под формой **Saimas* в то время, когда начальное антевокальное *s* в греческом языке еще сохранялось, т. е. до XVI в. до н. э. Позднее начальное антевокальное *s* в этом слове перешло закономерно в греческом языке в *h*, как и во всех других греческих словах. С другой стороны, можно предполагать, что консонантное сочетание *sh* перешло во фракийском в *h* (или *x*).

Индоевропейского происхождения также и все другие названия рек (и гор) в северных и западных областях определенной выше родины индоевропейских племен, как *Аллер, Везер, Двина, Дрвенца, Ембшер, Исла, Истра, Лан, Лейне, Липпе, Майн, Нида, Нотец, Одра, Рейн, Рур, Сала, Эльба* и т. д.; балто-славянские: *Свендрня, Буг, Миния, Вилия*; балтийские: *Нара, Сож, Упа, Лучеса, Инстра*; славянские: *Варта, Висла, Скава, Сола, Вильга, Вепрь, Десна, Бобр, Бебрия*; германские: *Скрва, Пелтев, Танев, Стинава* и т. д. Их индоевропейское происхождение давно установлено⁴.

Хорошо видна разница между названиями рек в рассматриваемой области и в Западной Европе. Тогда как первые явно индоевропейского происхождения, о вторых этого сказать нельзя. Таковы, например, названия всех больших рек Франции и Пиренейского полуострова, как *Sequana — Сена; Liger — Луара; Garumna — Гаронна; Durius — Дору (Дуэро); Tagus — Тежу (Тахо); Ἰβηρ — Iberus — Эбро* и пр. Нет убедительных индоевропейских этимологий даже для названий некоторых больших притоков Рейна.

4

Здесь необходимо подробнее остановиться на данных, относящихся к Балканскому полуострову, так как эта территория очень часто определяется как неиндоевропейская.

В одной работе, которая вскоре выйдет из печати, автор этих строк попытался собрать и рассмотреть все названия рек, озер, болот или источников, встречающихся в Северной Болгарии, т. е. в области между Черным морем, Дунаем и Балканами. На основе нескольких сотен таких названий можно сделать следующие выводы:

¹ Ср. E. Schwarz, указ. соч., стр. 45, 89, 106, 107, 109, 114, 117.

² Ср. A. Walde — J. Pokorny, Vergl. Wörterbuch., Bd. II, стр. 580.

³ Ср. Д. Дечев, указ. соч., стр. 19.

⁴ См., например: T. Leher-Splawinski, O pochodzeniu i praojczyźnie słowian, стр. 60 и сл.; его же, Польский язык, стр. 14; J. Rozwadowski, указ. соч.; E. Schwarz, указ. соч., стр. 66 и сл.

1. Все большие реки в этой области сохранили свои дославянские и доримские (также и докельтские) названия: *Янтра*, *Осм*, *Вит*, *Искр*, *Тимок*. Из числа средних по величине рек сохранили свои прежние наименования *Almus* — *Лом*, а вероятно, и *Панега*, *Девня*, которые, однако, не засвидетельствованы в древности. Две из больших рек изменили свои доримские названия: *Огоста* (лат. *Augustae*) и *Камчия* (турецко).

2. Почти все малые и самые незначительные реки имеют или болгарские (славянские) названия, гораздо реже румынские (в западной части рассматриваемой области) или турецкие (в восточной). Это является подтверждением правила, что в общем при массовом изменении состава населения маленькие реки изменяют свои названия, а большие их сохраняют¹.

3. Все дославянские и доримские названия индоевропейского происхождения:

Абрас — неизвестный приток реки ²*Ἰστρος* «Дунай», берущий начало на горе *Агрос* (Hdt. 4.49). Это название родственно с греч. *ἀν-αρος* «без-водный», др.-прус. *Aure* (название реки) и др.³

⁴*Ἀεῖος* (Ael.) — приток реки ⁵*Ἰστρος* «Дунай». Это слово, как видно из современного названия реки *Черна-вода*, восходит к фрак. **a(n)-ks(e)i-* или иран. **a-xš(a)i-* «темный, черный»; ср. авест. *xšau-* «сиять, блистать», *axšaēna-* «темный, черный» (> греч. ⁶*Ἀεῖνος*, см. выше)³.

⁷*Ἀρτάνης* — южный приток реки ⁸*Ἰστρος* вероятно близ р. Янтры (Hdt. 4.49). Название реки родственно греч. *ἀρδω* «орошать, поливать, поить», *ἀρδάνιον* «сосуд для воды» и др.⁴. Относительно передвижения согласного *d > t* см. ниже.

Вит — *Utus*. Это название засвидетельствовано с I в. н. э. (впервые у Плиния). Оно восходит к и.-е. **ūdos* «вода»⁵; ср. тот же корень в др.-болг., русск. *выдра*, новоболг. *видра*, лит. *ūdra*, от и.-е. **ud-rā*. Ср. иран. *Ōδων* (Ptol.), нынешняя Кумарка, которая впадает в северо-западную часть Каспийского моря; ср. др.-инд. *udan-* «вода»; ср. также названия нескольких рек в Европейской части СССР — *Уда*, *Уды*, *Удыч*, *Удра*⁶.

Девня — источник, река и поселок. В более старых письменных памятниках засвидетельствована форма *Девина*, происшедшая из и.-е. **dheu-īnā* или **dheu-einā*, буквально «источник, поток, течение»; ср. др.-инд. *dharate* «бежит, течет», *dhaui-* «источник, поток», (до)греч. *δῶν-κρήνη* «источник» (Hes.), *Двина* (название реки) от и.-е. *dhw-einā*⁷ и т. д. В местном северо-восточном болгарском диалекте более старинное название *Девина* перешло в *Девня* с исчезновением гласной в заударном слоге⁸. Та же основа встречается, повидимому, и в именах сел *Дёвене* (Врачанское) и *Дёвенци* (Луковитское), в которых находятся большие источники.

Zyras (Plin.) — река под Бальчиком, вероятно нынешняя Батовская река. Это имя фракийское: и.-е. **sīr-ont-s* или **sīrā*; ср. фракийские географические названия *Герц-ζερз*, *Den-sara*, родственные с др.-инд. *sīrā*, *sīrā* «течение», *satit* (жен. род) «поток, река», фрак. *Seret* — река в Румынии и т. д. от корня **ser*⁹.

Искр — ¹⁰*Ἰσκιος*. Название реки и города передается в следующих формах: *Σκίος* (Hdt.) с отпадением начального гласного *o-*, воспринятого как артикль *ὁ*, ¹¹*Ἰσκιος* (Thuc.), *Oescus* (Plin.), *Οἰσκος* (Ptol.), *Uscus*, *Hiscus* (Iord.), ¹²*Ἰσχος* (Procop.), *Yscos*

¹ Подобный случай представляют, например, названия рек в области Восточных Альп: названия притоков Дуная — кельтского происхождения, их собственных притоков — славянские, а самые маленькие ручьи имеют немецкие названия (ср. E. Schwarzh, указ. соч., стр. 104).

² Ср. J. Pokorný, Indogerm. etym. Wörterbuch, стр. 80 и сл.

³ Ср. D. Detschew, «Zeitschrift für Ortsnamenforschung», Bd. VII, 1931, стр. 194 и сл.

⁴ Ср. D. Detschew, Thrakische Sprachreste, Wien, 1955 (в печати), стр. 29.

⁵ Ср. Ст. Младенов, «Списание на Бълг.АН», кн. X, 1915, стр. 42 и сл.; относительно передвижения согласного *d > t* см. ниже.

⁶ См. J. Rozwadowski, указ. соч., стр. 276 и сл.

⁷ См. M. Vasmer, Russ. etym. Wörterbuch, стр. 331.

⁸ И вместо *-на* — вторичного происхождения. — В. Миков (см. «Произход и значение на имената...», София, 1943, стр. 136) объясняет это название как производное от *дева*. Подобное объяснение дается также у Розавдовского (J. Rozwadowski, указ. соч., стр. 58 и сл.).

⁹ См. Д. Дечев, указ. соч., стр. 18 и сл.

(Cod. Theod.¹). Первоначальная форма этого имени была **Usk(i)jo-s*: фракийское *u* было передано гласной *o* у Геродота и у Фукидида (V в. до н. э.), так как аттич. *o* в то время обозначало *ü*, а аттич. *oo* — *ü*; существует много примеров подобной субституции. Это название родственно с др.-ирл. *u(i)sce* «вода», др.-кимр. *uisc*, ирл. *ess* «вода, трясина, болото» от и.-е. **ud(e)-s-kjo-*, производное от и.-е. **udes-*; ср. греч. ὕδωρ (ср. род) «вода», др.-инд. *utsa-h* «источник, колодезь» от и.-е. **ud(e)so-s*²; алб. *ujë* «вода» восходит, по всей вероятности, также к **u(d)sk(i)jā* (*sk* > *h*; ср. алб. *hije* = греч. σκιά «тень»). Более поздняя форма Ὀῤσχος = *Oescus* может быть объяснена несколькими способами. Можно предположить метатезу *j*, т. е. **Uskjo-s*, **Ujsko-s*, ср. др.-ирл. *uisc* наряду с *usce* (кельтское влияние?). Кроме того, можно допустить, что *j* вызвало изменение *u* в *ü*: **Uskjos* > **Üskos* (= *Yscos*, Cod. Theod.). В таком случае *oi* передает *ü*, так как со II — III вв. дифтонг *oi* перешел в греческом в *ü*. От этой формы в дальнейшем вполне правильно возникает Ὀῤσχος (Просор.), *Hiscus* (Iord.), потому что в греческом языке *ü* позднее переходит в *i*. Наконец можно принять, что *oi* передает *ü*, так как в позднем фракийском *u* перешло в *ü*, которое было субституировано позже в романском или болгарском языках посредством *i*. Современное болгарское название *Искър* содержит вторичное *r*: причиной его наличия является, во-первых, воздействие болгарских слов *искра*, *искра*, во-вторых, влияние со стороны названий рек Ὀῤσρος — *Ибър* (верховье Искра, находится по соседству с Ибром), Кεῖρος — *Цибър*, *Iatrus* — *Янтра*, вероятно и Ὀῤσρος — **Истър* и т. д. Взаимодействие географических названий близко расположенных местностей, рек и гор — явление известное³.

Камчия — *Panissos*, *Pan(n)ysis* (Plin.), Πάνυσ(σ)ος (Ptol.), Πάναξ. *Panissos* — древнее наименование теперешней реки *Камчия*. Оно произошло от и.-е. **pan(i)-* «тина, болото, трясина»; ср. гот. *janī* «грязь, тина»⁴. Того же происхождения и название р. *Панегу* (приток Искра).

Лом — *Almus* (Iord., Просор. и др.). *Лом* — название двух притоков Дуная в Болгарии. Один в Западной Болгарии вливается в Дунай под городом *Ломом*, другой в восточной Болгарии вливается в Дунай под городом *Русе* (*Русенский Лом*). Это слово фракийского происхождения: оно восходит к и.-е. **almo-s* (и.-е. *ǵ* > фрак. *a*) = лат. *ultus*, др.-норд. *almr* «вяз». По всему протяжении первой реки мы находим ныне географические названия *Брест*, *Брестовете*, *Брестак* (болг. *бръст*, *брест* «вяз»). Следовательно, название этой реки первоначально было именем какой-то местности. Ср. названия германских рек *Alma*, *Almaha*, *Elmaha*, *Elm*, *Ilm*.

Λούγος — наименование реки, упомянутой у Арриана, которую можно считать притоком реки Ὀῤσρος (Дунай) в области (трибаллов или) реки *Янтра*. Это слово фракийского происхождения: оно означает буквально «болотистый»; ср. лит. *liūgas* «трясина, болото», *liūgai* «лужа», русск. *лужа*, *Lūzas* — название литовского озера, *Ludza* — название латышской реки, Λούγειον ἔλος — название иллирийского болота и др.⁵

Марица имеет свои истоки в местности *Вонешата-вода* близ *Ханнбоаза*, соединяется с *Энювией* (под *Килпфаревом*), которая является притоком *Янтры*. Название идентично с именем реки в Южной Болгарии и Турции *Марица* (известной с XII в.); ср. Μάρσιος (Strab.) — *Марош* в Венгрии, *Marus* — *Морава* в Чехословакии. Это название фракийского происхождения; ср. англо-сакс. *merisc* «болото, трясина», нем. *Marsch* «топь, болотистое место» и т. д.⁶.

Νόγος (Hdt.), *Noas*, *Noras* (Val. Flacc.) — южный приток *Истра* во Фракии, вероятно близ *Novae*, города на Дунае между *Янтрой* и *Осмом*. Это название родственно с географическим названием Νάισσος, *Navissus*, современным *Нишем*, дор. νόα·ή πηγή· Λάκωνες (Hes.), νόω, эол. νάω «теку», др.-инд. *snāuti* «капает» и т. д.⁷; ср. название литовской реки *Nova*.

Осм — *Asamus*. Это название засвидетельствовано в следующих формах: *Asamus* (Plin.), Ἀσμηοῦς (Priscus), Ἀσμηα (жен. род, ед. число или ср. род, мн. число, Theoph. Simos.). Более старинная форма — *Asamus*; в Ἀσμηα следует видеть влияние народной этимологии (связь с греческим прилагательным ἄσμηος). Современное болгарское название *Осм* указывает на то, что надо исходить из формы *Asamus*, при-

¹ Относительно форм см. Д. Дечев, «Известия на Ин-та за български език», кн. III, 1954, стр. 267 и сл.

² Ср. Ст. Младенов, указ. соч., стр. 50.

³ См. V. Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 176. Ср. Δανάστρις — *Днестр* (более древнее *Danastius*), возникшее под влиянием Δανάτρις — *Днепр*.

⁴ См. Д. Дечев, Характеристика на тракийския език, стр. 28.

⁵ См.: J. Pokorny, Indogerm. etym. Wörterbuch, стр. 686; H. Krahe, Sprache und Vorzeit, стр. 109.

⁶ Ср.: В. Миков, указ. соч., стр. 181; H. Krahe, Die illyrische Namengebung, стр. 280. См. выше, стр. 53.

⁷ Ср. Д. Дечев, Характеристика на тракийския език, стр. 26.

чем ударенное *a* переходит в *o*, а неударенное *a* редуцируется в *ъ* — фонетическое явление, характерное для северо-восточных болгарских диалектов. Этимология этого слова ясна: оно восходит к и.-е. **ak'amo-* «камень» или **ak'amjo-* «каменный»; ср. др.-болг. *камъ* «камень», лит. *aštinio* «острие», др.-инд. *aštan-* «камень» и т. д.¹ Для уяснения этимологии можно сравнить это название, например, с названием р. *Каменица*, находящейся под селом Угърчин, по соседству с р. Осм. Такие наименования присущи рекам с каменистым руслом или несущим камни. Именно таковым является верхнее течение р. Осм, например под городом Ловечем: близ села Александра под Ловечем река несет камни, а дальше — песок. Кроме того, правый крутой склон реки во многих местах скалист. Ср. иллирийское географическое название *Asamum* из Далмации, истолкованное как «каменистое место» на основании его средневекового имени *Lapida* (хорв. *Lapad*) от лат. *lapis* «камень»².

Тимок — *Timachus* Это название засвидетельствовано в следующих формах: *Timachus* (Plin.) — название реки, *Timachi* — название племени, живущего по течению реки (Plin.), и *Τίμαχος* (Ptol.) — наименование селения. Оно восходит к и.-е. **tymako-s*, буквально «темный», или **tym-ak^{wa}-ā* «темная (черная) вода»; ср. др.-болг. *тъма* от и.-е. **tyma*, *тъмънъ*, по-болг. *тъмен* и т. д.³ Это название родственно с наименованием племени в Беотии *Τεμνικες* от и.-е. **tems-ik-es*, произведенного от основы и.-е. **tem(e)s-*; ср. др.-инд. *tamas-* ср. род «темнота, мрак», *tamasa-h* «темного цвета», лит. *tamsūs* «темный, черный» и пр.

Янтра — **Aντρος* — *Iatrus*. Это слово засвидетельствовано в следующих формах: **Aντρος* (Hdt.), *Ieterus* (Plin.), *Iatrus* (Iord.). Различные формы указывают на то, что первоначально это название имело форму **ētro-(u-?)*. Во фракийском, как и в древнеболгарском, и.-е. *ē* перешло в широкое открытое *ē* (=др.-болг. *ѣ*), передаваемое по-гречески и по-латински, за неимением соответственного звука, путем *a*, *ja*, *je* или *e*, подобно тому, как передается в греческом болгарский звук *ѣ* от и.-е. *ē*; ср. *Κιβτρος* и *Κιβτρος* = *Kibros*. Это название восходит к и.-е. **ētro-s* или **ētru-s* «быстрый, буйный»; ср. др.-в.-нем. *atar* «acer, sagax, celer» от и.-е. **ētro⁴*. Современное болгарское название *Янтра* имеет вторичное *н* по народной этимологии, вероятно под влиянием слова *янтар*. Древнейшая форма **Aντρος* показывает наличие *θ* от и.-е. *t*, т. е. передвижение согласной, подобно тому, как имя *Utus* < и.-е. **udos*. В своем верховье Янтра называется *Емѣр*: здесь сохранилось старое название реки без вторичного *н*.

Итак, все дославянские и доримские названия рек в области между Черным морем, Дунаем и Балканами — индоевропейского происхождения, как и сами названия (*Ποντος*) **Aἰντρος*, **Ιατρος* «Дунай» и *Αἰτρος*. Нет никаких оснований для утверждения, что древнее население в рассматриваемой области было неиндоевропейского происхождения. Этот факт является показателем того, что уже в самой глубокой древности в этой области обитали индоевропейские племена. Если отдельные неиндоевропейские племена и вторгались в нее, они быстро ассимилировались индоевропейским населением.

5

Следовательно, северная часть Балканского полуострова была населена уже в глубокой древности индоевропейскими племенами. Это заключение резко противоречит концепциям тех ученых, которые ищут «прародину» индоевропейцев в Северной Германии. Однако факты отнюдь не говорят в пользу последнего взгляда. Чтобы показать, насколько слаба аргументация, приводимая в доказательство того, что южная часть Балканского полуострова якобы не могла быть населенной в более отдаленные времена индоевропейцами, мы сошлемся на доводы автора одной из последних работ по этому вопросу. В своем исследовании «Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache», опубликованном в 1954 г., П. Тиме (Paul Thieme) подчеркивает, что южная часть Балканского полуострова не могла быть заселена в более отдаленные време-

¹ Ср.: Д. Дечев, Характеристика на тракийския език, стр. 11; его же, «Известия на Ин-та за български език», кн. III, стр. 277.

² Ср. A. Mayer, «Glotta», Bd. XXXII, 1952, стр. 57 и сл.

³ См. Д. Дечев, Характеристика на тракийския език, стр. 39.

⁴ См. Д. Дечев, «Известия на Ин-та за български език», кн. III, стр. 278 и сл.

на индоевропейцами, так как характерные для Греции растения и продукты — кипарис, маслинное дерево, маслина, виноградная лоза, вино, — а также из животных осел якобы называются именами неиндоевропейского происхождения («... ihre Stammbildung... bleibt unanalysierbar. Es müssen fremde Lehnwörter sein», стр. 544). Это мнение довольно распространено, однако совершенно несостоятельно: оно основывается на давно преодоленных концепциях в греческом языкознании конца XIX в., выраженных в книге П. Кречмера «Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache». В сущности слова, которые П. Тиме считает неиндоевропейскими, имеют несомненно индоевропейское происхождение. Мы здесь их рассмотрим поочередно.

Слова возникают на основе абстрагирования самых характерных, отличительных признаков предметов и явлений. В греческом языке есть несколько слов для обозначения различных видов виноградной лозы. Все они образованы от корней, которые обозначают «витья, вращаться вокруг чего-нибудь», так как характерным признаком виноградной лозы является то, что она вьется вокруг других растений или деревьев. Так, например, $\epsilon\iota\lambda\tau\omicron\varsigma$ «вьющаяся виноградная лоза» и $\epsilon\lambda\upsilon\tau\tau\chi\cdot\acute{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\omicron\varsigma\ \mu\acute{\epsilon}\lambda\alpha\iota\chi\alpha$ (Гесихий) производные от корня $*\mu\epsilon\iota-$, ср. $\epsilon\iota\lambda\omicron\mu\alpha\iota$ «извиваться, вращаться», $\epsilon\iota\lambda\omega$ «volvo, obvolvo», $\epsilon\lambda\upsilon\tau\theta\epsilon\iota\varsigma$; $\text{F}\iota\acute{o}\nu$ и $\text{F}\iota\acute{\gamma}\nu$ «виноградная лоза» происходят от корня $*\mu\epsilon\iota-$ «витья», к которому восходит и русский глагол *витья*; $\acute{\alpha}\nu\alpha\beta\epsilon\nu\omicron\rho\acute{\alpha}\varsigma$ «лоза, которая вьется вокруг деревьев»¹.

$\text{F}\omicron\iota\upsilon\omicron\varsigma$ «вино». В сущности индоевропейское происхождение этого слова давно установлено², однако, под влиянием господствовавшей некогда теории о неиндоевропейском происхождении догреческого населения, А. Мейе, не приводя достоверных доказательств, объявил его неиндоевропейским³, и это авторитетное мнение было некритически воспринято почти всеми. Из греческого слова $\omicron\iota\upsilon\eta$ «виноградная лоза (вино)» видно, что первоначальное значение было «виноградная лоза» и что различие в роде между $\omicron\iota\upsilon\eta$ и $\omicron\iota\upsilon\omicron\varsigma$ имеет целью разграничить растение от его продукта⁴. Греч. (F) $\omicron\iota\upsilon\eta$ «виноградная лоза» восходит к и.е. $*\mu\omicron\iota\text{-}n\acute{a}$ и является производным от того же корня, что и латинское слово *vitis* «виноградная лоза, виноград, вино» от и.-е. $*\mu\omicron\iota\text{-}ti\text{-}s$ или $*\mu\epsilon\iota\text{-}ti\text{-}s$. Первоначальное значение этих слов — «вьющееся (ползущее) растение, растение, которое вьется вокруг чего-нибудь». Она является производными от корня $*\mu\epsilon\iota-$ «вить, витья». Эти слова родственны с $\iota\upsilon\gamma\upsilon\text{-}\acute{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ («виноградная лоза») = $\text{F}\iota\acute{\gamma}\nu$ от $*\mu\iota\acute{a}$ (или $*\mu\iota\text{-}\acute{e}n$, $*\mu\iota\text{-}\acute{a}n$), $\upsilon\beta\omicron\nu\cdot\acute{\iota}\nu\alpha\delta\epsilon\nu\delta\rho\acute{\iota}\delta\alpha$ (вин. падеж ед. числа «виноградная лоза, которая вьется вокруг деревьев») = $\text{F}\iota\acute{o}\nu$ от и.-е. $*\mu\iota\omicron-$ и $\epsilon\upsilon\acute{\iota}\alpha\delta\epsilon\varsigma$. $\acute{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ от $*\text{F}\iota\acute{\alpha}\varsigma$, $\text{-}\acute{\alpha}\delta\omicron\varsigma$; ср. $\omicron\iota\upsilon\acute{\alpha}\varsigma$, $\text{-}\acute{\alpha}\delta\omicron\varsigma$ «виноградная лоза, вино». Упомянутые глоссы Гесихия нашли точное соответствие в хеттском слове $\mu\acute{\iota}ian\text{-}$ или $\mu\acute{\iota}iana\text{-}$ «вино» < и.-е. $*\mu\iota\acute{\iota}h\text{-}$, $*\mu\iota\acute{a}in\text{-}$ или $*\mu\iota\acute{a}\text{-}no\text{-}$, $*\mu\iota\acute{\iota}o\text{-}no\text{-}(\text{-}n\acute{a})$, ср. также иер. «хет.» $\mu\acute{a}(i)ana\text{-}$ «вино»⁵.

Хеттское слово $\mu\acute{\iota}ian(a)\text{-}$ «вино» имеет точное соответствие в др.-инд. $\nu\acute{u}\tilde{a}na\text{-}m$ «обвивание (das Winden, Umbüllen)», греческое $\upsilon\acute{\iota}\omicron\nu\text{-}\text{F}\iota\acute{o}\nu$ — в латышском *vījas* «усики, прицепы (Ranken) виноградной лозы», латинское *vitis* «виноградная лоза» — в авестийском *vaēiti* «ива, верба, ивовая ветвь» [В. И. Абаев, указ. соч., стр. 186; иран. *vaiti* «лоза, ива». Ср. также др.-инд. *veta-h* «вьющееся водяное растение (rankendes Wassergewächs), камыш, тростник, прут», а греческое $\omicron\iota\upsilon\eta$ «виноградная лоза (вино)» и $\text{F}\omicron\iota\upsilon\omicron\varsigma$ «вино» имеют соответствия в др.-инд. $\nu\epsilon\tilde{n}\text{-}h$ «камыш, тростник, бамбуковая ветка» < и.-е. $*\mu\omicron\iota\upsilon\text{-}n\text{-}s$; ср. также слав. *вѣнѣцъ*, лит. *vainikas* «венчик» < и.-е. $*\mu\omicron\iota\upsilon\text{-}n\text{-}ko\text{-}s$, русск. *венчик*, буквально «витое», < и.-е. $*\mu\omicron\iota\upsilon\text{-}n\text{-}ko\text{-}s$. Основное значение всех этих слов ясно: они происходят от индоевропейского корня $*\mu\epsilon\iota-$ «вить, витья». Их образование также ясно с точки зрения словообразования индоевропейских языков. Они имеют многочисленные соответствия во всех индоевропейских языках. Следовательно, заимствование этих слов из какого-нибудь неиндоевропей-

¹ Ср. E. Boisacq, Dictionnaire étymologique, Heidelberg — Paris, 1923, стр. 224 и 223.

² Ср., например, A. Walde — J. Pokorny, Vergl. Wörterbuch..., Bd. I, Berlin — Leipzig, 1930, стр. 226.

³ Ср., например, A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, 6-e éd., Paris, 1948, стр. 63 и сл.

⁴ Ср. $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\iota\alpha$, $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\iota\omicron\nu$, $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\iota\omicron\varsigma$; лат. *oliva: oleum, pirus: pirum, mālus: mālum*.

⁵ Ср. J. Friedrich, Heth. Wörterbuch, Heidelberg, 1952, стр. 255 и 336.

ского языка исключено. Фонетические особенности арм. *gini* (< и.-е. **uoiniō-*), алб. *venë*, тоск. *verë* (< и.-е. **uoinā*) позволяют с большой вероятностью рассматривать их как унаследованные из индоевропейского языка-основы¹, а не как заимствования. Латинское *vinum* может быть заимствовано из греческого или унаследовано из индоевропейского языка-основы¹. Глоссы Гесихия $\beta\eta\nu\alpha\cdot\tau\omicron\nu\ \omicron\iota\nu\omicron\nu$ Кρήτες можно объяснить несколькими способами: 1) $\beta\eta\nu\alpha$ (вин. падеж) от * $\epsilon\beta\gamma\nu$; ср. $\epsilon\beta\omega$ «лить, наливать» ($\omicron\iota\nu\omicron\nu$, $\mu\epsilon\theta\upsilon$), $\beta\eta\nu\eta$, $\beta\alpha\nu\omicron\varsigma$ «сосуд для воды»; 2) $\beta\eta\nu\alpha$ вместо * $\beta\eta\nu\alpha$ —* $\beta\eta\nu\alpha$ (вин. падеж) = $\upsilon\beta\gamma\nu$ = $\beta\eta\nu$ (ошибки передки у Гесихия: contamination $\beta\eta\nu + \epsilon\beta\omega$); 3) позднегреч. * $\beta\eta\nu\alpha$ < догреч. (ι) * $\beta\alpha\iota\nu\alpha$ =греч. $\iota\omicron\iota\nu\eta$ < и.-е. **uoinā*.

Так как в грузинском языке имеется довольно много заимствований из греческого, армянского и из других индоевропейских языков, то грузинское слово *vinu* является несомненным заимствованием из армянского или какого-нибудь индоевропейского языка (ср. арм. *gini* «вино» от и.-е. **uoiniō-*), а не наоборот². С другой стороны, семитическое слово **uainu* (араб. эфиоп. *uain*, др.-евр. *uayin*, ассир. *inu*) заимствовано из догреческого индоевропейского языка, вероятно, из языка пеласго-филистимлян, как это явствует из перехода $oi > ai$ (пел. **uainu-* или **uaina-*)³. Известно, что одним из важных экспортных товаров крито-микенских торговцев было вино.

$\acute{\alpha}\mu\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ (жен. род) «виноградная лоза» восходит к * $\acute{\alpha}\mu[φ\iota]$ - $\pi\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ и означает буквально «растение, которое вьется вокруг чего-нибудь»; ср. гом. $\acute{\alpha}\mu\phi\iota\cdot\pi\epsilon\lambda\omicron\mu\alpha\iota$ «вращаться около чего»; ср. гаптологию в гом. $\acute{\alpha}\mu\phi\iota\phi\omicron\rho\epsilon\upsilon\varsigma >$ аттич. $\acute{\iota}\mu\phi\omicron\rho\epsilon\upsilon\varsigma$, лак. $\acute{\alpha}\mu\pi\alpha\iota\varsigma$ от * $\acute{\alpha}\mu\phi\iota\cdot\pi\alpha\iota\varsigma$ и т. д.⁴. Относительно типа образования ср. $\acute{\alpha}\nu\alpha\cdot\delta\epsilon\nu\delta\rho\acute{\alpha}\varsigma$ «виноградная лоза, вьющаяся по соседнему дереву».

Следовательно, в греческом языке мы находим несколько слов для обозначения виноградной лозы, выражающих различные ее виды или же представляющих диалектные различия: $\acute{\alpha}\mu\epsilon\lambda\omicron\varsigma$, $\acute{\alpha}\nu\alpha\delta\epsilon\nu\delta\rho\acute{\alpha}\varsigma$, $\epsilon\iota\lambda\epsilon\beta\acute{\omicron}\varsigma$, $\epsilon\lambda\upsilon\sigma\tau\alpha$, $\omicron\iota\nu\eta$, $\upsilon\beta\gamma\nu$, $\upsilon\delta\omicron\nu$ (= F-), * $\beta\iota\delta\varsigma$. Образование всех этих слов, как и происхождение их значений, совершенно ясно с точки зрения сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков.

$\epsilon\lambda\alpha\iota\omicron\nu$ «масло, жир». На происхождение древнегреческих слов $\epsilon\lambda\alpha\iota\omicron\nu$ «масло, жир» и $\epsilon\lambda\alpha\iota\acute{\alpha}$ «маслина», аттич. $\epsilon\lambda\alpha\iota\omicron\nu$ и $\epsilon\lambda\alpha\iota\acute{\alpha}$ указывают славянское слово *масл-ина*, которое является производным от существительного *масло*, и арабское *zaitūna* «маслина» (> исп. *aceituna*), производное от араб. *zait* «масло» (> исп. *aceite*); ср. также др.-англ. *elegeber*, др.-н.-нем. *oliberi* (буквально: «oilberry»). Исход характерное для плода маслины то, что он содержит масло (жир). Следовательно, $\epsilon\cdot\lambda\alpha\iota\omicron\nu$ «масло, жир» с протетической гласной ϵ перед λ — явление, характерное для греческого языка, — родственно со славянским словом *лои* и литовским *lajus* «жир», которые восходят к и.-е. **loi-u-s*, основе на -u⁵. Наличие ai вместо oi указывает на то, что $\epsilon\cdot\lambda\alpha\iota\omicron\nu$ заимствовано из догреческого индоевропейского («пеласгского») языка, где δ и $\delta\iota$ переходят в α и $\alpha\iota$. Пеласг.-греч. $\epsilon\cdot\lambda\alpha\iota\omicron\nu$ от и.-е. **loi-u-o-m* находится в том отношении к слав. *лои*, лит. *lajus* < и.-е. **loi-u-s*, как греч. $\pi\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\kappa\kappa\omicron\nu$ (ж < xF) к $\pi\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\kappa\kappa\omicron\varsigma$, $\lambda\acute{\alpha}\chi\kappa\omicron\varsigma$ (ж < xF) к лат. *lucus*, греч. $\iota\acute{\omicron}\varsigma <$ **isqo-s* к др.-инд. *iṣu-* и т. п. ($-u-o$ < $-u$).

$\kappa\upsilon\pi\acute{\alpha}\rho\iota\sigma\sigma\omicron\varsigma$ (жен. род) «кипарис» также индоевропейского происхождения. Дерево названо так из-за своего аромата: $\epsilon\upsilon\phi\omicron\delta\eta\varsigma$ «благоуханный» — это эпитет кипариса в Одиссее (V 64). Название это родственно с именем душистого растения дор. $\kappa\upsilon\pi\alpha\iota\rho\omicron\varsigma$, гом. $\kappa\upsilon\pi\epsilon\rho\omicron\varsigma$, ион. $\kappa\upsilon\pi\epsilon\rho\omicron\varsigma$, аттич. $\kappa\upsilon\pi\alpha\iota\rho\omicron\nu$ «душистое растение, iuncus odoratus». Эти названия восходят к и.-е. **kup-ero-* или **kup-er-jo-*, **kup-er-jo-* и родственны с лит. *kvāpas* (муж. род) «запах, благоухание» < и.-е. **kwēr-*, др.-болг. *копръ* «укроп» (душистое растение) < и.-е. **k(w)ēr-ro-s* или **kup-ro-s*, лит. *kuoerpiū* «благоухать», греч. $\kappa\acute{\alpha}\pi\omicron\varsigma$. $\phi\upsilon\lambda\gamma\cdot\pi\tau\epsilon\mu\alpha$ (Гесихий) и т. д. Наличие форм $\kappa\upsilon\phi\alpha\rho\iota\sigma\sigma\omicron\varsigma$ (надпись из Эгины V в. до н. э.), $\kappa\upsilon\phi\alpha\rho\iota\sigma\sigma\iota\alpha$ (эпитет Артемиды, надпись из Агротеры), $\kappa\upsilon\phi\alpha\rho\iota\sigma\sigma\omicron\cdot\iota\tau\alpha\varsigma$ (эпитет Пана, надпись из Лато на о. Крит) указывает на то, что $\kappa\upsilon\pi\acute{\alpha}\rho\iota\sigma\sigma\omicron\varsigma$ — грецизированная форма догреческого индоевропейского («пеласгского») слова $\kappa\upsilon\phi\alpha\rho\iota\sigma\sigma\omicron\varsigma$, в котором и.-е. p закономерно перешло в ph (передвижение согласного). Пеласг.-греч. $\kappa\upsilon\phi\alpha\rho\iota\sigma\sigma\omicron\varsigma$ восходит, по всей вероятности, к * $\kappa\upsilon\phi\alpha\rho\cdot\iota\cdot\phi\epsilon\upsilon\tau\eta\iota\alpha$, * $\kappa\upsilon\phi\alpha\rho\cdot\iota\sigma\omicron\varsigma$ или * $\kappa\upsilon\phi\alpha\rho\cdot\iota\tau\omicron\varsigma$.

$\delta\upsilon\omicron\varsigma$ (муж. и жен. род) «осел, ослица». На происхождение слова $\delta\upsilon\omicron\varsigma$ указывают новогреческие слова $\gamma\omicron\mu\acute{\alpha}\rho\iota$ «осел» и $\phi\omicron\rho\tau\eta\iota$ «осел», которые являются производными от слов, означающих «груз»: новогреч. $\gamma\acute{\iota}\mu\omicron\varsigma$ и $\phi\omicron\rho\acute{\iota}\omicron\nu$; ср. также итал. *somaro*

¹ Умбрское, вольское и фалиское *uini*, вероятно, заимствовано из латинского (или этрусского).

² Ср. G. Deeters, «Indogerm. Forschungen», Bd. LVI, 1938, стр. 139 и сл.

³ Или из пер. «хет.» $\mu\alpha(i)\alpha\alpha$ «вино»=*uaina* < и.-е. **uoino-*.

⁴ Ср. E. Schwyzer, Griechische Grammatik, Lief. 1, München, 1934, стр. 262 и сл.

⁵ Индоевропейское происхождение балтославянских слов несомненно; ср.: J. Pokorný, Indogerm. etym. Wörterbuch, стр. 664; E. Berneker, Slav. etym. Wörterbuch, Heidelberg, 1924, стр. 729.

«осел», франц. *sommier* < лат. *sagmārius*, производное от греч. *σάγμα* «груз». Осел — вьючное животное. Следовательно, древнегреческое слово *ὄνος* по своему происхождению тождественно с лат. *onus* «груз, бремя» и др.-инд. *ónas* «грузовая повозка». Различие состоит лишь в том, что *ὄνος* мужского и женского рода, а лат. *onus* и др.-инд. *anas* среднего рода. Это различие легко объяснимо: изменение рода произошло в истории греческого языка под влиянием имен других животных, как *ὄ* и *ῥ* ἵππος «жеребец» и «кобыла», *ὄ* и *ῥ* βούς «бык» и «корова», *ὄ* и *ῥ* σὺς «боров» и «свинья», *ὄ* и *ῥ* χοῖρος «поросенок», *ὄ* и *ῥ* ἐλαφός «олень (самец и самка)» и др. Эта этимология уже давно известна; недавно ее снова подробно изложил и защитил А. Грегуар¹. Она очевидна: нет никакого основания сомневаться в ней. Только очень долго господствовавшая теория о неиндоевропейском характере догреческого языка мешала языковедам до сих пор воспринять ее. Греческое *ὄνος* не является родственным с лат. *asinus*, но и последнее также индоевропейского происхождения. Известно, что ослы — это «группа видов непаринокопытных животных из рода лошадей (*Equus*). Близки к собственно лошадям...» (БСЭ², т. 31, стр. 289). Именно поэтому название осли или лошака часто связано со словом, означающим «лошадь»; ср. русск. *лошак*, производное от *лошадь*, лат. *burricus* «маленькая лошадь», исп. *burro*, итал. *brico* «осел, лошак, старая лошадь», франц. *sommier*, др.-англ. *sēamere*, др.-в.-нем. *saumari* «вьючная лошадь, лошак», итал. *somaro* «осел», др.-инд. *asva-tara* «лошак», производное от *asva* «лошадь» (суффикс *-lara-* означает «something different», «not quite», «kind of», «sort of horse»; ср. лат. *māter-tera* «тетка по матери», «a kind of mother»)³. Х. Педерсен уже давно указал на то, что арм. *էժ*, род. падеж *իջօյ* «осел», коллективное *իջանկ* восходит к и.-е. **ek'wo-s* «лошадь»⁴. Следовательно, лат. *asinus* восходит к **asu-(i)na-s* < и.-е. **ek'yo-ino-s*, производному от **ek'no-s* «лошадь». Оно заимствовано из иранского через этрусский или греческий. Ср. тип образования др.-инд. *Asv-in-au*. Догреческого индоевропейского («пеласгского») происхождения также греческое слово *ἵππος* «лошак (от жеребца и ослицы)» от **esq-(i)na-s*, которое было заимствовано и в латинском языке как *hinnus*.

Этимология рассматриваемых слов вполне ясна. Но даже если были бы какие-нибудь сомнения относительно этих этимологий, все-таки никто не в праве утверждать априорно, как это делает П. Тиме, что упомянутые слова неиндоевропейского происхождения, так как никто до сих пор не доказал их происхождения из какого-нибудь неиндоевропейского языка. Вообще сокровенное желание некоторых ученых искать прародину индоевропейцев в Северной Германии весьма часто являлось серьезной помехой для правильного объяснения ряда вопросов в области индоевропейского языкознания.

Виноградная лоза и осел встречаются по всему Балканскому полуострову⁴. Виноградная лоза растет по всей равнине Дуная, маслина — в южной части Балканского полуострова, на юг от линии Странджа — Родопы — Албания, включая Адриатическое побережье; кипарис растет южнее Балкан. Тот факт, что греки имеют свои собственные старинные слова для обозначения виноградной лозы и осли, а слово, обозначающее маслину (а вероятно, и кипарис), заимствовано из догреческого индоевропейского языка (пеласгского), указывает на то, что греки обитали в северо-западной части Балканского полуострова и в некоторых смежных областях. Можно допустить, что они восприняли название горы *Αἴμος* в ее более старинной форме фрак. **S(haimas)*. Это соображение ведет к заключению, что прародина греков в северо-западной части Балканского полуострова простиралась до Балкан. Отсюда греки начали проникать в Эгейскую область, по всей вероятности, к концу III тысячелетия.

¹ H. Grégoire, «Byzantion», t. XIII (1938), fasc. 1, стр. 288 и сл.

² Cp. C. D. Buck, A Dictionary of selected synonyms in the principal indo-european languages, Chicago, [1949], стр. 173.

³ См. H. Pedersen, «Zeitschrift für vergl. Sprachforschung»: Bd. XXXVIII, 1902, стр. 197 и 205; Bd. XXXIX, 1906, стр. 404.

⁴ Ослы ранее обитали во всей Юго-Восточной Европе, но позже были частично истреблены человеком. На основании археологических данных установлено, что дикий осел жил в пределах нынешней Болгарии еще во время палеолита (см. «История на България», т. I, София, 1954, стр. 11).

Итак, не существует никаких серьезных оснований для утверждения, что Балканский полуостров в древности был заселен неиндоевропейцами. Некоторые географические названия Балканского полуострова часто бездоказательно провозглашались доиндоевропейскими¹. В сущности, однако, нет никаких серьезных данных, которые позволяют считать, что эта область некогда была населена племенами, говорящими на языках, родственных кавказским или древним пиренейским. Никто до сих пор не смог привести убедительных доказательств в пользу родства древней топонимики Балканского полуострова с топонимикой Кавказа или Пиренейского полуострова. Отдельные случаи омонимии, как, например, часто выдвигаемое сравнение *Ἐβρος* — река во Фракии (название засвидетельствовано с V в. до н. э. у Геродота, Еврипида и пр.), и *Ἐβρο*, др.-греч. *Ἰβηρ* — река на Пиренейском полуострове, ничего не доказывают. Тот, кто сопоставляет *Ἐβρος* с *Ἰβηρ*, игнорирует следующие факты. Древнее название фракийской реки сохранено в современном болгарском языке как *Ибър* (< др.-болг. **Ибръ*) — название самого верхнего течения той же реки, точнее — одного из трех потоков, которые, соединяясь, образуют р. *Ἐβρος* (нынешняя Марица). Название *Ибър* идентично с наименованием р. *Ибар* (< др.-серб. **Ибръ*) — притока Западной Моравы в Югославии, как и с наименованием р. *Ибр* (< др.-русс. **Ибръ*) — левого притока р. Тетерева, правого притока Днепра, на запад от Киева. Независимо от того, что эти названия имеют индоевропейскую этимологию², наличие того же слова в Северной Украине исключает возможность родства слов *Ἐβρος* и *Ἰβηρ*, так как в упомянутой области не засвидетельствован ни пиренейский, ни кавказский субстрат. Украинская река *Ибр* течет в области распространения древней трипольской культуры, которую, по мнению многих ученых, можно считать фракийской³. Другие две реки *Ἐβρος* — *Ибър* и *Ибар* текут в древних фракийских областях. Следовательно, названия упомянутых трех рек, повидимому, фракийского происхождения.

В своей недавно опубликованной книге «*Sprache und Vorzeit*» выдающийся немецкий языковед Х. Крае пишет: «...надо сказать, что Георгиеву удалось объяснить часть эгейского языкового запаса (*Sprachguts*) как индоевр.-пеласгский, однако происхождение другой большей части и теперь еще остается неясным и продолжает существовать подозрение о ее неиндоевропейском происхождении»⁴. Это высказывание — значительный шаг вперед для недавнего сторонника той точки зрения, что все догреческое — несомненно неиндоевропейское. Впрочем в другом месте своей книги Крае отмечает, что гидронимика Балканского полуострова отличается от того, что он называет «древнеевропейской гидронимикой»⁵; это приводится как доказательство неиндоевропейского происхождения названий рек на Балканском полуострове. Ошибка автора заключается в том, что он реконструировал свою «древнеевропейскую» гидронимику на основании средневропейских названий рек и вод, и то главным образом на основании германского и кельтского языков, а также и предполагаемого иллирийского языка. Однако различия в лексике индоевропейских языков восходят к гораздо более отдаленной эпохе. Балканская гидронимика ближе к восточноевропейской, которую в значительной

¹ См. В. Георгиев, ВЯ, 1954, № 4, стр. 71 и сл.

² Ср. J. Rozwadowski, указ. соч., стр. 85 и сл.

³ Ср., например, А. Я. Брюсов, указ. соч., стр. 228 и сл., 240 и сл., 254.

⁴ Н. К г а н е, *Sprache und Vorzeit*, стр. 159.

⁵ Там же, стр. 59.

степени игнорирует Крае. На самом деле древняя гидронимика Балканского полуострова индоевропейская: она состоит из пяти основных языковых пластов, часто переплетающихся один с другим: пеласский, фракийский, греческий, македонский и иллирийский¹.

До последнего времени почти все считали, что надписи на крито-микенских плитках (хотя текст их и был непонятен) сделаны на каком-то неиндоевропейском языке². Расшифровка надписей линейного письма В показала, что такие априорные утверждения ошибочны. Никто не вправе теперь утверждать, что еще не расшифрованный текст диска из Феста якобы был написан на неиндоевропейском языке³. Неправилен также широко распространенный взгляд, будто крито-микенское силлабическое письмо якобы не могло возникнуть на основе греческого или вообще какого-либо индоевропейского языка⁴.

Известно, что при смешении двух довольно различных языков происходят большие изменения в облике языка-победителя. Влияние субстрата тем значительнее, чем выше культура народа, языком которого он является, по сравнению с культурой народа-победителя. Хорошим примером таких изменений служит для нас хеттский язык, содержащий значительный неиндоевропейский субстрат. Коренным образом от него отличается в этом отношении греческий язык, хорошо сохранивший свой индоевропейский характер несмотря на то, что греки нашли в Эгейской области население с довольно высокой культурой, безусловно превышавшей культуру вторгшихся племен. Это является подтверждением того, что догреческое население говорило на каком-то индоевропейском языке, весьма сходном с греческим.

Заключение

Несомненно, что в нашей работе есть ряд гипотетических положений. Вообще при трактовке проблем такого характера гипотезы неизбежны. Вопрос состоит лишь в том, которую из них следует считать наиболее правдоподобной при нынешнем состоянии науки о языке.

На основании наших лингвистических исследований крупный советский ученый П. Н. Третьяков, принимая во внимание археологические и этнографические данные, приходит к выводу что прародину индоевропейцев следует искать в «балкано-дунайской» области⁵. Он подчеркивает, что племена, которым принадлежит высокая в свое время скотоводческо-земледельческая культура IV и III тысячелетий до н. э. в балкано-дунайской области, были индоевропейскими. Эту установку подтверждают все достоверные данные языковедения, археологии и этнографии.

На основании археологических данных советский археолог А. Я. Брюсов с полным правом заключает, что к III тысячелетию до н. э. на европейской территории СССР сложились уже те этнические единства, с которыми имеет дело позднейшая история, т. е. финские языки на севере (урало-камская и окско-верхневолжская культуры), славянские по Днепру, Висле и западнее (белорусская и южнобалтийская культуры), фракийские

¹ См. об. этом: V. Georgiev, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, стр. 163 и сл.; Д. Дечев, *Характеристика на тракийския език*.

² См., например, O. Hoffmann — A. Debrunner, *Geschichte der griechischen Sprache*, 3-e Aufl., Berlin, 1953, стр. 5, где указано, что крито-микенские надписи линейного письма «принадлежат несомненно (sicher) догреческому населению».

³ Априорная концепция о неиндоевропейском характере этого текста довольно широко распространена; ср., например, H. Krahe, *Sprache und Vorzeit*, стр. 151, 159 и сл.

⁴ См.: В. Георгиев, ВЯ, 1952, № 6; его же, *Нынешнее состояние толкования крито-микенских надписей*, София, 1954, стр. 51 и сл.

⁵ См. П. Н. Третьяков, ВИ, 1953, № 11, стр. 74 и сл.

на юго-западе (трипольская культура, входящая в число культур расписной керамики, распространенных в Придунавье и значительной части Балканского полуострова) и скифские в черноземной степной полосе к востоку от Днестра («степные» культуры: катакомбная, полтавкинская и северокавказская)¹. Лингвистические данные подкрепляют это заключение.

История славянских или романских языков показывает, что для того чтобы могли быть установлены нынешние различия языков сравнительно столь близких, какими являются их нынешние представители, было необходимо развитие приблизительно в 15—20 веков. В середине II тысячелетия до н. э. хеттский, греческий и иранский представляли вполне обособленные индоевропейские языки, не более близкие между собой, чем нынешние славянские или романские языки. Принимая во внимание то, что в первобытно-общинном строе изменения всякого рода совершались гораздо медленнее, чем в дальнейшем, можно заключить, что обособление индоевропейских языков (индо-иранского, хеттского, греческого и т. д.), иными словами «распадение» индоевропейского языка — основы началось за несколько тысячелетий до конца неолита.

Во время раннего неолита индоевропейские племена обитали в Центральной и Восточной Европе от Рейна и Альп до Дона (и нижнего течения Волги). На севере границей служили Северное море, Балтийское море и Западная Двина. На юге в пределы этой области входил бассейн Дуная и Балканский полуостров.

Во второй половине неолита (к IV—III тысячелетию до н. э.) индоевропейские языки распределялись в вышеуказанных границах приблизительно следующим образом (см. карту на стр. 64).

В первой половине неолита уже были оформлены три главные группы языков:

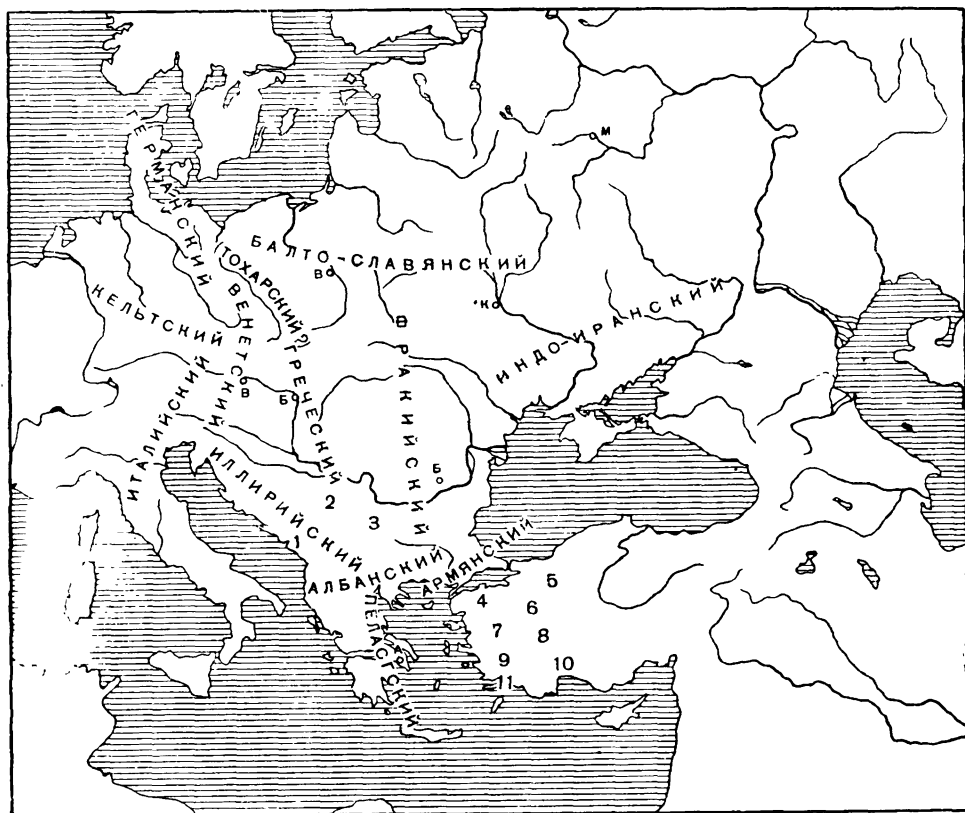
А. Северно-индоевропейская, или балто-славяно-германская группа. Характерная изоморфема этой группы — падежное окончание, содержащее звук *m*.

Уже в прошлом некоторые языковеды (Цейсс, Гримм, Шлейхер и др.) обратили внимание на особую близость между балто-славянскими и германскими языками. Автор этих строк попытался объяснить ее в общих чертах в 1932 г. Позднее ее более подробно исследовали Е. Георгиев и Т. Лер-Сплавинский². В то время как в балто-славянских и германских языках существует ряд характерных общих морфологических, словообразовательных и лексических явлений³ (например, падежное окончание слав. *-mъ* = лит. *-ms* = герм. *-m*), между славянскими и иранскими языками значительно меньше общих элементов. Важнейшими здесь оказываются сходные явления в изменениях так называемых палатальных и лабиовелярных звуков, что, однако, можно рассматривать как изофонемное развитие в родственных и соседних индоевропейских диалектах. Вообще самые обыкновенные фонетические изменения, которые встречаются часто в разнообразнейших языках, не могут служить достоверным доказательством родства языков, потому что они могут происходить в отдельных языках вполне независимо. Одно из таких самых обыкновенных фонетических изменений представляет ассимиляция велярных (так называемых

¹ Ср. А. Я. Брюсов, указ. соч., стр. 254.

² См.: В. Георгиев, Индоевропейские гутуралы, София, 1932, стр. 69 и сл.; Е. Георгиев, Балтославянско-германского языкового родство, «Известия на семинара по славянска филология», кн. VIII и IX за 1941—1943 год, София, 1948; Т. Lehr-Splawinski, O pochodzeniu i praojczyźnie słowian, стр. 32 и сл., 42 и сл.; его же, ВЯ, 1955, № 1, стр. 160.

³ См. об этом Е. Георгиев, указ. соч., стр. 19 и сл.



Индоевропейские языки к IV—III тысячелетию до н. э.

1 — мессапский, 2 — манедочский, 3 — фригийский, 4 — этрусский, 5 — палайский, 6 — хеттский, 7 — лидийский, 8 — лувийский, 9 — карийский, 10 — иероглифический «хеттский», 11 — линийский.

палатальных) и делабиализация или лабиализация лабиовеларных; ср. лат. *kʷ* > франц. *k*, лат. *k* > франц. *s*, так же как и в славянских языках.

На основании исследований родственных отношений между индоевропейскими языками В. Порциг заключает: «Общие новообразования германского, балтийского и славянского свидетельствуют о продолжительном их соседстве начиная с праиндоевропейского времени... вплоть до ранней эпохи железа...» и далее: «Древнее соседство между германской, балтийской и славянской языковыми областями и языковое взаимодействие между ними установлено, несмотря на столь часто высказываемое сомнение Гирга. Германский имеет более близкое отношение к балтийскому и славянскому, чем к какому-либо другому языку вне западной группы. Только к латинскому он стоит, повидимому, ближе. Он отличается, следовательно, от других языков, принадлежащих к западной группе, которые все имеют лишь ничтожные связи с восточными языками»¹. Утверждение его о более тесном родстве германского с латинским, чем с балто-славянским, неубедительно. Автор правильно заметил факты близкого родства балто-славянских и германских языков. Однако теория деления индоевропейских языков на группы *centum* и *satem* помешала ему правильно определить родственные отношения северно-индоевропейских языков.

¹ W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, Heidelberg, 1954, стр. 143 и 147.

Разумеется, мы не отрицаем, что славянские языки имеют много общих элементов с иранскими. Однако общие явления в балто-славянских и германских языках количественно и по своей значительности превышают данные о связи славянских языков с иранскими. Господствовавшая долгое время ошибочная концепция о делении индоевропейских языков на две группы, так называемые языки *centum* и *satəm*, мешала правильному пониманию родственных отношений индоевропейских языков¹. С другой стороны, германский имеет некоторые общие черты с кельтским, итальянским и венетским.

Где-то по соседству с балто-славяно-германской группой жили предшественники «тохарцев» — вывод, который основывается на некоторых общих лексических явлениях, главным образом на соответствии кучайского слова *lakši* «рыба», русск. *лосось*, лит. *lāšis* и нем. *Lachs*². Это словарное соответствие особенно важно, так как лосось встречается в реках, впадающих в северные моря (а не в Черное или Средиземное). Следовательно, предки «тохарцев» (кучаев) должны были обитать в области, в которой встречается эта рыба. Переселившись позднее далеко на восток, они сохранили слово, но с измененным значением³.

Б. Ц е н т р а л ь н о - и н д о е в р о п е й с к а я г р у п п а с о с т о и т из двух подгрупп: западной и центральной (в узком смысле слова).

1. К западной подгруппе принадлежат кельтский, итальянский (латино-фалиский и оскско-умбрский), венетский.

Концепция о более тесном итало-кельтском родстве довольно распространена⁴. По всей вероятности, кельтский язык был уже обособлен в III тысячелетии до н. э. «Культура курганов» II тысячелетия, распространенная в Центральной Европе (Южной Чехословакии, Австрии, Баварии и др.), принадлежит кельтам.

На основании новейших исследований венетского языка можно принять, что он близко родствен с итальянскими языками, с другой же стороны, с кельтским, а также и с иллирийским⁵. Вообще кельтский, итальянский и венетский составляют особую подгруппу среди центрально-индоевропейских языков, которая характеризуется изоморфемой — окончанием родительного падежа единственного числа *-i*. Она даже может быть обособлена как западноиндоевропейская группа. Скучный материал об иллирийском языке не дает возможности окончательно решить вопрос о его языковом характере: более ли он близок к фракийскому (Н. Йокль, П. Кречмер, А. Майер) или же к венетскому (Х. Крае)? Все-таки Крае неправильно приписывает иллирийскому ряд элементов, принадлежащих венетскому или другим индоевропейским языкам. Предположение о наличии иллирийцев на севере от Балканского полуострова, даже вплоть до Балтийского моря (Р. Мух, Г. Коссинна, М. Фасмер,

¹ См.: V. G e o r g i e v, «Zeitschrift für vergl. Sprachforschung», Bd. LXIV, 1937, стр. 104 и сл.; М. М. Г у х м а н, примечания к кн. Э. П р о к о ш «Сравнительная грамматика германских языков» (М., 1954, стр. 335 и сл.).

² Относительно общих элементов в тохарском и северно-индоевропейской группе см. W. P o r z i g, указ. соч., стр. 182 и сл.

³ В. В. И в а н о в (см. «Индоевропейские корни в клинописном хеттском языке и особенности их структуры. Автореф. канд. дисс.», М., 1955, стр. 15) приводит некоторые данные о более тесном родстве хетто-лувийских языков с «тохарскими». Скучный материал еще не дает нам возможности окончательно определить положение «тохарского» языка среди других индоевропейских языков.

⁴ Ср. A. M e i l l e t, Esquisse d'une histoire de la langue latine, 2-e éd., Paris, 1931, стр. 16 и сл.

⁵ Ср.: P. K r e t s c h m e r, «Glotta», Bd. XXX, 1943, стр. 134 и сл.; Н. М. Т р о н с к и й, Очерки из истории латинского языка, М. — Л., 1953, стр. 56; Н. К р а е, Sprache und Vorzeit, стр. 121; W. P o r z i g, указ. соч., стр. 95.

Ю. Покорный, Х. Крае), неправдоподобно¹. Можно принять, что иллирийский является переходным между венетским и фракийским языками.

2. К центральной подгруппе принадлежат греческий, фракийский и индо-иранский. Близость упомянутых языков в известной мере затушевывается вследствие исчезновения фракийского, бывшего звеном между греческим и индо-иранским, а также некоторых переходных диалектов между греческим и фракийским. Известны многочисленные общие элементы в морфологии и лексике греческого и древнеиндийского. Именно они и благоприятствовали быстрому развитию сравнительного индоевропейского языкознания в его зачатках². Большей частью это общее состоит в сохранении старых черт, которые в других языках исчезли полностью или частично. Есть, однако, и общие образования нового порядка в греческом и индо-иранском. Вот некоторые из более характерных общих для обоих языков явлений: переход и.-е. $\eta > a$; суффикс сравнительной степени греч.-*τερος* = др.-инд.-*taras*; глагольное окончание греч.-*-ται* = др.-инд.-*-te*; по своему словообразованию и значению греческие слова *ἔχρσ-φιν*, *χόλος*, *πελιτνός*, *ἔτος*, *ἡδονή*, *ἔπος*, *καίνος*, *ἐλός*, *χίλιοι*, *Κέρβερος*, *ἀρείη*, *πέλεκυς*, *Πάν* соответствуют в точности др.-инд. *vāhas-* (ср. род), авест. *zāra-*, др.-инд. *palitā-*, *palikñi*, *vatsa-*, *svādana-m*, *vacas-*, *kanyā*, *sāras-*, *sa-hāsa-*, *karbarā-*, *irasyā*, *paraśū-*, *Pūśān-*.

Однако индо-иранский обособился уже в очень раннюю эпоху, что видно, например, из отсутствия в индо-иранских языках терминов земледелия, свойственных индоевропейским языкам Европы. О македонском языке по скудным материалам, которыми мы располагаем, можно предположить, что он был переходным между греческим, фригийским, фракийским и иллирийским языками. Фригийский можно считать переходным диалектом между фракийским (армянским) и греческим языками. Фракийский язык, на котором говорили в весьма обширной области, занимал центральное место между северной и южной группами; он имеет общие черты как с балто-славянским и индо-иранским, так и с пеласгским и ликийским языками. Ближе всего к последним был армянский язык, который можно считать особым фракийским диалектом.

В. Южноиндоевропейская группа состоит из пеласгского (или «догреческого»), ликийского, иероглифического «хеттского», этрусского, лидийского (карийского), лувийского и хеттского³. Характерно для этой группы передвижение согласных (*Lautverschiebung*), переход *ǵ* в *ā*, сохранение ларингального (или ларингальных) звука, как и ряд морфологических особенностей. Южноиндоевропейские языки можно распределить в две подгруппы: пеласгско-лийскую и хетто-лувийскую. Однако скудные данные о большинстве из упомянутых языков не дают достаточно точек опоры для их более четкого разграничения.

Племена южноиндоевропейской группы занимали южную (и юго-восточную) часть Балканского полуострова, а также и Западную Малую Азию, по крайней мере уже в эпоху неолита. В некоторых наиболее старинных географических названиях в восточной части Балканского полуострова,

¹ Ср. P. Kretschmer, «Glotta», Bd. XXX, 1943, стр. 99 и сл.

² Об этом см. W. Porzig, указ. соч., стр. 158 и сл. См. и H. Krahe, *Sprache und Vorzeit*, стр. 144.

³ Относительно этих языков см. В. Георгиев, ВЯ, 1954, № 4, стр. 49 и сл.; специально о «пеласгском» или «догреческом» см. также: W. Brandenstein, *Griechische Sprachwissenschaft*, I, Berlin, 1954, стр. 6, 8 и сл., 12 и сл.; H. Krahe, *Sprache und Vorzeit*, стр. 157 и сл.; W. Merlingen, *Das Vorgriechische und die sprachwissenschaftlich — vorhistorischen Grundlagen*, Wien, 1955.

как, например, в названиях рек "Ἄθρος = Янтра (<и.-е. *ētru-s), Ἀρτάχης, Ἀρτισχός (ср. греч. ἄρτω), *Timachus* (<и.-е. *tīm-āk^wā), Τραῦος (ср. иллир. *Dravus*)¹, *Ulus* = *Bum* (<и.-е. *ūdos), открывается наличие передвижения согласных. Эти слова могут быть отнесены к какому-то особому фракийскому диалекту, например, армянскому. Но можно также предположить, что до фракийцев в восточной части Балканского полуострова жило население, язык которого принадлежал к южноиндоевропейской группе. Армянский можно считать переходным диалектом между центральной и южной группами.

*

В III тысячелетии до н. э. большинство из индоевропейских языков, распространенных на довольно обширной территории, были уже обособлены в отдельные языки. Все-таки они были близко родственны между собой, приблизительно так же, как современные славянские языки.

Из рассмотренных здесь трех групп до второй четверти XX в. лучше всего была известна центральная (индийский, греческий, латинский) и только в известной степени северная (германский и балто-славянский), так как письменные памятники германских и балто-славянских языков принадлежат к гораздо более поздней эпохе. Сравнительная грамматика индоевропейских языков (так, как ее излагают, например, Бругман или Мейе), включая предположения относительно праястории индоевропейских племен и их языков, строилась главным образом на основании данных центральной индоевропейской группы и отчасти — северной. Только во второй четверти XX в. языковеды получили возможность познакомиться также с языками южной индоевропейской группы, что в значительной мере способствовало пополнению и уточнению знаний по сравнительной грамматике индоевропейских языков и их истории.

¹ Ср. M. V a s m e r, "Zeitschrift für slavische Philologie", Bd. V, 1929, стр. 363.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

К ИТОГАМ ДИСКУССИИ О «ХЕТТО-ИБЕРИЙСКОМ» ЯЗЫКОВОМ
ЕДИНСТВЕ

Дискуссия о хетто-иберийском языковом единстве, проходившая на страницах журнала «Вопросы языкознания» в 1954 и 1955 гг., несомненно, имеет положительное значение как с точки зрения выяснения фактического положения вещей, так и с точки зрения уточнения методики сравнительно-исторических исследований.

В статье Е. А. Бокарева «Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков»¹, с которой началась дискуссия, было указано, что положение о существовании генетического родства между кавказскими языками и древними языками Передней Азии преждевременно и при современной изученности вопроса не может быть проверено собственно научными методами. Свое утверждение автор обосновывал тем, что, с одной стороны, языки Передней Азии еще слишком мало изучены, а с другой, тем, что сравнительно-историческое изучение кавказских языков еще не привело к созданию их сравнительно-исторической грамматики, которая только и могла бы явиться надежной базой как для дальнейшего сравнительного изучения самих кавказских языков, так и для сопоставления их с языками Передней Азии.

В. Георгиев в своей статье «Вопросы родства средиземноморских языков»², опираясь на большой фактический материал, пришел к выводу, что большинство языков, обычно причисляемых к «хетто-иберийским», за исключением протохеттского и урартского, не могут считаться родственными кавказским языкам.

И. М. Дьяконов³, рассмотрев материалы древних языков Передней Азии (шумерского, эламского, урартского, хурритского), показал, что в настоящее время нет никаких оснований говорить о них, как о генетически родственных друг другу, а тем более родственных кавказским языкам. Особо выделяет И. М. Дьяконов вопрос о протохеттском языке, который он, ссылаясь на исследования И. М. Дунаевской, считает возможным причислить к кавказским.

И. М. Дунаевская специально останавливается в своей статье⁴ на тех языках Передней Азии, которые часто причисляют к хетто-иберийским, но которые тем не менее должны быть отнесены к индоевропейским языкам (хеттский неситский, хеттский пероглифический, лувийский, ликийский, лидийский). Она считает возможным лишь родство протохеттского языка с грузинским.

С. С. Какабадзе в статье «О так называемых „хеттско-иберий-

¹ ВЯ, 1954, № 3.

² ВЯ, 1954, № 4.

³ См. его статью «О языках древней Передней Азии» (ВЯ, 1954, № 5).

⁴ См. ее статью «О характере и связях языков древней Малой Азии» (ВЯ, 1954, № 6).

ских" языках"¹ подчеркивает, что теория «хетто-иберийского» единства является чисто декларативной и не может быть обоснована фактическим материалом.

К. В. Ломтатидзе, в отличие от названных выше участников дискуссии, выступает в защиту теории «хетто-иберийского» единства. Она считает, что требование об установлении звуковых соответствий между отдельными «хетто-иберийскими» языками является в настоящее время преждевременным, так как, по ее мнению, сравнительно-историческое изучение генетически родственных языков никогда не начинается с установления звуковых соответствий. В подтверждение же своего мнения о родстве «хетто-иберийских» языков друг с другом она приводит ряд структурных аналогий между шумерским и кавказскими языками².

Ю. В. Зыцарь в статье «О родстве баскского языка с кавказскими»³ приходит к выводу, что хотя указанное родство возможно, но в настоящее время оно не может считаться доказанным.

А. С. Чикобава в статье «О двух основных вопросах изучения иберийско-кавказских языков»⁴ возражает тем участникам дискуссии, которые высказывали сомнения в возможности объединения кавказских и древних переднеазиатских языков в одну языковую семью, и специально подчеркивает актуальность изучения вопроса об их генетическом единстве.

Таковы вкратце выводы, к которым пришли отдельные участники дискуссии, проведенной на страницах журнала «Вопросы языкознания». Каковы же общие итоги обсуждения вопроса о «хетто-иберийском» языковом единстве?

Прежде всего необходимо отметить, что существование «хетто-иберийской» языковой семьи нельзя считать доказанным. Аргументы, которые до сих пор приводились в пользу генетического родства между кавказскими языками и древними языками Передней Азии, а также средиземноморскими языками (баскский, этрусский), настолько случайны и не систематизированы, что они не могут никоим образом рассеять сомнения в существовании «хетто-иберийского» языкового единства, которые высказывались в ходе дискуссии. Наличие связи между древними культурами народов Передней Азии, Средиземноморья и Кавказа далеко не достаточно для утверждения о языковом родстве, о генетическом единстве «хетто-иберийских» языков. Сторонники «хетто-иберийской» теории не только не привели в ходе дискуссии новых лингвистических данных в защиту своих положений, но даже и не попытались суммировать аргументы, которые уже приводились ранее, и отобрать те из них, которые могут считаться доказательными (см. статьи К. В. Ломтатидзе и А. С. Чикобава).

В самом деле, даже если принимать положение о «хетто-иберийском» единстве, нельзя одновременно опираться на все противоречивые утверждения, которые приводились до сих пор в пользу этого единства. Так, например, нельзя в одно и то же время принимать положения о родстве урартского языка то с лезгинскими, то с вейнахскими, то с абхазо-адыгскими, то с картвельскими, если не поставить предварительно вопрос о реальной сущности этих сближений. Урартский язык может быть родствен или только одной из этих групп, или же всем группам кавказских языков одновременно. В первом случае косвенно ставилось бы под сомнение генетическое родство самих кавказских языков, поскольку лишь

¹ ВЯ, 1955, № 4.

² См. ее статью «Некоторые вопросы иберийско-кавказского языкознания» (ВЯ, 1955, № 4).

³ ВЯ, 1955, № 5.

⁴ ВЯ, 1955, № 6.

одна из этих групп кавказских языков считается родственной урартскому, или же предполагалось бы, что урартский язык является представителем только одной из этих групп. Во втором же случае урартский язык должен рассматриваться как генетически родственный кавказскому языку-основе, и поэтому следовало бы показать, что используемые сопоставления имеют в виду как раз те общекавказские элементы, которые могут быть возведены к кавказскому языку-основе. И, наконец, если предполагается, что из языков Передней Азии не только урартский язык является родственным кавказским языкам, то, очевидно, сопоставляемые элементы урартского языка также необходимо возводить к соответствующему языку-основе. Во всяком случае нельзя не учитывать в этой связи несомненное родство урартского языка с хурритским.

То же самое надо сказать и о попытке Месароша сблизить убыхский язык с протохеттским¹, на которую ссылается А. С. Чикобава. Какой реальный смысл можно вложить в сопоставления Месароша? Если речь идет о том, что убыхский язык в отличие от других языков абхазо-адыгской группы родственен протохеттскому, тогда следует, что убыхский язык не является родственным абхазо-адыгским языкам и поэтому не должен включаться в абхазо-адыгскую языковую группу. Если же убыхский язык родственен протохеттскому вместе со всеми абхазо-адыгскими языками, то надо было бы сравнивать факты протохеттского языка только с теми фактами убыхского языка, которые, на основе последовательного сравнения абхазо-адыгских языков между собой, могут быть возведены к абхазо-адыгскому языку-основе. Но и этот метод доказательств не мог бы считаться убедительным для подтверждения тезиса о единстве «хетто-иберийских» языков в целом, так как он отрывает абхазо-адыгские языки от остальных кавказских, а протохеттский от остальных древних языков Передней Азии. Для того чтобы теория «хетто-иберийского» единства могла быть подтверждена по существу, необходимо, чтобы факты сравниваемых языков возводились к соответствующему языку-основе, т. е. приводились к «общему историческому знаменателю». Только строгое и последовательное применение сравнительно-исторического метода дало бы право утверждать, что приводимые сопоставления опираются не только на внешнее сходство отдельных языковых фактов или на совпадения, возникающие в результате заимствований и других видов языкового взаимодействия.

Следует напомнить, что на неудовлетворительность подобных сближений указывал в свое время и А. С. Чикобава: «...попытки сближения с иберийско-кавказскими языками азианических языков (Хюзинг, Борк, Тромбетти, Вайднер, Форрер, Контено и др.) пока что лишены, к сожалению, должного методического обоснования, поскольку привлекаемые к сравнению факты живых иберийско-кавказских языков берутся без учета их истории в наличной системе родственных языков»². На каких же конкретно языковых фактах основываются сейчас сторонники «хетто-иберийского» единства? В ходе дискуссии они таких фактов не указали.

Нельзя считать убедительными попытки К. В. Ломтатидзе опереться на типологические сходжения между кавказскими и переднеазиатскими языками как на довод в пользу генетического родства этих языков. К тому же структурные особенности шумерского языка, которые она использует в большинстве случаев, являются чуждыми другим переднеазиатским языкам, например хурритскому и урартскому. И. М. Дья-

¹ См. J. Mészáros, *Die Päkhy-Sprache*, Chicago, 1934.

² А. С. Чикобава, *Введение в языкознание*, ч. I, М., 1952, стр. 227.

конов в своем письме, присланном в редакцию журнала «Вопросы языкознания», пишет по этому поводу: «К. В. Ломтатидзе видит черты связи между шумерским и кавказскими в преимущественно префиксальном характере формантов, в наличии классов людей и вещей, в энклитическом характере связки „быть“ и в наличии эргативной конструкции со всеми вытекающими отсюда последствиями; но в хурритском все форманты суффиксальные, классов нет, связка не носит энклитического характера; остается только эргативная конструкция».

Попытки генетического сближения языков, основанные на структурном, типологическом сходстве, никак нельзя считать методологически правомерными. Ведь ни «языковые круги», устанавливаемые В. Шмидтом на основании комплексов определенных морфологических черт¹, ни типологические сближения между кавказскими и американскими языками, которые приводит Н. Ф. Яковлев², а вслед за ним и Т. Милевский³, никак не могут рассматриваться как доказательства при суждении о генетическом родстве языков. Об этом писал ранее и А. С. Чикобава: «...сходство может иметь место и между неродственными языками; оно может быть или материальным, но лишь случайным (заимствованные слова!), или может быть и неслучайным, типологическим, но не материальным (одинаковое в принципе строение слова, например, префиксация там, где в других языках налицо суффиксация). Сходство же родственных языков, проявляясь в основном словарном фонде и в грамматическом инвентаре, является сходством закономерным, одни и те же языковые факты (основы, аффиксы) в них представлены в дифференцированном виде»⁴.

Необходимо также отметить недооценку принципа регулярности звуковых соответствий в дискуссионных статьях А. С. Чикобава и К. В. Ломтатидзе. Отсутствие ссылки на закономерность звуковых соответствий между сравниваемыми языками лишает утверждение о наличии родства языков необходимого методического обоснования. Единичные сопоставления звуков, взятые вне системы регулярных звуковых соответствий и не подкрепленные достаточным числом примеров, ничего не доказывают. Игнорировать регулярность звуковых соответствий — значит лишить себя основных средств, необходимых для того, чтобы отличить сходство, основанное на генетическом родстве, от случайного звукового сходства и сходства, возникшего в результате различного рода взаимодействий между языками.

Нельзя согласиться и с указаниями А. С. Чикобава и К. В. Ломтатидзе на то, что в истории сравнительно-исторического языкознания звуковые соответствия устанавливаются лишь как завершение сравнительно-исторического изучения родственных языков. И. М. Дьяконов совершенно правильно указывает в уже упоминавшемся письме в редакцию, что сравнительно-историческое изучение семитских языков началось как раз с установления таких соответствий; начало сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков также связано с установлением Раском и Гриммом перебора согласных в германских языках. Но если даже признать, что индоевропейское языкознание не сразу пришло к положению о регулярности звуковых соответствий, то это не значит, что при сравнительно-историческом изучении других языковых групп

¹ См. P. W. Schmidt, *Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde*, Heidelberg, 1926.

² См. Н. Ф. Яковлев, *Древние связи языков Кавказа, Азии и Америки*, «Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая», Новая серия, т. II, М.—Л., 1947.

³ См. T. Milewski, *Comparaison des systèmes phonologiques des langues caucasiennes et américaines*, «Lingua Posnaniensis», t. V, 1955.

⁴ А. С. Чикобава, указ. соч., стр. 194.

можно игнорировать опыт индоевропейского языкознания и просто копировать методiku начальных периодов развития сравнительно-исторического метода. При сравнительно-историческом изучении кавказских языков надо учесть все достижения сравнительно-исторического языкознания и в том числе вывод о том, что наличие закономерных звуковых соответствий является непременным условием генетического сближения языков.

Ссылка на сложность звуковых соответствий в кавказских языках не меняет решения вопроса в целом, так как сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков также дает немало примеров сложных и запутанных рядов звуковых соответствий.

Таким образом, положение о генетическом родстве кавказских языков с древними языками Передней Азии и Средиземноморья не было подтверждено в процессе дискуссии лингвистическими материалами. Но можно ли вместе с тем сказать, что эта проблема вообще должна быть снята, исключена из программы научно-исследовательских работ? Конечно, нет. Наоборот, дискуссия показала, что нужна большая углубленная, методически последовательная работа по накоплению и анализу фактов, после чего только и можно будет приступить к научной проверке утверждений о генетическом родстве кавказских и переднеазиатских языков. В этом отношении критические замечания Е. А. Бокарева сформулированы противоречиво¹.

Из проведенной дискуссии можно сделать и некоторые организационные выводы. Необходимо значительно усилить изучение древних языков Передней Азии, которыми до сего времени у нас занимается лишь очень небольшое число специалистов. И если в этой области наши возможности все же очень ограничены (недостаточность материалов, трудность расшифровки и т. д.), то в области изучения живых кавказских языков они огромны. Перед кавказоведами стоит ряд больших и вполне осуществимых задач. Надо больше внимания уделить изучению тех кавказских языков, которые до сего времени остаются еще недостаточно изученными. Надо публиковать материалы (тексты, грамматики, словари) по кавказским языкам, так как наличие большого числа рукописей еще не дает возможности широкому кругу специалистов использовать их и ввести в научный обиход новые факты.

Описательное изучение отдельных кавказских языков должно сопровождаться сравнительно-историческим изучением ближайше родственных языков (составление сравнительно-исторических грамматик, этимологических словарей), которые должны постепенно охватывать более широкие группы сравниваемых языков. Необходимо составление исторических грамматик отдельных языков, которые возможны даже для бесписьменных языков на основе использования фактов диалектов и ближайше родственных языков. Проведение всей этой работы даст исследователям возможность оперировать не случайными сопоставлениями, основанными на чисто внешних созвучиях, а закономерными и методически последовательно проводимыми реконструкциями.

Само собой разумеется, что в процессе сравнения должен уточняться

¹ См. ВЯ, 1954, № 3, стр. 53. В своем письме в редакцию Е. А. Бокарев пишет по поводу статьи А. С. Чикобава: «А. С. Чикобава совершенно произвольно приписывает мне мысль, будто я требую прекращения исследований в этом направлении, в то время как я говорю лишь о том, что проверка „хетто-иберийской“ теории в настоящее время еще не подготовлена состоянием исследовательской работы». В том же письме Е. А. Бокарев замечает, что ему неверно приписывается мысль, будто понятие кавказских, а тем более дагестанских языков является для него лишь географическим понятием, не связанным с представлением о генеалогическом родстве. Ср. ВЯ, 1954, № 3, стр. 43.

и самый метод сравнения в зависимости от конкретных условий, среди которых должны быть учтены не только специфические структурные особенности сравниваемых языков, но также и такие, как фрагментарность материалов большинства переднеазиатских языков, огромные различия, существующие между ними, большой хронологический разрыв между живыми кавказскими и мертвыми переднеазиатскими языками, отсутствие памятников письменности для кавказских языков (за исключением одного грузинского, имеющего памятники письменности, восходящие к V в. нашей эры).

Проведение такой предварительной работы совершенно необходимо для того, чтобы возникла фактическая возможность научной проверки теории «хетто-иберийского» единства.

Важно также указать, что сопоставление кавказских и переднеазиатских языков дает материалы не только для решения вопроса об их возможном генетическом родстве, но не в меньшей степени и для решения вопроса об их историческом взаимодействии, которое могло иметь место и при отсутствии какого-либо генетического родства.

Редакция журнала «Вопросы языкознания», подводя итоги дискуссии, выражает уверенность, что она явится новым стимулом к дальнейшему развертыванию исследований как кавказских, так и древних переднеазиатских языков, а также и к повышению общеметодологического уровня языковедческих исследований в этой области.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА И ПОНЯТИИ

1. Вопрос о значении слова касается его познавательной стороны, о которой И. В. Сталин говорит следующее: «Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе»¹. Из этого следует, что слово, как и язык вообще, выражает высшую ступень человеческого познания — мышление. Как известно, мышление протекает в трех основных формах: это — понятие (мысль, отражающая и фиксирующая общие и существенные признаки предметов и явлений объективной действительности), суждение (мысль, в которой в форме утверждения или отрицания отражаются связи и отношения предметов и явлений действительности) и умозаключение (процесс мышления, в результате которого из одного или нескольких суждений выводится новое суждение). В области языка суждениям и умозаключениям соответствуют предложения, а понятиям — слова.

Возникает вопрос, всякое ли слово заключает в себе понятие. По этому поводу Е. М. Галкина-Федорук пишет: «В каждом слове есть значение, но не каждое слово выражает отработанное логическое понятие, как обобщение существенных сторон явления или предмета. Человек, видя что-либо противное, неприятное ему, произносит „фу!“. Является ли это „фу“ словом? Видимо, является, так как другие люди поймут, что этим „фу“ выражено отвращение. Но заключает ли это словечко логическое понятие? — Конечно, нет. Следовательно, в одних словах „понятие“ и „значение“ совпадают, в других словах этого совпадения нет, так как слова выражают не только содержание формы мышления, но и другие сферы человеческой психики: эмоцию, волю»².

Е. М. Галкина-Федорук бесспорно права в том, что некоторые слова выражают эмоцию и волю, но права ли она, утверждая, что слова, выражающие эмоцию и волю, не заключают логического понятия? Развернутое освещение этого вопроса, конечно, требует подробного анализа отношения между мышлением и двумя другими сферами человеческой психики — чувствами и волей. В данной статье мы в этой связи остановимся только на нескольких конкретных примерах.

Начнем с примера, который приводит сама Е. М. Галкина-Федорук. По ее мнению, *фу* не содержит логического понятия, хотя, будучи общепонятным, является словом. Надо иметь в виду, что общепонятность языка обусловлена тем, что он является «непосредственной действительностью мысли» и неразрывно связан с человеческим мышлением, т. е. с процессом обобщенного и опосредствованного познания действительности. Слова же общепонятны потому, что они выражают одну из форм мышления, а именно — понятия. Известное положение В. И. Ленина: «Всякое слово (речь) уже *обобщает*»³, на наш взгляд, и указывает на природу общепонятности слов. Таким образом, если слово *фу* является общепонятным, то из этого следует, что оно выражает понятие. А так как это слово, очевидно, связано и с определенной эмоцией, мы приходим к выводу, что оно выражает одновременно и понятие, и эмоцию (чувство).

Правильно ли это заключение? Да, правильно. Это вытекает из сущности чувств и их связи с мышлением. Обычно чувством, или эмоцией, называется переживание человеком своего отношения к тому, что он познает и делает⁴. Важно то, что чувства не являются психическим процессом, совершенно изолированным от познавательного процесса, а находятся с ним в тесной связи: «Источником чувств являются разнообразные объекты действительности... Чтобы пережить некоторое отношение к объекту,

¹ И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 22.

² Е. М. Галкина-Федорук, Основные вопросы языкознания в трудах В. И. Ленина, «Ин. яз. в шк.», 1951, № 1, стр. 9.

³ В. И. Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1947, стр. 256.

⁴ См., например, Б. М. Теплов, Психология, 8-е изд., М., 1954, стр. 151.

нужно так или иначе познать его. Поэтому чувства переживаются всегда в связи с теми или другими познавательными процессами: ощущениями, восприятиями, образами памяти или воображения, мыслями и т. д.»¹.

Из этого следует, что слова выражают чувства лишь в связи с тем познавательным процессом, результатом которого они регистрируют и закрепляют. Таким образом, слова, о которых мы говорим, что они выражают чувства, на самом деле выражают понятия, результаты познавательной деятельности нашего мышления, с которым связаны психические процессы, называемые чувствами. При этом между чувством и понятием существует связь двойного рода.

2. У слов *удовольствие, неудовольствие, радость, печаль, любовь, ненависть, страх* и т. п. связь между понятием и чувством заключается в том, что слова эти выражают понятия, содержанием которых является чувство. Эти понятия возникли как результат познания того, что разнообразные объекты действительности имеют свойства, вызывающие в нас определенное чувство, например то, которое выражается словом *радость*. Такие слова можно назвать эмоциональными. Их сходство со словами неэмоциональными (*лес, гора, река, перо, и т. д.*) состоит в том, что и те и другие выражают понятия, т. е. ту форму мышления, в которой отражаются общие и существенные свойства предметов и явлений действительности. Различие между эмоциональными и неэмоциональными словами заключается в том, что они выражают разные результаты обобщения свойств предметов и явлений. В словах неэмоциональных результатом обобщения является отвлеченная мысль о тех предметах и явлениях, к которым эти слова относятся («лес», «гора» и т. д.). Наоборот, в словах эмоциональных результатом обобщения является вызываемое определенными предметами, явлениями чувство («радость», «печаль» и т. п.).

Слово *фу* является эмоциональным, как и слова *радость, страх* и т. п., так как оно выражает то же самое понятие, что и слово *отражение*. Нас не должен смущать тот факт, что в данном случае это слово имеет функцию предложения. Если человек, видя что-либо противное, неприятное ему, произносит *Фу*, это означает то же самое, что *Это (мне) противно, неприятно*. Слово *фу* имеет здесь функцию предложения потому, что оно выражает суждение, но это никак не отражается на познавательной стороне слова; выраженное этим словом понятие остается понятием, хотя и приобретает функцию суждения. Известно, что в состав суждения всегда входят понятия, однако этим не исключается возможность существования суждений, выступающих в виде одного понятия. Что касается языковой области, то мы говорим в таких случаях, что слово приобретает функцию предложения, становится носителем функции предложения. Если я употреблю слово *внимание* в значении предложения, что означает «обратите внимание!», то данное слово окажется носителем функции предложения, но оно сохранит свое понятийное значение, свойственное ему в предложении *Обратил внимание на него*, где слово *внимание* является уже членом предложения, дополнением.

Нас не должно смущать и то, что слово-предложение *Фу!* может означать и «это гадость (что-то гадкое)», и «это гадко». В первом случае *фу* выступает в качестве существительного, во втором в качестве прилагательного. Это различие ни в коем случае не касается понятийного содержания нашего слова, затрагивая только его грамматическую функцию (как части речи). Слово *фу* принадлежит к междометиям, являющимся словами нефлективными, для которых характерно как раз то, что они могут иметь грамматическую функцию различных частей речи — существительного, прилагательного, наречия, а также и глагола.

Следует заметить, что понятийное значение могут иметь только такие междометия, которые являются общепонятными эмоциональными словами и принадлежат к словарному составу языка. От них нужно отличать звуковые образования, которые служат для проявления чувств, но не являются словами и, следовательно, не имеют понятийного значения. Такого рода звучания, называемые иногда также междометиями, остаются за пределами языка. Значение этих «междометий» заключается разве только в том, что они произвольно выражают наши чувства, но напомним, что слова как единицы системы языка выражают чувства не сами по себе, а всегда лишь в связи с понятием. Междометия же типа *фу* — это настоящие слова, и нельзя о них сказать, что они, хотя и имеют значение, но не выражают понятия.

3. Иначе, чем у слов эмоциональных, связь между понятием и чувством проявляется у слов типа *дедушка*. Несомненно, они также выражают понятия; в нашем примере *дедушка* выражает то же самое понятие, что и слово *дед*. Но, кроме того, подобные слова выражают и определенное чувство, которое испытывает говорящий при мысли о том, к кому или к чему эти слова относятся. Так, слово *дедушка* выражает ласковое отношение к лицу, называемому *дед*. Слова этого типа могут выражать и различные другие эмоции, например, сочувствие, нежность, восхищение, презрение, иронию и т. п.

Чувство, вызванное различными познавательными процессами, иногда называется «чувственным, или эмоциональным тоном», «эмоциональной окраской». Слова типа

¹ Там же, стр. 158.

дедушка, выражая понятия, как раз и передают, кроме того, разные эмоциональные тона, оттенки, обладают, как говорят, определенной выразительностью. Поэтому можно было бы называть их «словами эмоционального тона» или закрепить за ними пространственное название «экспрессивные слова»; однако термин «эмоциональные слова» здесь оказывается неподходящим, поскольку так называют слова типа *радость*.

Слова типа *дедушка* образуются посредством особых суффиксов; в нашем случае *дедушка* образовано от слова *дед* посредством суффикса *-чик-а*. Подобным образом образуется *голосочек* от *голос*, *водичка* от *вода*, *рифмишка* (Маяковский) от *рифма* и т. д.¹

В чешском языке, наряду с эмоционально окрашенными именами существительными и прилагательными, существуют также глаголы эмоционального тона, образованные посредством особых суффиксов. Примером может служить глагол *spínkat* «баиньки», образованный при помощи суффикса *-inkat* от глагола *spát* «спать». Употребляется он в «детской» речи с оттенком нежности, ласки.

У слов типа *дедушка* связь между эмоциональной сферой и сферой познавательной выступает совершенно ясно. Эти слова, в отличие от эмоциональных слов типа *радость*, прямо выражают, именуют тот предмет или явление, познание которого является источником эмоции. Это видно из их сравнения с нейтральными в эмоциональном отношении словами типа *дед*. Средством выражения эмоционального тона являются здесь производящие суффиксы. Можно сказать, что слова типа *дедушка* представляют собой суффиксальные образования эмоционального тона к соответствующим неэмоциональным словам.

Встречаются и непроемные слова с эмоциональной окраской: *башка*, *разиня*, *жрать*, *дрыгнуть*, *переться* и т. п. В чешском языке это, например, слово *chrnět* «дрыгнуть», которое означает то же, что *spát*, но с оттенком неодобрения, недовольства. Можно сказать, что слова типа *chrnět* являются экспрессивными синонимами к соответствующим неэмоциональным словам типа *спать*.

Естественно, что каждое слово в определенных условиях может приобрести определенный эмоциональный оттенок. Но языковед в первую очередь интересуют, конечно, такие слова, у которых эмоциональный тон проявляется или всегда, или часто, т. е. такие, которые образуют лексическую, или грамматическую, или же лексико-грамматическую категорию. На слова факультативно-экспрессивные обращает внимание стилистика типа *дед*. Средством отдельных языковых высказываний. Языковед изучает также и слова, у которых наблюдается потеря эмоционального тона или превращение неэмоционального значения в экспрессивное.

4. У слов, выражающих волю, связь воли с мышлением проявляется подобным же двойным образом, как и у слов, выражающих чувство. Слова типа *желание*, *влечение*, *воля*, *нужно*, *хотеть* и т. п. выражают понятия, содержанием которых является волевой процесс; их можно было бы называть волевыми словами. Наряду с ними существуют императивные глагольные формы типа *бери*, четко выражающие понятие действия («брать»), в котором проявляется или к которому относится волевой процесс. Такие слова можно назвать словами волевого тона.

5. Мы пришли к заключению, что каждое слово выражает понятие и что не существует слов, которые имели бы только значение, но не выражали бы понятия. Это относится, конечно, к настоящим словам, которые входят в словарный состав языка, а не к мнимым, остающимся за его пределами².

Положение о непосредственной связи языка с мышлением ни в коем случае не означает невозможности для языка выражать словами чувства и волю, так как слова выражают чувства и волю лишь в связи с понятием, причем понятийное содержание является здесь основным, ведущим элементом.

Фр. Травничек

О ПРИМЕНЕНИИ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА В СИНТАКСИСЕ

Даже при самом внешнем знакомстве с современным состоянием и предшествующим развитием сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков бросается в глаза, что вопросы синтаксиса разрабатывались и разрабатываются в ней

¹ См.: «Современный русский язык. Морфология», [М.], 1952, стр. 122—124 (§§ 28—30), 204—206 (§§ 34—36); «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 266—273 (§§ 439—461), стр. 363—365 (§§ 602—604).

² Имеются случаи, когда слово теряет свое собственное понятийное значение, но при этом оно теряет и характер самостоятельного слова и становится суффиксом (*нибудь—кто-нибудь*), префиксом (*ни—никто*), или сочетается с другим словом в одно целое, обладающее новым понятийным значением (*да — да адрасствуется*), приобретая характер описательной частицы.

слабее, чем вопросы фонетики и морфологии. По мнению некоторых лингвистов, подобное положение является результатом неправильного использования сравнительно-исторического метода буржуазными учеными¹, а сами по себе приемы сравнительно-исторического исследования, применяемые в фонетике и морфологии, вполне приложимы и к синтаксису². Согласно другой точке зрения, отставание сравнительно-исторического изучения синтаксиса индоевропейских языков обусловлено самой природой сравнительно-исторического метода и представляет собой, таким образом, недостаток объективного порядка³.

Развернутое сравнение указанных точек зрения, аргументированное предпочтение одной из них и анализ на конкретном материале тех возможностей исследования, которые с ней связаны, являются, повидимому, предварительным условием, без выполнения которого нельзя приступить к преодолению теперешнего отставания сравнительно-исторического синтаксиса.

Основы методики сравнительно-исторических исследований и вопросы синтаксиса

Представляется неоспоримым, что из двух изложенных выше точек зрения вторая правильна, а первая — нет. Вся методика сравнительно-исторических исследований покоится на двух краеугольных положениях — на соответствии (или тождестве) звуков и звуковых комплексов одного языка звукам и звуковым комплексам другого, родственного языка и на немотивированном характере этих соответствий. Оба эти положения неоднократно излагались и обосновывались в нашей языковедческой литературе последних лет и вряд ли нуждаются в дополнительных разъяснениях. Именно они придают принципам сравнительно-исторического метода и его основным достижениям в области фонетики и морфологии характер очевидной истины; без них он практически перестает существовать. Между тем, как мы постараемся показать, оба эти принципа — соответствие (или тождество) языковых фактов и его немотивированный характер — утрачивают свой смысл в области синтаксиса, в связи с чем и сам метод становится не приложимым к этой сфере языка.

1. Неправомомерность применения при сравнительно-историческом изучении синтаксиса понятий «соответствие» или «тождество» (имея в виду обычные значения этих терминов) вытекает из следующих обстоятельств.

Тождество в структуре двух или нескольких синтаксических конструкций еще никак не гарантирует тождества в их значении. Между тем определенная конструкция может быть признана именно данным, а не каким-либо иным синтаксическим фактом только на основе учета ее значения. Поэтому (пока речь идет о синтаксисе) группа одинаковых форм не может рассматриваться как ряд точных соответствий, дающих надежную опору для сравнения.

На первый взгляд такие формы, как англ. *I have read*, франц. *j'ai lu*, рум. *am citit* и нем. *ich habe gelesen*, представляются тождественными. Но англ. *I have read* обозначает действие, связанное так или иначе с моментом речи; в этом плане оно противопоставляется простому претериту *I read*, указывающему на действие, целиком отнесенное в прошлое и не связанное с настоящим. Франц. *je l'ai lu* в современной разговорной речи объединяет в себе значения и perfectum praesens (англ. *I have read*), и perfectum historicum (англ. *I read*); противопоставление сложного прошедшего и формы претерита *je le lis* приобретает в этих условиях главным образом стилистическое значение и соответствие между франц. *j'ai lu* и его английским аналогом оказывается весьма приблизительным. Румынское сложное прошедшее имеет в разных областях страны разное значение, но ни одно из них не совпадает, повидимому, со значением сходных форм в английском и французском. На севере и западе Румынии оно является практически единственным прошедшим временем, принятым в разговорном языке, и тем самым значительно более широким по своей семантике, чем соответствующие формы других языков. В тех же диалектальных районах, в которых форма *am citit* противопоставляется в устной речи простому претериту *citi* (Валахия, Олтения, юго-восток Трансильвании), это противопоставление опирается уже на различия во вре-

¹ См., например, В. Г. Адмони, О некоторых закономерностях развития синтаксического строя, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», вып. V, М., 1953, стр. 33.

² «Необходимо применить к синтаксису ту самую методику исследования, которая уже привела к значительным успехам в области этимологии, фонетики и морфологии», — писал Б. Дельбрюк (B. Delbrück, Vergleichende Syntax der indogerm. Sprachen, Teil I, Strassburg, 1893, стр. 1).

³ См., например: С. Б. Бернштейн, Основные задачи, методы и принципы «Сравнительной грамматики славянских языков», ВЯ, 1954, № 2, стр. 50—53; А. И. Смирницкий, К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании, ВЯ, 1952, № 4, стр. 9, 10, 16.

менном интервале между действием и моментом речи — весьма кратком в *citi*, более длительном в *am citi*. Наконец, нем. *ich habe gelesen* сохраняет свое собственно перфектное значение, соответствующее англ. *I have read*, только в литературной речи и на севере Германии, а в южонемецких и части средненемецких говоров эта форма, включив в себя значение претерита, приблизилась к весьма широкому значению севернорум. *am citi*. Учитывая такого рода факты, вряд ли возможно признать данные структурно тождественные формы соответствующими друг другу в сравнительном плане и строить на их сравнении какие-либо выводы относительно генетически исконной конструкции и ее значения.

Тем самым становится ясной и невозможность установления в области синтаксиса таких же точных и доказательных соответствий, как в фонетике и морфологии, в связи с различиями в механизме языкового развития этих сфер. В фонетике и морфологии в каждый данный момент каждый подлежащий сравнению материальный элемент представляет собой вполне ясную и определенную величину, образовавшуюся из другой, столь же ясной, и переходящую в третью, столь же определенную. Если некоторый материальный элемент был или стал иным, то он входит в иной ряд сопоставлений, но он никогда в принципе не может быть одновременно и данным звуком, и другим, или ни тем и ни другим, а чем-то промежуточным¹. Между тем в синтаксисе мы находим как раз только такие «промежуточные» величины, ибо развитие здесь происходит путем постепенной эволюции, в ходе которой старое и новое значения сосуществуют, и определить точно, имеем ли мы дело в данный отраженный в памятнике момент со старым значением формы, предполагающим один ряд сопоставлений, или с новым, входящим в иной аналогический ряд, бывает объективно невозможно.

Насколько известно, во всех древних индоевропейских языках отмечены составные сказуемые с глагольными связками. Если применить к этому синтаксическому явлению ту методику, которая используется при сравнительно-исторических исследованиях по фонетике и морфологии, то, казалось бы, можно получить вполне надежные выводы о составном сказуемом языка-основы. В действительности, однако, положение оказывается иным. Связки в указанных сказуемых древних языков в одних случаях сильно грамматикализованы, в других — более или менее сохраняют свое лексическое значение. Установить в таких связках точное соотношение лексического и грамматического значений, определить, к чему они ближе — к глагольному сказуемому с предикативным атрибутом или к составному сказуемому, далеко не всегда возможно. А если так, то сравнение этих сказуемых в древних языках не даст возможности определить характер сказуемостных отношений в языке-основе и утратит всякую строгость, ибо в определении самой природы сравниваемых фактов оказываются неизбежными произвол и субъективность; не ясно, что в значении соответствующих глаголов еще сохранилось от старого и что уже является новым. Разбирая сказуемые этого типа, Б. Дельбрюк усматривал в их связках преобладание абстрактно-грамматического значения уже в древнейших памятниках; поэтому он и считал характерным для индоевропейского языка подлинные именные сказуемые со всецело грамматикализованными связками, вроде *быть* и т. п.² Исходя из аналогичного материала, А. А. Потёбня пришел к прямо противоположным выводам по этому вопросу. Акцентируя в древних связках полноту их лексического содержания, он считал исконной формой составного сказуемого глагольные сказуемые с предикативным атрибутом, а в «формально обособленной копуле» видел гораздо более позднее явление³. Противоречие это, как бы его ни разрешать, не может быть всецело объяснено субъективными факторами; оно порождено тем, что сравнительно-исторический метод не соответствует сравниваемому в данном случае материалу.

Сомнение в возможности делать какие-либо выводы при сравнении двух синтаксических конструкций может возникнуть также из-за неполноты в их формальном соответствии друг другу. Вот пример. Как известно, в языке Гомера будущее действие может выражаться сочетанием глагола движения с причастием будущего времени: *εἰς τὸ φερέν* (Ил. XIV, 205). В латинском языке иногда встречаются в значении будущего времени сочетания тех же глаголов движения с супином; так, у Плавта (Aul. 736, трохейский септенарий): *quam ob rem ita faceres meque meosue Perditum ires liberos*. Даже если отвлечься от того, что оба эти выражения — скорее всего, параллельные явления, сложившиеся в каждом языке самостоятельно, возникает вопрос: можно ли строить на сопоставлении самой формы этих конструкций какие-либо выводы об использовании глаголов движения с неличными формами в языковом состоянии, пред-

¹ Мы здесь отвлекаемся, разумеется, от постепенных сдвигов в артикуляции, предшествующих фонологическим изменениям; как известно, сравнительно-исторический метод учитывает только последние.

² B. Delbrück, указ. соч., Teil III, Strassburg, 1900, стр. 22.

³ См. А. А. Потёбня, Из записок по русской грамматике, 1874: т. I — Воронеж; т. II — Харьков.

шествовавшем греческому и латинскому? Сопоставимые перед нами конструкции, или нет? Сопоставимы ли они, кроме того, со сходными оборотами в новых языках? Ср. франц. *je vais l'écrire*, словацк. (диал.) *idu písat* и англ. *I am going to write it*, где с глаголом движения сочетается уже не причастие и не супин, а инфинитив. Нельзя отрицать, что все приведенные конструкции, древние и новые, очень схожи, что сопоставление их напрашивается само собой и даже может показаться весьма убедительным. В работах по сравнительной грамматике такие сравнения встречаются нередко. И в то же время нельзя отрицать и другого, что все эти соответствия приближительны и не могут гарантировать той точности, строгости и обоснованности выводов, которую обеспечивают соответствия фонем и морфологических элементов.

2. Не менее решающим, чем соответствие материальных элементов родственных языков, для сравнительно-исторических исследований является немотивированный характер этих соответствий. Анализ показывает, что этот последний принцип так же нарушается в области синтаксиса, как и предыдущий.

Совпадение в оформлении, например, 3-го лица мн. числа глаголов (ср. санскр. *s-ánt-i* «сут», греч. *δίδο-ντι* «дают», лат. *ama-nt* «любят», иоск. *baíra-nd* «несут», др.-слав. *вѣстѣ* и т.д. бесспорно свидетельствует о происхождении этого форматива из одного источника, ибо в самом значении 3-го лица мн. числа ничто не указывает на необходимость оформления его именно этими звуками, а не другими, и, следовательно, прийти к такому оформлению логическим путем, самостоятельно в каждом языке невозможно. Напротив, наличие, например, во всех древних индоевропейских языках у одной и той же причастной формы трех функций — атрибутивной, аппозитивной (*participium coniunctum*) и абсолютной не дает никаких оснований считать, что в языке-основе причастие использовалось в тех же самых функциях, так как каждая из них могла возникнуть самостоятельно в данном языке на определенном этапе его развития.

Как известно, явления этого последнего типа носят название параллельных инноваций. Они в принципе нехарактерны для морфологии и, если встречаются в ней, то в порядке исключения¹; поэтому сравнительно-исторический метод здесь дает вполне надежные результаты. В синтаксисе же, где связь явлений языка с развитием мышления носит гораздо более непосредственный и ясный характер, подавляющее большинство совпадений может быть объяснено как параллельные инновации. (Ср. совпадение в нормах употребления артиклей в ряде языков, сходное использование форм наклонения для выражения зависимости одного предложения от другого, превращение однотипных глагольных перифраз во многих языках в аналитические формы залогов или времени и т. д.) Поэтому сравнительно-исторический метод здесь неприменим.

3. Регулярные совпадения материальных элементов в родственных языках доказывают общность происхождения последних еще и потому, что совпадения такого рода не могут быть объяснены заимствованием. В фонетике и морфологии заимствование практически исключено. В лексике, правда, оно встречается часто, но в этой области мы располагаем критерием для отличения заимствованных слов и не рискуем поэтому построить какие-либо выводы генетического порядка на недоказательном материале: в заимствованных словах не будут выдержаны исторические законы фонетических соответствий между языком, из которого слово взято, и тем, в который оно вошло.

В синтаксисе заимствования в принципе допустимы. Правда, они встречаются не часто, но сама их возможность лишает сравнительно-исторические построения в этой области их обычной определенности и доказательности, ибо заимствования не могут быть здесь выявлены так же четко, как в лексике. Было бы ошибочным, например, делать какие-либо выводы генетического порядка из совпадения инверсионной формы вопросительных предложений во французском и немецком языках, ибо данная форма была заимствована первым из германских языков; наличие конструкции с так называемым вводным подлежащим в английском и французском языках ничего не добавляет к нашим сведениям об их родстве и не проливает никакого света на происхождение самой конструкции, так как скорее всего она была самостоятельно заимствована обоими этими языками из кельтских.

Из сказанного ясно, что принадлежность синтаксиса к числу так называемых «проницаемых» сфер языка тоже исключает возможность применения к нему выработанных до настоящего времени сравнительно-исторических приемов исследования. Мы видим, таким образом, что: 1) понятие соответствия (или тождества) фактов одного языка фактам другого, вне которого немислим сравнительно-исторический метод, в области синтаксиса в большинстве случаев становится расплывчатым и мало доказательным; 2) немотивированный характер соответствий в области синтаксиса также не сохраняется; 3) заимствования, исключенные в фонетике и морфологии и легко выявляемые в лексике, в синтаксисе возможны, однако природа их как заимствований да-

¹ Ср., например, мнение А. Мейе об оформлении женского рода суффиксом *-a* как о параллельной инновации (А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, перевод с франц., М.—Л., 1938, стр. 292).

леко не всегда может быть установлена. В связи со всем этим сравнительно-исторический метод в его традиционном виде не может быть непосредственно применен в области синтаксиса и во всяком случае не может претендовать в этой сфере на ту точность и достоверность выводов, которые он обеспечивает в фонетике и морфологии. Из сказанного вытекает, между прочим, одно следствие, которое важно учитывать.

Сравнительная грамматика, как мы видели выше, обладает разработанной методикой только для изучения материальных элементов как таковых. Значение их, с точки зрения этой методики, отходит, как и нормы построения предложений и словосочетаний, к той сфере языка, на которую сравнительно-исторические приемы не распространяются. Поэтому при практической работе демаркационная линия между морфологией и синтаксисом оказывается смещенной. К первой отходят факты, выявляемые традиционным сравнительно-историческим методом, т. е. формы слов, непосредственно выраженные в звуках; ко второму — не только предложения и конструкции, но и значения форм. Именно так понималось (и, как видим, с известным основанием) соотношение морфологии и синтаксиса в сравнительно-историческом языкознании в прошлом. Это объясняет, почему в данной работе анализируются не только предложения и конструкции, но и значения отдельных форм. Само собой разумеется, что такое понимание соотношения морфологии и синтаксиса возможно и целесообразно только, так сказать, «в рабочем порядке», для данного аспекта языкознания, и никак не отменяет общепринятого и со всех точек зрения оправданного взгляда на этот вопрос.

Когда будут разработаны новые, применимые к особенностям синтаксиса сравнительно-исторические приемы исследования, сказать трудно; речь идет о создании принципиально новой методики. Развитие языкознания требует, однако, чтобы уже сейчас сравнительно-историческое изучение захватило и синтаксис, без чего немислим всесторонний анализ грамматического строя отдельных языков и языковых семей. Уже и сейчас есть возможность найти какие-то, пусть не самые прямые и эффективные, пусть окольные, пути, ведущие к этой цели. Выдающиеся языковеды прошлого нашли ряд приемов, обеспечивающих известную достоверность сравнительно-исторических выводов и в области синтаксиса. Нельзя не согласиться с тем, что в настоящее время, несмотря на несовершенство этих приемов, «... работники советского языкознания должны испробовать все возможные способы приложения и изощрения их, отобрав из них оправдавшие себя положительными результатами»¹.

Следующая часть статьи и представляет собой попытку подойти к решению этой последней задачи.

Основные направления в сравнительно-историческом изучении синтаксиса индоевропейских языков

При всем своем многообразии, попытки распространить сравнительно-историческое изучение с фонетики и морфологии на синтаксис сводятся к трем основным направлениям, которые можно назвать — по имени их основоположников или наиболее ярких представителей — направлениями А. А. Потебни, Б. Дельбрюка и А. Мейе. Конечно, эта схема, как всякая схема, уже живой действительности², но, охватывая все основные явления в данной области, она дает возможность их обобщить и сделать из них определенные выводы.

1. **Направление А. А. Потебни.** Потебни открыл сам предмет сравнительно-исторического синтаксиса, ибо фактически он первый представил синтаксис как исторически изменчивую, закономерно прогрессирующую величину. В своих изысканиях он пользуется рядом рабочих приемов, из которых по крайней мере один весьма важен для общей методики сравнительно-исторических исследований в области синтаксиса.

Формулируя многие положения своей работы применительно не к тому или иному реальному языку, а к индоевропейскому состоянию, Потебня не мог не видеть того, как мало доказательны обычные сопоставления синтаксических фактов, взятых из разных языков; именно поэтому он не прибегает к подобным сопоставлениям и пользуется другим приемом, прослеживая ту или иную синтаксическую тенденцию на значительном отрезке времени в пределах одного языка (русского) и сопоставляя наиболее значительные моменты ее развития со сходными фактами родственных языков. Объек-

¹ Л. А. Булаховский, Сравнительно-исторический метод и изучение славянских языков в свете высказываний И. В. Сталина, сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, стр. 255.

² Она не включает, в частности, таких известных работ, как: F. Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, Bd. IV — Syntax, Wien, 1874 [интересная скорее большим собранием материала и его (впрочем, довольно неудобной) систематизацией, чем оригинальным методом его обработки]; J. Wackernagel, Über ein Gesetz der indogerm. Wortstellung, «Indogerm. Forschungen», Bd. I, 1892, стр. 425 и сл. (применяемая в этой работе методика стоит совершенно особняком) и, вероятно, ряда других сочинений.

том сравнения у Потебни становятся, следовательно, уже не отдельные явления, а две определенные синтаксические тенденции, объединяющие целую совокупность явлений.

Так, Потебня усматривает черты исключительной древности в конструкциях типа др.-русск. *церковь Спас, церковь Богородица* и т. п.: «Паратактическое сочетание *церковь Богородица*, представляя сочетаемые вещи равносильными... располагает мысль, стоящую в уровень с таким построением, к смешению признаков сочетаемых вещей»¹. На этом этапе аппозитивное имя, стоящее перед определяемым, тяготеет к слиянию с ним в одно слово и к общему с ним грамматическому оформлению. Более развитыми являются обороты, при которых два имени, стоящие в одном падеже, находятся не в аппозитивно-определятельных, а в аппозитивно-предикативных отношениях и становятся эквивалентом придаточного предложения. Позже такие предикативные именные группы начинают все чаще чередоваться с паратактически присоединяемыми глагольными придаточными. Наконец, «...как безглагольные приложения, так и паратактические глагольные придаточные, по мере усиления гипотактичности и стремления к объединению предложения... равномерно заменяются придаточными предложениями гипотактичными»².

Перед нами четыре этапа единого процесса, прослеженного на древнерусском материале. Для каждого из них привлекаются сравнительные данные из греческого, санскрита, германских языков, латинского, балтийских. Эти данные тоже образуют единую линию развития, и Потебня таким образом приходит к сравнению не отдельных фактов, а определенных закономерностей. Такой метод применится Потебней не всегда последовательно: иногда факты родственных языков берутся им вне системы, изолированно³, иногда в сравниваемый ряд включаются — на основании лишь внешнего сходства — явления, имеющие иную природу⁴. Вообще можно заметить, что данный прием не стал еще для ученого сознательным методическим принципом; он скорее угадывается в построениях Потебни, чем логически из них выводится.

Тем не менее значение этого приема для общей методики сравнительно-исторических исследований в области синтаксиса очень велико. Благодаря тому, что объектом анализа является общее развитие синтаксической системы одного углубленно исследуемого языка, устраняется случайность в выборе материала для сравнения и его фрагментарность. Поскольку объектом сравнения являются не те или иные факты родственных языков, а определенные целостные тенденции в их синтаксическом развитии, вероятная неточность в соответствии значения одной синтаксической конструкции или формы другой в тот или иной отраженный в памятнике момент перестает быть существенной, ибо учитывается не только данное, но также последующее (а где возможно, и предшествующее) значение формы. Поэтому Потебня, ведя исследование на русском материале, нередко может формулировать положения, касающиеся развития синтаксической системы в индоевропейских языках в целом. Не случайно, что его выводы, — по крайней мере в области развития именных предикативных оборотов, — смогли найти себе подтверждение во многих позднейших работах и оказались действительными для учения о развитии предложения во многих индоевропейских языках, в первую очередь — в древнегреческом, латинском и старых германских языках — готском и древнескандинавском.

Не будучи ясно сформулированным ни в печатных работах Потебни, ни, повидимому, в его лекциях, этот важнейший принцип не получил развития в трудах его учеников и последователей. И А. В. Попов, и Д. Н. Овсянко-Куликовский⁵ прибегают в своих работах к тому сопоставлению отдельных синтаксических явлений, которое, как мы видели выше, чревато столькими опасностями и ошибками.

2. «Морфологический метод» Б. Дельбрюка. В основу методики сравнительно-исторических исследований в области синтаксиса Дельбрюк кладет положение о неразрывной связи в языке синтаксиса с морфологией. Из этого тезиса, однако, он делает самые противоречивые выводы. С одной стороны, Дельбрюк механически распространяет сравнительно-историческую методику, применяемую в морфологии, на область синтаксиса, пытается выводить исконное значение синтаксической конструкции из сравнения засвидетельствованных значений, подобно тому как из сравнения засвидетельствованных морфологических форм выводится форма-архетип⁶. Но в то же время упомянутый тезис интерпретируется Дельбрюком и в том смысле, что методика сравнительно-исторических исследований син-

¹ А. А. Потебня, указ. соч., т. III, Харьков, 1899, стр. 213.

² Там же, стр. 322—323.

³ См., например, А. Потебня, указ. соч., 2-е изд., т. I—II, Харьков, 1888, стр. 535.

⁴ См. там же, т. III, стр. 129.

⁵ См.: А. В. Попов, Синтаксические исследования, I, Воронеж, 1881; Д. Н. Овсянко-Куликовский, Синтаксические наблюдения, ЖМНП—1897, май; 1898, май; 1899, июнь; его же, Синтаксис русского языка, СПб., 1902].

⁶ Индоевропейские формы «имели известный круг значений, и наша задача заключается в том, чтобы определить его путем сравнения функций этих форм в отдельных языках» (B. D e l b r ü c k, указ. соч., Teil I, стр. 81).

таксиса представляет собой лишь искомое, ибо приемы, используемые в области морфологии, здесь неприложимы, хотя, вследствие теснейшей связи этих двух сторон языка, данные сравнительно-исторической морфологии могут пролить свет на многие вопросы сравнительно-исторического синтаксиса¹.

На этой противоречивой основе и строится учение Дельбрюка об «исконных значениях» (*Grundbegriffe*), образующее теоретическую базу всех его исследований по сравнительно-историческому синтаксису. Оно было разработано им еще в начале 70-х гг. и изложено наиболее полно в первом томе его «Синтаксических исследований»². Дельбрюк здесь предлагает различать два рода исконных значений: относительные и абсолютные.

Под «относительными исконными значениями» он понимает функции архетипных форм, обнаруженные в результате сравнения значений, засвидетельствованных в древних памятниках. Мы уже видели, что такой прием встречает ряд непреодолимых трудностей, противоречит самой природе сравнительно-исторического метода и не может быть признан научно убедительным. Не случайно, что примеры этой методики, приводимые Дельбрюком, оказываются столь неудачными, что для подкрепления их он прибегает к совсем уж неубедительным психологическим соображениям³. Несмотря на это, именно выявление «относительных исконных значений» представляется Дельбрюку наиболее доказательным и научно перспективным.

Значительно меньшую роль отводит он (по крайней мере, теоретически) «абсолютным исконным значениям». Эти последние устанавливаются путем разложения самой формы на некогда слившиеся в ее составе элементы лексического или грамматического характера. Если известен смысл этих элементов, то становится ясным исконное значение формы или синтаксического сочетания, лежащего в ее основе. Так, форматив **-tero*, служащий для образования сравнительной степени прилагательных, содержится во многих других прилагательных и в положительной степени. Первичным является, следовательно, не его сравнительное значение, а, как показывает семантика слов с этим суффиксом во многих языках, значение противопоставления. Таким образом, сравнительное значение этого суффикса вторично и возникает в результате сужения первоначального значения — контрастного.

Несмотря на сдержанное отношение самого Дельбрюка к этому последнему приему, он сосредоточивает в себе все то наиболее ценное, что сделано данным ученым в области методики сравнительно-исторических исследований по синтаксису. Непосредственная связь анализируемых здесь значений с материальными элементами языка, обнаружение исконной функции данной формы путем разбора ее звукового состава испытанными приемами сравнительно-исторического метода сообщает результатам, полученным таким путем, большую достоверность и доказательность. Самое важное значение методики, о которой сейчас идет речь, заключается в том, что применение ее ограничивает роль основного препятствия, стоящего на пути сравнительно-исторических исследований по синтаксису, — параллельных инноваций.

Метод «абсолютных исконных значений», который мы в дальнейшем будем для простоты называть морфологическим, — создание не столько одного Дельбрюка, сколько всей немецкой лингвистической школы XIX в. Им широко пользовался Ф. Бопп, стремившийся обнаружить в формативах бывшие знаменательные слова и определить таким путем исконное значение форм. Этот метод Боппа получил теоретическое обоснование в книге В. Гумбольдта⁴ и практическое применение в работах Г. Курциуса⁵. В XX в. Г. Гирт, теоретически принимая обе предложенные Дельбрюком методики, практически переносит центр тяжести своих исследований с «относительных исконных значений» на «абсолютные»⁶. В последние годы с большим эффектом воспользовался морфологическим методом А. Жюре⁷.

¹ «В области синтаксиса мы не располагаем еще никаким исчерпывающим методом» (там же, стр. 37). И далее: «Синтаксису предстоит воспользоваться сравнительным методом. Он должен попытаться установить, используя результаты, полученные в области морфологии, какие употребления (давних форм) были присущи уже языку-основе» (там же, стр. 50).

² B. D e l b r ü c k, *Der Gebrauch des Conjunctivs und Optativs im Sanskrit und Griechischen*, Halle, 1871, стр. 11—15.

³ См. там же, стр. 13.

⁴ W. v o n H u m b o l d t, *Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues*., Bd. II, Berlin, 1876, стр. 145.

⁵ См., например, его теорию о происхождении и первоначальном значении индоевропейского конъюнктива (G. C u r t i u s, *Zur Chronologie der indogermanischen Sprachforschung*, Leipzig, 1867, стр. 229).

⁶ Он пишет: «Мои общие синтаксические воззрения строятся на анализе форм» (H. H i r t — H. A r n t z, *Die Hauptprobleme der indogerm. Sprachwissenschaft*, Halle a. S., 1939, стр. 181—182).

⁷ A. J u r e t, *Survivances indo-européennes dans la langue latine*, «Revue des études latines», t. XX, fasc. 1—2, 1942 (§ 7).

Морфологический метод Дельбрюка, органически вырастающий из всей практики сравнительного языкознания и давший ряд ценных результатов, является, несмотря на недооценку его самим автором, одним из наиболее эффективных приемов, помогающих преодолеть опасности, связанные с применением сравнительно-исторического метода в области синтаксиса.

3. «Аналогический метод» А. Мейе. Методика А. Мейе в интересующей нас области сводится к тому, что на основе аналогии в синтаксических функциях данной формы или в структуре данного синтаксического оборота в ряде родственных языков делается вывод о наличии такой функции или такого оборота в языке-основе. Эта ориентация на то, что Дельбрюк называл «относительными исконными значениями», характерна для Мейе при решении не всех, но подавляющего большинства синтаксических вопросов. Методика эта и в сравнительном языкознании вообще, а не только в работах Мейе, распространена гораздо шире, чем указанные выше. Иногда ею пользуются как отчетливо формулируемым принципом¹, в других случаях ее применяют как единственно возможный прием, правомерность использования которого даже не нуждается в доказательствах².

Однако, несмотря на такую распространенность, методика эта на основании соображений, изложенных в первой части статьи, никак не может считаться приемлемой. Устанавливаемые на ее основе соответствия, во-первых, могут быть результатом параллельного развития в каждом отдельном языке, во-вторых, могут объединять явления лишь внешне аналогичные. Покажем это на примерах. Так, перечисляя ряд глаголов, могущих употребляться в древних языках как в переходной, так и в непереходной конструкции, Мейе делает вывод о том, что «индоевропейский глагол не является сам по себе ни переходным, ни непереходным, и относящиеся к нему глагольные основы допускают оба этих значения»³. Подобное заключение недостаточно обосновано, ибо значения глаголов, которые приводит Мейе, могли развиваться в каждом языке самостоятельно: в современном французском языке «различие между объектными глаголами и прочими основано не на их природе, а на употреблении»⁴; в еще большей мере это справедливо для румынского языка, однако глагол романского языка-основы (народной латыни, из которой вышли и французский, и румынский) в общем вполне устойчив по переходности. Следуя по тому же пути, Д. Н. Овсянко-Куликовский приводит длинный ряд примеров конструкции «глагол неполного высказывания + причастие» из нескольких древних языков и заключает на этом основании, что такой оборот существовал в языке-основе как первоначальная форма составного сказуемого. Несмотря на то, что глаголы и причастия в его примерах стоят в самых различных формах и обладают, взятые вместе, самым различным грамматическим содержанием, он усматривает во всех этих конструкциях один и тот же оборот, что является весьма спорным⁵. Опровергнуть такие построения, разумеется, невозможно, но так же невозможно их строго обосновать, а следовательно, и опираться на них в дальнейших исследованиях.

О комбинированной методике при сравнительно-исторических исследованиях в области синтаксиса

Анализ основных достижений, полученных в течение последнего столетия в области сравнительно-исторического синтаксиса, обнаруживает, что они возникали там, где охарактеризованная выше методика А. А. Потебни оказывалась соединенной с «морфологическим методом» Б. Дельбрюка. К числу таких достижений можно отнести теорию развития предложений от паратаксиса к гипотаксису, учение о двух родах индоевропейских имен и об их значении, положение об автономном характере слова и о преобладании в связи с этим аппозиции и примыкания над другими средствами синтаксической связи в индоевропейском языке-основе, об исконном значении определенных типов глагольных основ и некоторые другие.

Так, в основе учения о паратактичности индоевропейского предложения лежит, прежде всего, обнаруженная в истории всех индоевропейских языков тенденция к переходу от простых предложений к сложным, что, впрочем, само по себе вполне могло бы объясняться как результат параллельного развития. Однако, с другой сто-

¹ См.: Д. Н. Овсянко-Куликовский, Синтаксические наблюдения, ЖМНП, 1897, май, стр. 137; его же, Синтаксис русского языка, стр. 307—308; F. S o m m e r, Vergleichende Syntax der Schulsprachen, Leipzig — Berlin, 1921 и многие другие работы.

² См.: А. В. Попов, указ. соч.; А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 88, 114, 132.

³ А. Мейе, указ. соч., стр. 213.

⁴ F. V g u o t, La pensée et la langue, Paris, 1922, стр. 311.

⁵ См. Д. Н. Овсянко-Куликовский, Синтаксические наблюдения, ЖМНП, 1897, май, стр. 130—137.

роны, формы служебных слов, служащих в отдельных языках для введения придаточных предложений, не дают совпадений, и, следовательно, слова такого рода отсутствовали в языке-основе. Сопоставляя данные, полученные при анализе тенденций, действующих в области синтаксиса предложения на протяжении всей истории группы родственных языков, с данными, основанными на сравнительно-историческом анализе звукового и морфологического состава слов-связок, мы можем утверждать с очень высокой степенью вероятности, что индоевропейское предложение было паратактивным.

Та же методика лежит в основе решения и других перечисленных выше вопросов. Например, известное и, повидимому, не вызывающее уже сомнений положение о том, что в индоевропейском языке-основе противопоставление глагольных основ имело видовое, а не временное значение, основано на том, что чем дальше проникаем мы вглубь истории латинского, древнегреческого, древнеиндийского языков, тем яснее выступает преобладание вида над временем. Таким образом, положение это строится с учетом длительных тенденций в истории отдельных родственных языков. По-настоящему доказательным, однако, оно становится только с привлечением данных сравнительно-исторической морфологии и фонетики, установившей, что временные показатели глагола в отдельных языках обнаруживают в самой своей форме явные следы вторичного происхождения.

Нет ничего удивительного в том, что именно подобная комбинированная методика дает наилучшие результаты. Мы видели, что применение традиционного сравнительно-исторического метода в синтаксисе встречает три основных препятствия: неточность сопоставлений, возможность параллельных инноваций, возможность заимствований. Мы видели далее, что если вести исследование на материале одного языка, изучаемого в его историческом развитии, и сопоставлять тенденции, действующие в его синтаксической системе, со столь же длительными, охватывающими ряд фактов закономерностями в эволюции синтаксиса других родственных языков, то отпадает первое из этих препятствий. Мы видели, наконец, что интерпретация фактов синтаксиса, основанная на постоянном учете фонетико-морфологических данных, устраняет второе и третье из этих препятствий. Следовательно, сравнительно-историческое исследование по синтаксису может дать вполне надежные результаты (во всяком случае, несравненно более надежные, чем те, которые основываются на повсеместно распространенном «аналогическом» методе) только тогда, когда оно основано на комбинированном использовании обоих указанных методик.

Постановка вопроса о комбинированной методике ни в какой мере не является «открытием». Речь идет просто об осмыслении тех путей, которыми получены наиболее точные положения сравнительно-исторического синтаксиса. Необходимо, однако, иметь в виду, что применение этой методики в прошлом носило стихийный характер, так что, например, А. Мейе, кое-где фактически пользующийся ею, не говорит о ней ни слова даже там, где речь у него идет специально о вопросах методики¹. Ясно, что стихийное применение комбинированной методики еще не дает возможности широко и последовательно использовать ее в научно-исследовательской практике.

Задача сейчас, повидимому, заключается во всесторонней теоретической разработке и эффективном практическом применении комбинированной методики. Есть данные, указывающие на то, что отдельные советские исследователи работают в этом же направлении и во многом подошли вплотную к решению указанной задачи. Достаточно назвать одну из последних статей А. В. Десницкой² и особенно недавнюю статью М. М. Гухман³. Каждая из этих работ может вызвать возражения и с точки зрения отдельных содержащихся в них положений, и с точки зрения применяемой (или предлагаемой) в них методики. Представляется несомненным, однако, что в обеих из них сравниваются не отдельные синтаксические факты, а целостные синтаксические тенденции, причем данные такого сравнения увязываются с данными морфологии, основываются на них или проверяются ими, что придает общим выводам большую убедительность, чем это обычно бывает в исследованиях по сравнительно-историческому синтаксису.

Комбинированная методика, повидимому, не универсальна: есть области синтаксиса, в которых она мало применима или даже неприменима совсем; вопрос этот подлежит уточнению.

¹ См.: А. Мейе, указ. соч., гл. I — Метод; его же, Сравнительный метод в историческом языкознании, перевод с франц., М., 1954. Не упоминает о ней и Х. Педерсен в своем подробном обзоре достижений сравнительно-исторического языкознания. (См. также Н. Педерсен, *Linguistic science in the nineteenth century*, Cambridge, 1931).

² См. А. В. Десницкая, Из истории развития категории глагольной переходности, сб. «Памяти академика Л. В. Щербы», [Л.], 1951.

³ См. М. М. Гухман, Родство языков и внутренние законы их развития, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», V.

Выводы

1. Сравнительно-исторический метод предполагает точные соответствия между материальными элементами родственных языков, немотивированный характер этих соответствий, невозможность заимствований или легкость их выявления. Эти три условия соблюдаются в фонетике и морфологии, в результате чего сравнительно-исторический метод приложим к данным сферам языка и дает здесь вполне надежные результаты; они не могут быть строго соблюдены в синтаксисе, в результате чего сравнительно-исторический метод в обычной своей форме к исследованию синтаксиса неприменим.

2. Распространение сравнительно-исторической методики, применяемой в фонетике и морфологии, на область синтаксиса и попытки строить выводы генетического порядка, исходя из совпадения отдельных синтаксических явлений в ряде родственных языков, не дают и не могут дать сколько-нибудь надежных результатов.

3. Сопоставление не изолированных синтаксических фактов, а определенных синтаксических тенденций, действующих на протяжении длительного времени в ряде родственных языков, — один из приемов сравнительно-исторического исследования синтаксиса, применяемых А. А. Потемной, — гарантирует от ошибок, связанных с неполным соответствием между сравниваемыми фактами.

4. Выведение синтаксических значений из анализа фонетических морфологических и этимологических данных, — один из приемов сравнительно-исторических исследований синтаксиса, применяемых Б. Дельбрюком, — гарантирует от ошибок, связанных с наличием параллельных инноваций и возможностью заимствований.

5. Комбинированное использование обоих этих приемов дает возможность избежать препятствий, мешающих применению сравнительно-исторического метода в синтаксисе. Наиболее надежные данные в этой области получены при помощи именно такой комбинированной методики.

6. Комбинированная методика применялась языковедами прошлого стихийно, что мешало широкому и эффективному ее использованию. Теоретическая ее разработка и действенное практическое применение — одна из актуальных задач сравнительно-исторического изучения индоевропейской семьи языков.

Г. С. Кнабе

АВТОХТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ

Как известно, албанский язык, называясь как-то иначе, употреблялся на Балканах в древности и находился в длительном контакте с латинским языком. При этом преобладавшее в прошлом мнение об иллирийской основе албанского языка в свете имеющихся на сегодня данных кажется мало убедительным. Попрежнему сохраняют силу слова М. В. Сергиевского о том, что «за иллирийское происхождение албанцев может говорить лишь тот факт, что они сейчас находятся на тех местах, где в древности мы знаем иллирийцев»¹. В противоположность этому, многочисленные известные фракийско-албанские параллели² настоятельно говорят о том, что албанский язык представляет собой дальнейшее развитие либо фракийского языка вообще, либо, при значительной его дифференциации, наречия какого-нибудь из фракийских племен или племенных объединений. Наличие у албанского, как и у фракийского, общих характерных особенностей с иллирийским (сюда могут относиться и прототипы современных балканизмов) также не исключено — в этом следовало бы видеть факты как сродства, вызванного длительным взаимодействием этих языков, так и сродства, основанного на более отдаленном родстве³. Все это неоднократно приводило исследователей молдавского и ближайших родственных ему языков к необходимости максимального использования албанского материала. Подробный обзор общих черт балканского языкового союза, а также мнений, возникавших в ходе более чем столетней полемики о субстрате балканских языков, дан у К. Сандфельда⁴. Кроме того, анализ балканизмов романских

¹ М. В. Сергиевский, Введение в романское языкознание, М., 1954, стр. 64.

² См.: там же, стр. 62—65; ВЯ, 1955, № 2, стр. 138—143.

³ См. I. Iordan, Dialectele italiene de sud și limba română, «Arhiva», Iași, 1923, № 1, стр. 41.

⁴ К. Сандфельд, Linguistique balkanique. Problèmes et résultats, Paris, 1930, стр. 124—145.

языков дают труды советских, румынских и некоторых других лингвистов¹. При этом и в советской, и в румынской литературе преобладает мнение о крайне незначительной роли долатинского субстрата в развитии румынского и молдавского языков². Возникновение в свое время таких взглядов вполне понятно как реакция на явную переоценку роли субстрата у В. Копитара, Ф. Миклошича, Б. П. Хаждэу и других. Но в настоящее время отрицательное отношение к связи молдавского и родственного ему языков с автохтонными языками Балкан, в том числе с албанским, не может быть оправдано. Существующее положение, при котором элементы долатинского субстрата в молдавском языке в течение ряда лет, как правило, находятся вне поля зрения наших лингвистов, мешает объективному изучению происхождения и развития молдавского языка. Необходимо дальнейшее подробное изучение и истолкование дако-румынско-албанских языковых взаимоотношений.

В связи с этим, кроме неоднократно подробно описанных балканизмов, характерных для разных языков (постпозиция артикля, сужение функций инфинитива и пр.), имеет смысл остановиться на нижеследующих чертах молдавского языка, заметно отличающих его от праязыкового (латинского) типа. При этом нельзя не иметь в виду аналогичных фактов албанского языка, как единственного живого языка, находящегося в непосредственной близости к долатинскому языку Дакии.

*

Прежде всего заслуживают внимания существительные обоюдного рода. Как известно, в результате вытеснения среднего рода в народной латыни некоторые из наиболее распространенных принадлежавших к нему слов, например *ligna*, мн. число *ligna* (молд. *лемн*, мн. число *лемне*; итал. [*il*] *legno*, мн. число [*le*] *legna*) «дерев», «дрова» в апениннской и балканской народной латыни стали употребляться в мужском роде в единственном числе и в женском — во множественном. Этому способствовали сходство и контаминация окончаний мужского и среднего рода в единственном числе и, с другой стороны, женского и среднего рода во множественном числе, в частности замена конечного *-a* на *-e*³. В апенинско-балканских языках образование множественного числа существительных пошло по типу латинских *I* и *II* склонений и слов среднего рода *III* склонения; окончание множественного числа (итал. *-i*, *-e*, *-a*; молд. *-ь*, *-е*, *-урь* и т. д.) присоединяется непосредственно к основе слова, замещая собой окончание, по которому определяется род в единственном числе; поэтому род может быть одним и тем же в обоих числах в том случае, если окончание единственного и множественного числа совпадают в роде. Если же, по аналогии с существительными, восходящими к латинскому среднему роду, окончания женского или особого обоюдного рода (типа итал. *-a*) присоединяются к основе существительных, которые в единственном числе принадлежат мужскому роду, то происходит перемена рода в зависимости от числа. (Иначе обстоит дело на западе Романии, за исключением Италии, где множественное число образуется по типу латинских существительных мужского и женского рода *III* склонения и где окончание *-s* присоединяется не к основе слова, а к окончанию рода в единственном числе. Этот показатель рода в неизменной или варьирующей форме сохраняется во множественном числе, почему род один и тот же в обоих числах.) Но на Балканах, в отличие от итальянского, категория этих существительных оказалась чрезвычайно многочисленной. Образование множественного числа с переменной рода происходит во многих новых словах, захватывая иногда некоторые корневые непронизводные слова, которые по своему происхождению принадлежат к латинскому мужскому (*насурь* «носы» и др.) или женскому (*ербурь* «травы» и др.) роду.

При этом нельзя упускать из виду, что существительные обоюдного рода широко распространены и в албанском языке; там они охватывают, кроме слов старого фонда (*mal* — *male* «гора»), также и неологизмы: показательна, например, продуктивность суффикса существительных обоюдного рода *-im* (мн. число *-ime*), который образует

¹ См.: В. Ф. Ш и ш м а р е в, Романские языки юго-восточной Европы и национальный язык Молдавской ССР, сб. «Вопросы молдавского языкознания», М., 1953; М. В. С е р г и е в с к и й, указ. соч.; A. R o s e t t i, Istoria limbii române, II, București, 1938; A. P h i l i p p i d e, Originea rominilor, vol. II, Ias, 1927; T. C a p i d a n, Raporturile albano-române, «Dacoromania», anul 2, Cluj, 1922; S. P u ș c a r i u, Études de linguistique roumaine, Cluj — București, 1937; W. M e y e r - L ü b k e, Rumänisch und Romanisch, «Memoriile secțiunii literare», seria III, t. V, București, 1930—1931; е р о ж е, Rumänisch, Romanisch, Albanisch, «Mitteilungen des Rumänischen Instituts an der Universität Wien», I, Heidelberg, 1914.

² См. Р. Г. П и о т р о в с к и й, Славянские элементы в румынском языке. (Постпозиция артикля), «Ученые записки [Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена]», т. 93, 1954; сб. «Вопросы молдавского языкознания», М., 1953.

³ См. W. M e y e r - L ü b k e, Rumänisch und Romanisch, стр. 14.

слова, давно бытующие в языке (*zgjim* «пробуждение», *fillim* «начало»), и неологизмы (*organizim* «организация», *angazhim* «обязательство»). Характерно сходство самих формантов: алб. -е и молд. -е, -ур» (из -уре). Вполне возможно, что широко распространенное явление перемены рода молдавских существительных в зависимости от числа имеет связь с аналогичным фактом автохтонного языка. Однако влияние одного языка на другой здесь следует допускать только исходя из схождения собственных систем образования множественного числа в каждом из них, благодаря чему могла иметь место контаминация. Сходство же элементов, применяемых для образования множественного числа, в молдавском и албанском языках в некоторых положениях явно. Группы существительных, различающиеся по образованию множественного числа в албанском в прошлом, повидимому, были менее многочисленными, чем теперь. Например, современные типы на *k — q*, *g — gj*, *i — inj*, *ll — j* и пр., как и на *k — qe*, *g — gje*, *ll — je*, по всей вероятности, восходят к двум группам, из которых каждая применяла один формант множественного числа. Увеличение таких групп могло возникнуть в результате ассимиляции звуков основы этим формантом, который впоследствии сам выпал, но результат ассимиляции остался. То же наблюдается в молдавских формах типа *kal — kaj* «лошадь» и пр. — чередования *л — й* и другие возникли под ассимилирующим влиянием форманта -i, который сам впоследствии выпал. Не исключена, разумеется, и та возможность, что наличие этой категории слов в обоих языках является результатом совершенно независимого развития каждого из них. Ни в коем случае, понятно, нельзя предполагать просто заимствования флексий. На более точные выводы факты не дают права. Нельзя, однако, не иметь в виду этого глубокого параллелизма между двумя языками.

В связи с этим, вопреки распространенному мнению, следует указать, что в дако-румынском языке нет среднего рода, так как нет ни одного имени, которое изменялось бы по собственным правилам, отличным от правил изменения слов мужского или женского рода¹. Поскольку грамматический род не зависит строго от одушевленности, пола и других признаков обозначаемых предметов и явлений, часть существительных изменяется в разных случаях по разным родам (ср. русск. *путь*) греч. *οχινος* «год» и др. Обычно эти слова мужского рода в единственном числе и женского по множественному; бывает и наоборот (*desaga — desaj* «сума»). Замену выражением *neutru* «среднего рода» во всех отношениях более удачного термина *амби жен* «обоюдного рода» нельзя считать оправданной.

Средний род, имеющий собственные парадигмы в славянских языках, как и в латыни, представляет собой в корне отличное явление. Неизвестно (даже, например, из замечаний А. Росетти², изложение которого обычно отличается убедительностью), каким образом славянский средний род мог содействовать образованию той же *грамматической* категории в дако-румынском языке.

Оправдывать введение «среднего» рода в грамматику дако-румынского языка желанием дать должную оценку благотворного влияния на него славянских языков — значило бы весьма поверхностно относиться к роли этого влияния. Любые мысли могут выражаться на языках как имеющих несколько родов, так и вообще не имеющих категорий рода.

Между прочим, наличие в албанском слов типа *ujë* «вода», *mish* «мясо» также говорит о разнице между природой среднего и обоюдного родов.

*

Далее, как известно, для указания на суждение или на понятие абстрактного характера молдавский язык предпочитает формы женского рода единственного и множественного числа: *аста* (*астя*, *яста*), *ачаста* «это», *ачея* «то», *уна* «что-то», *уна ка аста* «такое», *чеяче* «то, что» и пр., а также *аестя*, *ачестя*, *ачесте* «это», *тоате аестя* «все это», *тоате* «все», выражения типа *целе възуте* «виденное», *спусе* «сказанное» и пр. Употребляются в этом случае и некоторые формы мужского рода (*мотул* «все», *мат че...* «все, что...»); но предпочтение, отдаваемое женскому роду, очевидно, и это отличает молдавский язык от романских языков Запада (ср. исп. *esto*, португ. *isto*, франц. *ce*, итал. *questo* и пр. «это»). С мужским же родом связано в западнороманских языках образование среднего рода отвлеченных понятий, например, исп. *lo hecho* «сделанное», *lo que sigue* «следующее» и пр.

В связи с этим нельзя не заметить сходного использования женского рода в албанском языке, который также вводит его в формах единственного и множественного числа: *kjo* «это», *ajo* «то», *ato qe...* «то, что...», *të gjithë këto*, *të gjithë ato* «все (э)то» и т.д.

¹ Увлечение «средним» родом отражено, например, в новой академической «Грамматике румынского языка» (см. «Gramatica limbii române», vol. I, ed. Acad. RPR, 1954, стр. 18, 125 и сл.).

² A. Rosetti, *Influența limbilor slave meridionale asupra limbii române*, [București, 1954], стр. 31—32 («Genul»).

Показательно употребление женского рода в безличных выражениях типа *është e naty* «естественно», где подразумевается подлежащее *kjo(a)jo*.

Албанское происхождение формы единственного числа женского рода в этой функции не подлежит сомнению, хотя неизвестно, связано ли это именно с словом *punë*¹, *gjë* «дело», «вещь». В употреблении множественного числа женского рода в молдавском и среднего рода в латинском (*multa* «много», *haes* «это» и др.), с одной стороны², и множественного числа женского рода в албанском, с другой, можно видеть частичное сохранение одной из тех черт структуры латинского языка, которые сохранились именно на востоке Рومании благодаря наличию аналогичного приема в автохтонном языке (ср., например, построение *scire Latine*, а *шти молдогенеште*, *dî shqip* «знать латинский, молдавский, албанский язык» и др.).

Далее необходимо обратить внимание на беспредложное употребление существительных в роли наречий образа действия, в частности тех, которые сохраняют смысл сравнения. Таковы молдавские выражения *a bate m. p.* «сильно избить», *a шеде кук* «сидеть в одиночестве», *a лега бурдуч* (феделеш, бутук) «крепко связать», *a мерже струнэ* «быть в полном порядке» и многие другие, где существительное-наречие является составной частью устойчивого словосочетания. Наблюдается, однако, и свободная постановка некоторых наречий-существительных (ср. *гр. мадэ* «вместе», *с. жятэ* «быстро» и др.). Явление того же характера широко распространено в албанском языке. Например: «*Fjalën e merit punëtorja e re Lambrini Llukani:—...Ne duhet t'i rregullojmë vete avarit ne punë, e jo t'ë grijme me duar kryq*» «Слово берет молодая работница Лямбрини Лjukani:—...Мы должны сами предотвращать аварии на работе, а не сидеть сложа руки»³. Иногда семантика выражения допускает употребление существительного в членной форме, например, *bie barra* «выпасть на долю», как в отдельных случаях по-молдавски; *фуга* «бегом» и др. В албанском это более возможно, так как существительные, употребляемые в роли наречий времени, ставятся там в косвенных падежах (*dilën* «днем», *verës* «летом» и др.), тогда как в приведенном выше выражении слово *barrë* «груз», как имя, имеет форму именительного падежа. Будучи также в большинстве случаев частью устойчивых словосочетаний, иногда существительные-наречия употребляются свободно, например, *gabim* «ошибка» и «ошибочно».

К. Сандфелд указывает на наличие сходных оборотов в греческом⁴, но происхождение их именно оттуда не более вероятно, чем из албанского, где распространено беспредложное употребление существительных в роли наречий разных типов: *majë kodrës* «на вершине горы», *buzë lumit* «на берегу реки», *marr vesh* «понять» и др.

Полный параллелизм между выражениями *a çyne mintë*, *mбай mënd* «помнить» (как и старороманским *tenere mente* «помнить»⁵) следует объяснить происшедшим на латинской почве переходом аблатива *mente* «умом, памятью» в наречие с дальнейшим его сохранением именно в этом сочетании.

Характерно употребление удвоенных существительных во множественном числе со значением наречий: *turma-turma*, *togje-togje* и *кырдуры кырдуры* «толпой, гурьбой». Наличие в греческом и итальянском выражений типа *gamba gamba* «пешком»⁶ не показательно как довод против происхождения их в дако-румынском из албанского, где они давно широко распространены.

Замкнутость категории существительных-наречий и устойчивость сочетаний, в которые они входят, указывают на давность наличия этих приемов в обоих рассматриваемых языках.

Особо следует остановиться на структуре числительных (в частности с 11 по 19), отражающей сохранение романизированным населением нероманских оборотов речи. Господствующее в нашей литературе мнение о том, что источник кальки — бесспорно славянский⁷, нельзя считать решающим, хотя и эта возможность, понятно, не исключена, поскольку язык славян также (с VI в.) играл роль субстрата. Указания на *сумэ*

¹ К. S a n d f e l d, указ. соч., стр. 133.

² Этому способствовали те же условия, в результате которых развивалась категория существительных обоюдного рода (см. выше).

³ V. A l l a j b e j, Brigada e Kulturës së lartë, 1951, стр. 46.

⁴ См. К. S a n d f e l d, указ. соч., стр. 140.

⁵ См. там же, стр. 160.

⁶ См. там же, стр. 162.

⁷ Сб. «Вопросы молдавского языкознания», стр. 157, 158, 217 и др.

«100», которое не является калькой и заимствовано как существительное¹ (ср. алб. *qind*), или на -*zet* как элемент счета двадцатками, которое не первичнее, судя по имеющимся данным, чем -*dhjetë*², с разных точек зрения, — слабые доводы против автохтонного происхождения структуры числительных. Другие факты — форма порядковых числительных (*al... lea*, *i... të*), древнегреческие диалектизмы типа этолийского δδο «επί Φίλων» «22»³, или упомянутое Прокопием название Τρεσέττιλοις⁴ с меньшей убедительностью говорят о противоположном. Кроме того, было бы также излишним видеть что-либо благотворное для данного языка в иноязычных влияниях, простирающихся из трудности отказывая от тех наиболее устойчивых прежних павыков говорящих, которые не обогащают данный язык новыми понятиями.

*

Глубокий параллелизм между дако-румынским и албанским языками обусловлен неутоблением инфинитива, одним из заменителей которого служит распространенная и в соседних языках конъюнктивная конструкция [молд. *să...*, алб. *të...* и ее ударный вариант: *ka (...)* *să...*, *që (...)* *të...*]. Бесспорна также общность происхождения неогероманских оборотов с экзистенциальным употреблением глагола должностного: ср. молд. *Стратул trebuie săos* «Прокладку надо было убрать»⁵ и алб. *Shumë njerëz mendonin se ky sektor duhet braktisur* «Многие думали, что на этот участок не стоит обращать внимания»⁶. От этой конструкции в албанском иногда невозможно, ввиду малой изменчивости причастия, отличить оборот типа *Duhet punuar më mirë me, të* «Надо лучше работать с ним»⁷. В молдавском его параллель представляют такие построения, как *trebuie (de) cîntat сама* «надо иметь в виду», которые используют супин, т. е. образование, состоящее из причастия с предлогом и сохраняющее глагольное управление. В современном молдавском языке заметно упорочивается давно существующая тенденция к превращению супина во вторичный инфинитив (ср. *ый greu de афлат* «трудно узнать»; *Требие де аштенат?* — *Нумайдекит де аштенат* «Надо подождать?» — *Обязательно подождать? Кум де нус проблема аста?* «Как ставить этот вопрос?» и др.⁸, что имеет место в тоскском (*eshtë vështirë për të mësuar* «трудно узнать»), не говоря уже о гегском, где причастие с предлогом давно стабилизировалось в этой роли. Данные об употреблении супина в латыни⁹ говорят, что он не мог продолжать развиваться на романской почве. Очевидно, дако-румынский супин представляет собой новообразование, появлению которого способствовал контакт с местным языком Балкан. Замена инфинитива конъюнктивом в позднем древнегреческом¹⁰ не опровергает того факта, что инфинитив издревле отсутствовал в языке-основе албанского, что оказывало влияние на вытеснение его языки. Гегский инфинитив (*me* + причастие) нельзя считать более древним образованием, чем конъюнктивная конструкция¹¹. Вполне возможно, что ко времени первого контакта с латынью вытеснявшийся ею на Балканах язык еще не развил инфинитива, которого не было в индоевропейском языке-основе и нет в некоторых других индоевропейских языках¹². В старорумынском языке функции инфинитива были шире, чем в современном, но это никак не опровергает того предположения, что впервые тенденция к его вытеснению получена языком еще во время романизации.

Некоторые факты, приводимые в доказательство позднего вытеснения инфинитива, явно непоказательны: например, указания на отсутствие конструкции с *să* в ястро-румынском, то время как инфинитив полностью вытеснен в аромунском, ранее отделившемся от дако-румынского (в котором конструкция с *să* также преобладает).

¹ См. там же, стр. 76.

² Ср. аром. *yingit*, франц.-*vingt*.

³ См. К. Sandfield, указ. соч., стр. 148.

⁴ См. О. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, t. I, Paris, 1901 [обл.: 1902], стр. 391.

⁵ Е. Буков, Растут этажи (Рреск етажеле), Кишинев, 1952, стр. 188 [на молдав. яз.].

⁶ V. Allajbej, указ. соч., стр. II.

⁷ R. Nepravishta, Në një dorë kazmën, në tjetrën pushkën, Drejtorija e botimeve ushtarake, 1953, стр. 10.

⁸ Примеры взяты из разговорной речи.

⁹ См. А. Эриу, Историческая морфология латинского языка, М., 1950, стр. 269—270.

¹⁰ См. К. Sandfield, указ. соч., стр. 177; возможно, что этот факт находится в связи с массовой эллинизацией фракийцев в последние века до нашей эры.

¹¹ См. А. Philippi, указ. соч., стр. 607.

¹² См.: О. Гуйер, Введение в историю чешского языка, М., 1953, стр. 31; А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 194; А. Граур, Coup d'oeil sur la linguistique balkanique, «Bull. linguistique», IV, București, 1936, стр. 43.

Неубедительны также распространенные указания на замену инфинитива конъюнктивом в западороманских языках: это лишь в особых случаях происходит там с субъектами инфинитивом, тогда как в дако-румынском такая замена давно господствует.

Частным случаем предпочтения инфинитиву конъюктива в дако-румынском (и в других балканских языках) является употребление аналитических форм будущего времени (*o sò kыт, аm sò kыт* «спую»), сходство которых с тоскскими (*do të këndoj* «спую») очевидно. Хотя в разных языках наблюдается тенденция к обновлению форм будущего времени, вполне возможно, что в албанском, в памятниках которого (с XV в.) не найдено синтетических форм этого времени, гегские и тоскские описательные конструкции впервые восполнили их отсутствие, восходящее к праязыковой эпохе¹.

Далее, в рассматриваемых языках имеет место дублирование члена предложения ударной формой личного местоимения, присоединяемой при помощи союза: *Демеиле с'ау р.пезит ши еле спре жям'* «Женщины тоже бросились к окну»² и *Shoqja Truja, per, te kenaqur kërkesën e përseritur te salles, Këndoi edhe ajo „Kroj i Fshatit tonë“ dhe „Fol e mos Folë“, që u pritnë me brohoritje dhe me ugritje shendetesh per artin popullor të Shqiperisë* «Товарищ Труя, выполняя повторную просьбу зала, тоже спела „Родник нашего села“ и „Говори и не говори“, которые были встречены овацией и провозглашением тостов за народное искусство Албании»³. Наличие во французском напеминающей этот оборот конструкции («Les parlers bulgares de la Macédonie sud-occidentale forment eux aussi un plus-que-parfait de cette manière» «Болгарские говоры юго-западной Македонии тоже образуют давнопрошедшее время таким способом»⁴) не может служить здесь доводом против общности албанского и дако-румынского.

Менее показательно повторное выражение дополнения в рассматриваемых двух языках неударными формами личных местоимений, характерное для романских языков в целом; полный параллелизм им представляют в данном случае иберо-романские языки.

Характерной для синтаксиса обоих рассматриваемых языков является следующая закономерность: в обоих языках в определенных положениях соблюдается строгая зависимость между способом введения определения и наличием или отсутствием непосредственного контакта с определяемым словом в членной форме. Эта зависимость выражается при помощи местоименного (в молдавском) и связующего (в албанском) артиклей. В молдавском определении, выраженное: 1) притяжательным местоимением и 2) склоняемым словом в родительном падеже, может следовать непосредственно только за артикулированным определяемым словом. Чрезвычайно редкие нарушения этого правила, делаемые, например, с целью сохранения стихотворного размера, сразу обращают на себя внимание: *Eu s' fийu а та стълпын, ту стълпын — виеций меле* «Будешь ты моим владыкой, я — твоею госпожою»⁵. В албанском такая зависимость выражается при помощи двух разновидностей связующего артикля, которые предшествуют определению, выраженному: 1) склоняемым словом в родительном падеже (*i shokut* «товарища», *i të cilin* «которого»), 2) прилагательным (*i gjatë* «длинный», *i paralufte* «довоенный» — если оно не принадлежит к известным исключениям типа *besnik* «верный» и др.), 3) порядковым числительным (*i pestë* «пятый»), 4) некоторыми из притяжательных местоимений (*i tij* «его», *i vet* «свой») и т. д. Единичные вставки, которые не склоняются, как молд. *май* «еще» или алб. *një, disa* (неопределенные артикли) и пр., не отменяют общего правила.

Строгое соблюдение обоими языками этой закономерности, наряду с другими фактами, свидетельствует об издавна существующем между ними параллелизме в развитии разных форм артиклей.

¹ См. А. Эрну, указ. соч., стр. 191.

² А. Козмеску, Рассказы (Повестирь), Кишинев, 1952, стр. 56 [на молдав. яз.].

³ Sh. Musaraj, Njëzet ditë në Bashkimin Sovjetik, Tiranë, 1950, стр. 116.

⁴ K. Sandfeld, указ. соч., стр. 106.

⁵ М. Еминеску, Стихи (Поезий), Кишинев, 1954, стр. 186 [на молдав. яз.] (русс. перевод см. в кн.: М. Эминеску, Стихи, М., 1950, стр. 29).

*

Далее, следует обратить внимание на имеющее место в обоих языках соединение сходным способом равнозначных элементов основного словарного фонда для образования сложных слов и словосочетаний, которые в свою очередь близки или тождественны по смыслу. Таковы, например, сочетания с элементами *gji h |*- и *mot* «весь, всё»: *gji h |*ashtu и *mot a sh |*a «также», *gji h |*ënië и (ын)*mot du |*na «всегда», *me gji h |*ë së и *ku mo at |*e kë «хотя», *me gji h |*ë këtë, *me g i |thë atë* и *ku mo at |*e a es |tja «однако» и пр. К. Сандфельд указывает на существование в разных небалканских языках то одного, то другого оборота, полностью аналогичного рассматриваемым здесь (ср. исп. *con todo esto* «однако»)¹. Но тем не менее наличие многочисленных рядов соответствий, типа приведенного выше, не представляется возможным объяснить как результат случайного совпадения в независимом развитии каждого из рассматриваемых языков или поздних заимствований, сделанных ими друг у друга или из каких-то других языков.

Таковы некоторые из многочисленных дако-румынско-албанских параллелей.

*

Данные памятников старорумынского, а также общие черты дако-, истро-, македо- и меглено-румынского, отличающие их от других романских языков, говорят, что в первом тысячелетии н. э. общерумынский язык представлял собой значительное отклонение от праязыкового (латинского) типа, обнаруживая в то же время гораздо меньше отличий от типа современного румынского и молдавского языков.

На всем протяжении развития языка, например, от латыни до молдавского языка наших дней, постоянно действовали, разумеется, чисто внутренние факторы. Но этим нельзя оправдывать установившееся в нашей литературе нигилистическое отношение к роли смененного латынью в Дакии языка в истории современных балкано-романских языков. Выражающими преобладающее мнение могут служить в данном случае слова Р. Г. Пиотровского: «Автохтонный (дороманский) элемент оказал ничтожное влияние на румынский, как и, впрочем, на другие балканские языки, — оно ограничивается лишь узким кругом географических названий (Дунай, Муреш, Серет, Прут и некоторые другие)»². Почти ничего не говорят в пользу чисто латинского характера народного романского языка Балкан в VI в. приводимые далее автором два слова солдата-данубита (из которых одно — слово, употреблявшееся в византийской армии римской команды) и названия дакийских и мезийских крепостей (по Прокпию)³.

Доказательства полного усвоения правильной латыни всей массой населения в районе Дакии нет, хотя, разумеется, факт ее усвоения вообще не вызывает никаких сомнений. Вряд ли можно сомневаться, что господствующие классы, как и население главных городов Дакии, романизировались в кратчайшие сроки. В нашей литературе последних лет, как и в трудах большинства румынских лингвистов, это, очевидно, и принято считать романизацией Дакии в полном смысле слова. Тогда, разумеется, дальнейшее взаимодействие латыни с фракийским языком, который, как известно из разных источников, перестал употребляться под таким названием не раньше VI в.⁴, придется относить к так называемому «румыно-албанскому симбиозу», якобы имевшему место после полного завершения романизации, существование которого предполагают исходя из тех же языковых параллелей. О. Денсушану, сам разделяющий точку зрения об иллирийской основе албанского языка, приводит не вызывающие возражений доводы в пользу того, что албанские элементы проникали в балканскую латынь, когда она еще не приобрела признаков самостоятельного романского языка⁵. Кроме того, неизменным условием романизации не являлось обязательное присутствие в стране римской администрации и войск. Усвоение латыни не владевшим ею населением могло проходить и в контакте с прочими ее носителями, в том числе с теми, которые остались к северу от Дуная после 275 (или 271) года. Поэтому вряд ли есть основания говорить о романизации Дакии, т. е. о «римско-фракийском симбиозе», и о предполагаемом румыно-албанском как о разных процессах, проводя при этом резкую грань между албанским того времени и его языком-основой.

Ничего не говорят в данном случае распространенные указания общего характера на само собой разумеющуюся необходимость учитывать прежде всего внутренние факторы развития. Не менее известно другое общее положение, говорящее о том, что мас-

¹ См. К. S a n d f e l d, указ. соч., стр. 210.

² Р. Г. П и о т р о в с к и й, указ. соч., стр. 66.

³ См. там же, стр. 68—69.

⁴ См. О. D e n s u s i a n u, указ. соч., стр. 21.

⁵ См. там же, стр. 294—300.

совая смена языка населением, как правило, оставляет следы во вновь усвоенном языке, хотя сам факт его усвоения (не обязательно полного) не подлежит сомнению. Усвоение нового языка с детства приучаемыми к нему поколениями, разумеется, может быть полным, но для этого необходимы особые условия, отличные от условий усвоения языка вообще. На правильность и чистоту усваиваемого языка отрицательно влияют, например, такие факты: слабость и недолговременность связей данной местности с исконной территорией распространения нового языка; малочисленность природных носителей нового языка в данной местности; контакт населения не с природными носителями усваиваемого языка, а с представителями других народностей, также неполно усвоившими его; сознательное коверканье языка его природными носителями, основанное на распространенной иллюзии о том, что он в таком виде будет якобы понятнее для носителей других языков; отсутствие единой общеобязательной языковой нормы, письменности, грамотности; принадлежность исконных носителей разных языков к разным социальным группам; отсутствие у усваивающих новый язык потребности уметь говорить в точности так, как говорят его природные носители, и т. д. При таких условиях единственным общепонятным средством общения в данной местности может стать ломаный, искаженный (вплоть до креольско-романского типа) язык, в котором налицо «автохтонизмы» впервые узнавших его поколений и который в дальнейшем развивается и нормируется исходя из собственных потребностей и становится по-своему правильным.

Крайне скептически настроенный по отношению к ролям языков «варваров» К. Сандфельд в общем справедливо усматривает в высоком престиже греческой культуры и православной церкви причину многочисленных заимствований из греческого в соседних языках и массовой эллинизации групп негреческого населения Балкан. Но именно последнее обстоятельство создавало широкие возможности для проникновения в греческий язык тех иноязычных оборотов, которые не представляли, употребляясь вначале спорадически, явного нарушения его правил и могли получать на его почве дальнейшее развитие¹. Балканизмы, особенно синтаксические, как правило, не являются обогащающими заимствованиями, источником которых часто бывают высокоразвитые языки. К чему, например, перенимать употребление артикля в связующей функции или перестраивать структуру числительных, если это не подсказывается старым речевым навыком? Богатство, обработанность и официальное употребление латинского и греческого языков нельзя в данном случае считать их большим преимуществом перед менее обработанными языками Балкан. Сам албанский язык — пример того, как на территории, долго подвластной Риму, даже там, где местным языком не был более развитый, чем латынь, греческий, победителем смог выйти длительное время сосуществовавший с латынью язык местного населения.

Не отличаются убедительностью многие из распространенных попыток доказать чисто внутреннее происхождение романских балканизмов указанием на наличие сходных фактов в романских языках Запада. Например, встречающиеся в испанском сочетания типа *batallones los de acero* «стальные батальоны» также являются примерами постпозиции артикля, но такие «балканизмы» в западнороманских языках редки и спорадичны, тогда как на Балканах соответствующие случаи давно представляют общее правило². Во то же время следует заметить, что некоторые доводы, приводимые в пользу древности румыно-албанских связей, действительно неубедительны: *habere* при переходных глаголах, структура неопределенных местоимений с *-ea* и *-do*, образование будущего времени при помощи глагола со значением «хотеть, любить» и т. д.

Не достигают цели и доводы против автохтонного происхождения балканизмов, строящиеся на материале старых памятников и диалектов балканских языков, особенно болгарского, как засвидетельствованного намного раньше, чем дако-румынский и албанский. Таковы указания на следы инфинитива в болгарском, инфинитив в румынском и другие факты. Хорошо известные нам по памятникам латинский язык, дальнейшее развитие которого представляет молдавский, и старославянский, являющийся литературной формой одного из старых болгарских говоров, вообще не принадлежат, как известно, к «балканским» языкам. Вполне понятно поэтому, что при решающем преобладании романских элементов в румынском и молдавском и славянских в болгарском они иногда как архаизмы или диалектизмы дают себя знать и в тех областях структуры языка, где одержали верх конструкции иноязычного происхождения. Существование, например, в современном молдавском языке инфинитива и сослагательного наклонения, которые в ряде случаев совершенно равнозначны (*ынчепе а лукра* и *ынчепе сь лукрезе* «начинает работать»), может говорить о том, что конкуренция между конструкциями общероманского и балканского типов, начавшаяся в период усвоения ла-

¹ Ср. «балканизм», перенесенный в русский язык из молдавского: *Так вы не хотите, чтобы вы сходили в кино?* (Пример взят из разговорной речи.)

² Естественно, что диалекты севера и особенно юга Италии, распространенные в районах вентского и мессапского ареалов, обладают спецификой в этом отношении.

тыни, продолжается до сих пор, хотя между ними в большинстве случаев произошло распределение функций. Отсутствие балканизмов в памятниках староболгарского языка не доказывает их отсутствия в народной речи соответствующего периода, хотя бы как конкурирующих форм, которые лишь впоследствии получили всеобщее распространение и литературное признание. Автохтонные по происхождению элементы, бытующие долгое время в речи, не фиксируемой памятниками, могут окончательно победить в конкуренции и получить права литературности и через много веков после того, как сам давший их язык вышел из употребления. Это очень важно иметь в виду в тех случаях, когда материалом для наблюдений служат образцы литературной нормы, плохо отражающей черты живой речи, каковыми были памятники греческого и болгарского языков до появления произведений писателей, важнейшая заслуга которых состоит в открытии народному языку доступа в литературу (Ф. Продром, М. Глика, много позже Корнар, Паламас, Психарис и другие в Греции; авторы дамаскинов, Софроний Врачанский, классики XIX в. в Болгарии).

Не следует недооценивать общности получаемых разными языками из одного источника тенденций к развитию аналогичных форм. Сами автохтонные языки Балкан могли оставить лишь навывок сопровождать имя следующим за ним указательным или личным местоимением, которое уже самостоятельным в каждом языке развилось в постпозитивный артикль. Если же выразитель категории определенности настолько слился с именем, что не ощущается как отдельное слово (ср. алб. *thoi* «ноготь», молд. *casa* «дом» и пр.), возможность калькирования для него так же мала, как и для флексии.

Правильным подходом к оценке роли автохтонных элементов в истории молдавского языка нельзя, понятно, оправдывать старые ошибки: метафизическое объяснение наличия разных романских языков только воздействием субстрата или заведомое причисление к следам субстрата любых элементов структуры языка, происхождение которых не выяснено.

Полезно заметить, что в случае открытия при раскопках новых памятников автохтонных языков Балкан при их истолковании может сыграть положительную роль предположение о наличии тех или иных балканизмов в языке данного памятника¹.

Подводя итог, следует признать, что не исключена и та возможность, что начальной стадией эволюции балкано-романских языков явилась чистая, правильная, а не «испорченная» (по известному выражению Энгельса) латынь, но это может быть доказано только связными текстами местной народной романской речи первых веков нашей эры (памятники официального языка мало показательны). Тогда аналогии с албанским, безусловно, нужно было бы относить к результатам «симбиоза», имевшего место после завершения полной романизации — известны положения, когда действительным оказывается то, что представлялось менее вероятным в свете прежних сведений. Но пока таких доказательств нет, в свете уже известных довольно многочисленных фактов, особенно касающихся фракийско-албанских языковых взаимоотношений, нельзя не признавать наиболее вероятным происхождение ряда черт структуры молдавского языка из долатинских языков Балкан.

М. А. Габинский

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

1

Проблема специфики сложноподчиненного предложения является одной из наиболее спорных в научных описательных грамматиках тюркских языков. Еще до лингвистической дискуссии 1950 г. шел спор о природе причастных и деепричастных оборотов. Некоторые языковеды считали, что все без исключения причастные и деепричастные обороты являются придаточными предложениями. Другие, в противовес первому мнению, полагали, что эти обороты являются придаточными предложениями только в том случае, если они имеют свое собственное подлежащее, отличное от подлежащего главного предложения.

См. D. Mărgăla, Despre originea și structura limbii române, «Limba română», 1954, № 4, стр. 13. В самое последнее время найдено около тридцати дакийских надписей, выполненных греческими буквами, и две — латинскими. В надписи, найденной летом 1954 г., обращает на себя внимание сходство расшифрованного уже слова *per* «сын» с албанским (и гегским, и тоскским) *bir* «сын», хотя, возможно, это и случайность.

В прошлом большинство азербайджанских языковедов в своих исследованиях придерживалось второй точки зрения. Начиная с 1938 года и до лингвистической дискуссии в школьных учебниках по синтаксису азербайджанского языка предложения с причастными, деепричастными, отглагольно-именными, инфинитивными оборотами, имеющими самостоятельные подлежащие, рассматривались как сложноподчиненные. Таким образом, в предложениях *Фəхрəддин бир гапыдан ичəri қирдийи заман, Низами бу бири гапыдан дəһлиэ чыхды* (М. Ордубали) «Когда Фахрэддин вошел через одни двери, Низами вышел в переднюю через другие двери», *Бу сəs эшидилэн кими, дərһаи қарийи ээ кəнизлəрин ичəрисиндə сукут башлады* (М. Ордубали), «Как только послышался этот голос, моментально среди насмич и рабынь воцарилось молчание», *Гафар дайы она зəаб ермэк истəркən, байырдан баш мантиюрун гышырығы онун диггəтини зəаб эди* (М. Сулейманов) «Когда дядя Гафар хотел ему отвечать, его внимание было привлечено криком главного монтера, который доносился со двора», *Дунэн сəрин кўлэк эсдиги учун, Бақыда исти һисс олунмурду* (Г. Мехти) «Так как вчера дул прохладный ветер, жары в Гаку не чувствовалось» и т. п. причастные и деепричастные обороты (*Фəхрəддин бир гапыдан ичəri қирдийи заман; бу сəs эшидилэн кими; дунэн сəрин кўлэк эсдиги учун; Гафар дайы она зəаб ермэк истəркən*) считались придаточными предложениями потому, что они имеют самостоятельные подлежащие (*Фəхрəддин, сəs, Гафар дайы, кўлэк*), отличные от подлежащих главных предложений.

До лингвистической дискуссии в Азербайджане были и такие языковеды, которые придерживались первой точки зрения, т. е. считали придаточными предложениями любые причастные и деепричастные обороты, а подчас относили к ним даже определительные словосочетания¹.

2

Влияние антинаучных взглядов Н. Я. Марра и его учеников, недооценка значения грамматики привели к тому, что многие вопросы синтаксиса, в том числе и вопросы теории сложноподчиненного предложения, оказались у нас не разработанными.

Распространенное противопоставление общенародного разговорного языка литературному в значительной степени задерживало процесс закономерного обогащения последнего за счет первого. С начала XX в. и до 30-х годов участвовавшее в литературном азербайджанском языке употребление причастных и деепричастных оборотов послужило причиной вытеснения союзных сложноподчиненных предложений, хотя последние и являлись характерными для общенародного азербайджанского языка.

После установления Советской власти в Азербайджане литературный язык постепенно становится достоянием трудящихся масс. Поэтому в него широко стали внедряться (в первую очередь в художественную литературу) элементы общенародного разговорного языка. Так, благодаря усилиям советских писателей и переводчиков, в литературном языке стали употребляться различные виды придаточных предложений с союзом *ки*, которые свойственны общенародному языку.

Одной из особенностей азербайджанского языка, в отличие от других тюркских языков, является употребление сложных подчинительных союзов в начале придаточных предложений. К сожалению, эти придаточные предложения не находили до 1951 г. своего отражения в учебниках по синтаксису азербайджанского языка, несмотря на то, что за последние годы под влиянием общенародного языка сложные союзы в начале придаточных предложений стали употребляться значительно чаще.

Детальное изучение фактов общенародного разговорного языка, а также материалов всех жанров литературного языка показало, что в азербайджанском языке широко представлены не только предложения с причастными и деепричастными оборотами, но и сложноподчиненные конструкции с придаточными предложениями.

Эти два типа предложений, как и соответствующие предложения в русском языке, служат своеобразными синтаксическими синонимами (см. табл. на стр. 95).

Несмотря на то, что придаточные предложения в азербайджанском языке четко отграничены от причастных и деепричастных оборотов, до настоящего времени некоторые тюркологи придерживаются мнения о том, что причастные и деепричастные обороты с самостоятельными подлежащими являются придаточными предложениями. Такое простое предложение, как *Mən də siz alən normanı alıram* «Я получаю норму, получаемую вами», они считают сложноподчиненным предложением, где причастный оборот *siz alən* «получаемую вами» отождествляется с придаточным предложением. Между тем причастный оборот *siz alən* никак нельзя считать придаточным предложением: в нем нет относительно законченной мысли, присущей придаточным предложениям; сказуемое в нем не выражено личной формой глагола; наконец, здесь отсутствуют такие обязательные условия, как согласование между

¹ См., например, А. Демирчизаде, Сложное предложение, «Азербайджан мəkəтəби», Баку, 1948, № 1, стр. 26—27 [на азерб. яз.].

Сложноподчиненные предложения	Простые предложения с причастными и деепричастными оборотами
<i>Һамыныа мә'лумдур ки, Зеки йолдашын тәшәбүсү илә Абшерон ярым адасында бир нефт ятағы ачылыбдыр</i> (М. Сулейманов) «Вам всем известно, что благодаря инициативе товарища Зеки, на Апшеронском полуострове открыты новые нефтяные залежи» <i>Ким ки мәтәл галыр, о сизә мұрақизәт әдир</i> (М. Сулейманов) «Кто нуждается, тот к Вам и обращается»; <i>На гәдәр ки гардашығымыз яшайыр, бүтүн арауларымыз чатаңағыз</i> (М. Ибрагимов) «Поскольку существует наша дружба, мы сумеем достичь своей цели»; <i>Элә ки Фирудин гапынын әэнкини басды, Арам өзү һай верди</i> (М. Ибрагимов) «Как только Фирудин нажал кнопку звонка, Арам сам откликнулся».	<i>Зеки йолдашын тәшәбүсү илә Абшерон ярым адасында бир нефт ятығынын ачылмасы һамыныа мә'лумдур</i> «Открытие по инициативе товарища Зеки на Апшеронском полуострове новых нефтяных залежей известно всем»; <i>Мәтәл галанлар сизә мұрақизәт әдир</i> «Нуждающиеся обращаются к Вам»; <i>Гардашығымыз яшадыҗа бүтүн арауларымыз чатаңағыз</i> «Благодаря нашей дружбе, мы сумеем достичь своей цели»; <i>Фирудин гапынын әэнкини басдыҗа Арам өзү һай верди</i> «При нажатии Фирудином кнопки звонка Арам откликнулся сам».

подлежащим и сказуемым (алан относится ко всем ламам) и использование средств связи (союзы, интонация и т. д.) между главным и придаточным предложениями. Вышеуказанному примеру может соответствовать сложноподчиненное предложение: *О норманы ки сиз алырсыныз, мән дә алырам* «Ту норму, которую вы получаете, и я получаю».

В азербайджанском языке, где широко представлена союзная связь, наличие самостоятельного подлежащего не может служить основным признаком придаточного предложения. Таким признаком может быть только наличие сказуемого, выраженного личной формой глагола. Слово же, стоящее в причастных оборотах в именительном падеже и относящееся к причастию, нельзя считать подлежащим, так как оно не имеет при себе сказуемого, выраженного личной формой глагола. То, что некоторые тюркологи считают в причастных оборотах подлежащим, соответствует первой части определительного словосочетания, т. е. определению, в котором родительный падеж выпал и в современном азербайджанском языке не употребляется. Такое явление встречается и в других тюркских языках. Ср., например, в каракалпакском языке: *Биз ауылга барымыс керек — биздин ауылга баруымыс керек* «Мы должны поехать в аул»¹.

3

Для уточнения признаков азербайджанских придаточных предложений, а также для установления научно обоснованных принципов их классификации необходимо уяснить современное состояние этих предложений.

В развитии придаточных предложений в азербайджанском языке намечается два пути. Первый путь — соединение двух простых предложений на базе сочинения, причём одно из них, в связи с дальнейшим совершенствованием грамматического строя языка и развитием подчинительных союзов, постепенно становится подчиненным, поясняя одно слово, группу слов главного или все главное предложение. Второй путь развития придаточных предложений — развитие их из причастных и деепричастных оборотов.

На основании материалов истории азербайджанского языка можно заключить, что основным является именно первый путь. Если обратиться к письменным памятникам азербайджанского языка начиная с XIII в., то можно обнаружить все виды придаточных предложений с подчинительными союзами.

Переходя к описанию современного состояния сложноподчиненных предложений в азербайджанском языке, необходимо в первую очередь объяснить средства связи, при помощи которых придаточные предложения соединяются с главным. Для азербай-

¹ См. Н. А. Баскаков, Развитие языков и письменности народов СССР. (На материале тюркских языков), ВЯ, 1952, № 3, стр. 36.

байджанского языка важнейшим средством связи и основным показателем синтаксических отношений между придаточным и главным предложениями являются подчинительные союзы: *ки* «что»; *хуя* «будто, будто бы, как будто»; *ахэр* «если», *хэрчэнд* «хотя, несмотря», *элэ бил* «как будто».

Основным подчинительным союзом, связывающим придаточные предложения с главным, является союз *ки*. Он встречается либо отдельно, либо в составе сложных союзов.

Союз *ки* многозначен, так как при помощи этого союза с главным предложением связываются почти все придаточные предложения (кроме условного и уступительного). Для конкретизации значения союза *ки* в главном предложении употребляются соотносительные слова, большей частью указательные местоимения: *элэ*, *белэ*, *бу*, *о* и т. д. С другой стороны, союз *ки*, в соединении с вопросительными неопределенными местоимениями, или со словами, имеющими значение времени или места, уточняет типы придаточных предложений.

Характерной чертой азербайджанского сложноподчиненного предложения является употребление в начале придаточных предложений сложных союзов, образовавшихся на основе союза *ки*: *ким ки* «кто»; *элэ ки* «как, как только»; *хара ки* «куда»; *харада ки* «где»; *харадан ки* «откуда»; *нэ гэдэр ки* «сколько»; *незэ ки* «как»; *о ерэ ки* «куда»; *о ердэ ки* «где»; *о ердэн ки* «откуда»; *онда ки* «когда»; *о заман ки* «когда»; *нэ заман ки* «когда»; *о хун ки* «когда»; *ладам ки* «так как, раз, поскольку» и т. д. Например: *харада ки сэн варсан, орада ишимиз яхши хедир* «Там, где ты бываешь, там наши дела идут хорошо»; *Элэ ки Мейман хэлди, мустантиг өзү тэнвишэ дүшдү* (С. Рагимов) «Как только пришел Мейман, следовательно растерялся»; *Онда ки фэсли яэ олур, хэзэ, хүндүэ тараз олур* (А. Сихат) «Когда наступит весна, день и ночь бывают равны»; *Нэ гэдэр ки бу гуру синэмдэ нэфасим вар, сэн оху* (С. Рагимов) «Пока я дышу, ты учишься».

Помимо союзов, в азербайджанском языке для связи придаточных предложений с главным служат союзные слова. В этом случае для установления типа придаточного предложения важное значение имеет также соотносительное слово в главном предложении. Приведем примеры союзных и соотносительных слов: *ким...* «кто» — ... *о* «что»; *хара...* «куда» — ... *ора* «туда»; *хара...* «куда» — ... *орая* «туда»; *харада...* «где» — ... *орада* «там»; *харадан...* «откуда» — ... *орадан* «оттуда»; *нэ вахт...*, *ха вахт...*, *начан...* «когда» — ... *о вахт...*, ... *о заман...*, ... *онда* «тогда»; *незэ...* «как» — ... *элэ...*, ... *элэ дэ...*, ... *элэчэ дэ* «так, также»; *нэ гэдэр...* «сколько» — ... *о гэдэр* «столько».

Для связи составных частей сложного предложения в азербайджанском языке служат также некоторые аффиксы, например, аффиксы условной формы. Они являются характерными для сложноподчиненных предложений синтетического типа.

На основании сказанного можно заключить, что придаточные предложения в азербайджанском языке обладают следующими признаками: 1) придаточные предложения выражают относительно законченную мысль; 2) сказуемые придаточных предложений обязательно должны стоять в личной форме; 3) средствами связи придаточного и главного предложений являются союзы, союзные слова и аффиксы условной формы.

4

Сложноподчиненные предложения по их структуре и средствам связи придаточных предложений с главными можно разделить на три группы: 1) сложноподчиненные предложения аналитического типа; 2) сложноподчиненные предложения синтетического типа; 3) сложноподчиненные предложения аналитико-синтетического типа.

В сложноподчиненных предложениях аналитического типа связь между придаточными и главными предложениями менее тесная, и поясняющая мысль, выраженная придаточными предложениями, относительно самостоятельна. Связь между придаточными и главными предложениями в них осуществляется только при помощи подчинительных союзов и союзных слов. Некоторые из этих союзов и союзных слов находятся в позиции между главным и придаточным предложениями. К ним относятся: *ки* «что»; *хунки*, *она хэрэ ки* «потому что»; *санки* «будто, как будто»; *хуя* «как будто»; *белэ ки* «так что» и т. д. Ср., например: *Сэн хэмшэ дейирсэн ки, ики айдан сонра хэлэзж* (М. Ибрагимов) «Ты всегда говоришь, что он через два месяца придет»; *Хуляэ буна этираз этмэди, хунки анасынын хасийэтинэ яхши бэлэд иди* (Г. Мусаев) «Гюляз не возражала против этого, потому что хорошо знала характер своей матери». Другие союзы употребляются и в начале придаточных предложений. К ним относятся: *ахэр* «если», *хэрчэнд* «хотя»; *ким ки* «кто»; *элэ ки* «как только»; *харада ки* «где»; *харадан ки* «откуда»; *о ердэ ки* «там где»; *о ердэн ки* «откуда»; *о ерэ ки* «куда»; *нэ заман ки* «в то время, когда»; *онда ки* «когда»; *о хун ки* «в тот день, когда»; *нэ гэдэр ки* «сколько»; *незэ ки* «как, как только». Ср., например: *О хун ки парлады шаларын тазы, сэн олду бир черэж, бир хагг мөнтазы* (С. Вургун) «В тот день, когда стала блестеть корона царей, ты стал нуждаться в куске хлеба и в праве».

Синтетический тип сложноподчиненного предложения менее распространен. В азербайджанском языке только условное и уступительное предложения являются синтетическими. В сложноподчиненных предложениях синтетического типа связь между придаточными и главным предложениями более тесная, чем в предложениях аналитического типа. Формами связи главного и придаточного предложений в сложноподчиненных предложениях этого типа являются специальные формы глагола и главным образом условные и уступительные формы. Ср., например: *О разы олса, башгалары разы олмаз* (Д. Джабарлы) «Если он согласится, то другие не согласятся».

Однако в некоторых сложноподчиненных предложениях с придаточным, сказуемое которого выражено условной формой, можно встретить также и сочинительный союз *да, да*, придающий условному придаточному предложению уступительный характер, например: *Сəһər чəздən ачылмышдысə да, кəй нəлə дə айдын кəрунмүрдү* (С. Сулейманов) «Хотя уже давно настало утро, небо было еще не совсем ясным».

Сложноподчиненные предложения аналитико-синтетического типа представляют собою переходные конструкции между синтетическим и аналитическим типом сложных предложений.

Придаточное сложноподчиненного предложения аналитико-синтетического типа по сравнению с придаточным сложноподчиненных предложений аналитического типа более тесно связано с главным предложением посредством союзных слов: *ким* «кто»; *һара* «куда»; *һарада* «где»; *һарадан* «откуда»; *нə вəхт, һавəхт, һачан* «когда»; *нəгəдər* «сколько»; *нəзə* «как» и аффикса условной формы глагола, например: *Ким мəним кузүмə кəтирирсə шəк, бу мейдэн бу да мən қəлсин қулашəк* (С. Рустам) «Кто сомневается в моей силе, вот — арена, вот — я, пусть идет бороться»; *һара қетсən, бир парча чəрəйин вəр* (Г. Мехти) «Куда ни пойдешь, везде тебе кусок хлеба есть»; *Нə вəхт дəsən, о вəхт қəлəрəм* «Когда скажешь, тогда я и приду».

5

Независимо от типа конструкций сложноподчиненных предложений все придаточные предложения по своей синтаксической функции делятся на: 1) придаточные предложения подлежащие; 2) придаточные предложения сказуемые; 3) придаточные предложения определительные; 4) придаточные предложения дополнительные; 5) придаточные предложения образа действия; 6) придаточные предложения меры и степени; 7) придаточные предложения сравнительные; 8) придаточные предложения времени; 9) придаточные предложения места; 10) придаточные предложения причины; 11) придаточные предложения цели; 12) придаточные предложения следствия; 13) придаточные предложения условные; 14) придаточные предложения уступительные.

Придаточное предложение подлежащее имеет аналитический и аналитико-синтетический типы.

К аналитическим предложениям относятся предложения типа: *О кимдир ки, бу өлкəйə верди гуртулуш* (О. Сарывелли) «Кто тот [человек], который дал свободу этой стране»; *Ким ки мəтəл гəлйир, о сизə мұрақуəт əдир* (М. Сулейманов) «Кто нуждается, тот к нам и обращается».

Аналитико-синтетический тип придаточного предложения подлежащего встречается не часто, например: *Ким бурадан кетмəк истəйирсə, əлини гəлдирсин* (А. Садыг) «Кто думает идти отсюда, пусть поднимет руку».

Придаточные предложения сказуемые имеют только аналитический тип, например: *Мəһдинин арузу бу иди ки, қəз-тəз єнə дə рəссамлығə гəйытсын* (И. Гасимов, Г. Сеидбеили) «Мечта Мехти заключалась в том, чтобы рано или поздно опять вернуться к художеству».

Определительные придаточные предложения имеют только аналитический тип: *Бу иш əлə бир ишдир ки, сən нəикки қəлоқия чəл һəттə астрономия əлə дə млыгул өлмəзə мəзбурсən* (А. Садыг) «Это такая работа, что ты обязан заниматься не только географией, но и астрономией»; *Мən бир мұстəннигəм ки, бұтұн ишлəри ачарам* (С. Рагимов) «Я такой следователь, что все дела открою»; *Оғул лəзəмдир ки, бу нефти ерин зəнкəриндən дартыб чығартсын* (М. Сулейманов) «Требуется сын герой, который смог бы вырвать эту нефть из лап земли».

Одним из наиболее распространенных видов придаточного предложения является придаточное предложение дополнительное, которое имеет только аналитический тип: *Фəрһад өз-əзунə сөз верди ки, һər шейи атыб оғуызғə* (Д. Джабарлы) «Фархад дал себе слово, что все бросит и будет учиться»; *Мұстəнниг нəки деди, о əзды* (С. Рагимов) «Что бы ни сказал следователь, тот все записал».

Распространенным видом придаточного предложения образа действия является аналитический тип, например: *Камал сəзунү əлə деди ки, артығ данышмəзə имкən гəлмəмышды* (Д. Джабарлы) «Камал свое слово сказал так, что разговор уже был не нужен»; *Сиз əлə данышырсыныз ки, қуя бу мəсəлəнин нəл-*

минин сизə һеч дəхли йохдур (М. Сулейманов) «Вы так говорите, как будто разрешение этого вопроса не касается вас».

Кроме аналитического типа, иногда встречаются придаточные предложения образа действия аналитико-синтетического типа, например: *Сən нєдə җəстəрмисəнə, мən дə əлə йохламышам* (С. Рагимов) «Как вы указали, так я и проверил».

Придаточные предложения меры и степени имеют аналитический и аналитико-синтетический типы, причем аналитический тип является наиболее распространенным: *Бурада о гəдər оғағ яһыр ки, саймагла гуртармағ олмур* (М. Сулейманов) «Здесь столько горит огней, что сосчитать невозможно». *Нə оғдər ки гардашлығымьа яшайыр, бчтүн арзуларымьа чатағазығ* (М. Ибрагимов) «Поскольку живет наша дружба, мы достигнем всех наших желаний».

Синтетический тип придаточного предложения меры и степени встречается значительно реже, например: *Нə гəдər дєсəн, материал ғар* (С. Рагимов) «Сколько бы ты ни потребовал, материал есть».

Сравнительные придаточные предложения имеют только аналитический тип: *һовуздакы ғəғвəрəдєн əтрафа су əтилирди, санки нарын яғшы яғырды* (М. Сулейманов) «Вода из фонтана так разливалась, как будто шел мелкий дождь».

Распространенным типом придаточного предложения времени является аналитический тип, например: *Университетддн ениғə узағлашмышдыҗи, орта бойлу, ғəғəл ғə ярашығлы бир ғыз Мехмана яхынлашды* (С. Рагимов) «Как только Мехман отошел от университета, к нему подошла среднего роста красивая девушка». *Нə заман ки синғсинə ашығ басар сазаны, шеир дейиб тəсвир əдər өлкəмин сазыны, əллər она ашығ — дейə, ғұл дəстəлэр бағышлар* (С. Вургун) «Когда певец прижмет к груди свой сааз, сложив стихи, опишет пышность нашей страны, народы его назовут ашугом и наградят его букетом цветов».

Кроме аналитического типа, придаточные предложения времени имеют еще аналитико-синтетический тип, например: *һər нə вахт ғəлсəниғ, биртикə чəрəк тапарығ, йолдаш Ваһидов* (С. Рагимов) «Когда бы вы ни пришли, а кусок хлеба найдется, товарищ Вигидов».

Придаточные предложения места имеют аналитический и аналитико-синтетический типы. В языке современной художественной литературы аналитико-синтетический тип придаточного предложения места употребляется чаще, чем аналитический тип, например: *О ердəки ғунəш ғұлэр, дəниғ ғұлэр, ғөй ғұлэр, андырыр ки, о торпазын əнғиғн тəбиғти ғар* (С. Вургун) «Там, где смеется солнце, море, небо, — там все свидетельствует о богатстве природы» (аналитический тип); *һарада баллағм ерə дəшбисə, орадан ғантан ғуруб* (М. Сулейманов) «Там, где земля почувствовала удары моего топора, — там бил фонтан» (М. Сулейманов) (аналитико-синтетический тип).

Придаточные предложения причины имеют только аналитический тип: *Йолдашлар, мən өзүмү чəх хошбəхт һесəб əлəйирəm ки, ғетдим о шəһəрлəри ғөрдүм* (А. Абулгасан) «Товарищи, я считаю себя очень счастливым, что поехал и увидел эти города»; *Аяғы артығ бир гəдər ағрымьарды, чүнки диядєн юғары ғыласыны ғəсмишдилэр* (Д. Джабарлы) «Нога больше не болела, потому что ему сделали операцию».

Придаточное предложение цели имеет только аналитический тип: *Мən сəни чəғырмышам ки, ғəлиб ғəзикдийини сəбəбини дейдєсən* (А. Абулгасан) «Я тебя вызвал для того, чтобы ты объяснил причину твоего опоздания».

Придаточные предложения следствия имеют только аналитический тип: *Ағшама яғын һэйəтə о гəдər адам йығымьады ки, митинг əлəмəк вəзиб олду* (А. Абулгасан) «К вечеру во дворе столько собралось народа, что провести митинг стало необходимым».

Придаточные предложения условные относятся к синтетическому типу сложноподчиненного предложения, например: *Əғər мəним кəмəйим лағым олса, бир йол таныб хəбэр вєрəрди* (Г. Мехти) «Если моя помощь понадобится, он найдет путь и сообщит мне».

Кроме синтетического типа, условные придаточные предложения имеют и аналитический тип, встречающийся очень редко: *Əғər киһисən, дур аяғə əлбəға ғурушағ* (Г. Мехти) «Если ты мужчина, вставай, будем драться».

Придаточные предложения уступительные относятся к синтетическому типу сложноподчиненного предложения, например: *О фикирлəрини мəндən ғилəтсə дə, мən ондан ғилəтмəйəтəйм* (Г. Мехти) «Хотя он скрывает свои мысли от меня, но я от него ничего не скрою»; *Онун ғəғлəри ачылдыса да, лакин бу ғəғлэр тəғəғə доғулмуш бир көрпə ғəзү кими батмағы базарьарды* (М. Энвер) «Хотя у него открылись глаза, но эти глаза, подобно глазам новорожденного, не умели еще смотреть».

Кроме того, в современном азербайджанском языке, правда очень редко, можно встретить аналитический и аналитико-синтетический типы уступительного придаточного предложения, например: *һəрчəнд ки Достəли Пəһмивандан бир-ики яш балағадыр,*

амма неч ондан кери галмыр (М. Сулейманов) «Хотя Достали на несколько лет был сложнее Пахливану, но он не отставал от него» (аналитический тип); *Ушаглар не эдэр халиш тидилерсе де, хасен дайы разы олмды* (Г. Мусаев) «Сколько бы дети ни просили, диди Гасан не соглашался» (аналитико-синтетический тип).

6

На основании всего сказанного выше, можно сделать следующие выводы:

1. При определении критериев сложноподчиненного предложения в современном азербайджанском языке следует исходить не из привычных традиционных схем или рассмотрения этих вопросов с точки зрения других языков, а из внутренних законов развития азербайджанского языка, выявлять его специфические черты и на их основе устанавливать признаки и принципы классификации азербайджанских придаточных предложений.

2. Учитывая пути развития сложноподчиненного предложения в азербайджанском языке и различный характер конструкций подчинения, нельзя отождествлять причастные и деепричастные обороты с придаточными предложениями.

3. Основным критерием при определении придаточного предложения в азербайджанском языке должен служить не факт самостоятельного употребления подлежащих в придаточных предложениях, а употребление сказуемого, выраженного личной формой.

4. Союзы и союзные слова в азербайджанском языке являются основными средствами связи придаточного предложения с главным.

М. Ш. Ширалиев

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема сложного, в особенности сложноподчиненного предложения является одной из самых трудных проблем синтаксиса дагестанских языков. Трудность эта обусловлена не только неизученностью синтаксического строя дагестанских языков, но и главным образом его специфическими особенностями. Последние заключаются в том, что, при слабом развитии подчинительных союзов для присоединения придаточных предложений к главному, вместо них используются в этих языках различные союзные выражения, частицы, послелоги, а также отглагольные формы со специальными аффиксами. При этом они не только выступают как средства синтаксической связи между предложениями, но имеют в ряде случаев также и другие функции и значения; что же касается предикативности, то у разных отглагольных форм она выявляется в различной степени в зависимости от синтаксического окружения. Все это чрезвычайно затрудняет строгое отграничение придаточных предложений от оборотов, не являющихся предложениями.

Наиболее употребительными формами грамматического выражения подчиненной, зависимой мысли в дагестанских языках являются отглагольно-именные, причастные и деепричастные конструкции. Подобные конструкции мы находим также в тюркских языках. На синтаксическую природу этих конструкций, как известно, существуют различные, противоречивые взгляды. Одни из языковедов безоговорочно считают их придаточными предложениями, другие — с некоторыми оговорками, а третьи вовсе не признают их предложениями. Но как бы они ни квалифицировались, нельзя, по нашему мнению, обойти их молчанием при изучении сложноподчиненного предложения, ибо предложения с этими конструкциями тесно примыкают к сложноподчиненному предложению, представляя собою определенную ступень в его развитии. Поэтому мы начнем с рассмотрения подобных конструкций.

Как и ряд других языковедов, мы относим упомянутые конструкции к придаточным предложениям в том случае, если отглагольное имя, причастие или деепричастие, выражая сказуемое, имеют свое особое подлежащее, отличное от подлежащего при главном сказуемом. Однако мы должны тут же оговориться, что даже при наличии самостоятельного подлежащего мы считаем эти конструкции только не д о с т а т о ч н ы м и придаточными предложениями особого типа.

Следует коснуться еще двух вопросов, прежде чем перейти к конкретному анализу фактического материала. Во-первых, нельзя игнорировать функциональные различия между причастно-деепричастными формами дагестанских языков, в частности лезгинского языка, и русскими причастиями и деепричастиями. Во-вторых, необходимо учесть, что придаточные предложения являются зависимыми, подчиненными и

что эта грамматическая зависимость в лезгинском языке часто находит выражение в особых формах зависимого сказуемого.

Переходя к рассмотрению фактов, мы начнем с масдарной конструкции. Масдар (т. е. именная форма глагола), с одной стороны, подобно имени, изменяется по падежам, а с другой, подобно глаголу, управляет определенным падежом и, выступая в роли сказуемого, может иметь при себе самые различные члены предложения. При этом падежная форма выражения субъекта зависит от семантики масдара (эргативный падеж при переходных глаголах и именительный — при непереходных).

Когда масдарная конструкция в предложении выполняет функцию подлежащего, ее невозможно рассматривать как особое предложение. Масдарная часть отличается от обычного именного подлежащего лишь тем, что она является сочетанием отглагольного имени с относящимися к нему словами, причем ни один из членов масдарной конструкции не может рассматриваться как грамматическое сказуемое. Предложение *Вун гъар юкъуа пакамахъ фад къарагъуни/чун глафтажубийиша* «Нас очень удивляет то, что ты ежедневно встаешь утром рано» (буквально: «Ты каждый день утром рано вставание нас очень удивляет») нет достаточных оснований рассматривать как сложноподчиненное. Такой же характер имеет и предложение, в котором масдарная конструкция выполняет функцию сказуемого. Например: *За мурд/ади гъаниа фин я* «Я желаю, чтобы ты отправился туда» (буквально: «Мое желание ты туда хождение есть»).

Несколько иное положение мы имеем в том случае, когда масдарная конструкция выступает в функции второстепенных членов. Здесь главная часть предложения выделяется как отдельное, главное предложение, а масдарная часть может рассматриваться как придаточное предложение или, по крайней мере, разрывнутый член: *Юлдаш татрихид/адам кефи дурхана* «У него испортилось настроение, оттого что не пришел товарищ» (буквально: «товарищ не прибытие...» — с окончанием местно-направительного падежа).

Больше оснований относить к придаточным предложениям причастные конструкции. Лезгинские причастия, за исключением одного (прошедшего совершенного времени), по своей звуковой форме полностью совпадают с соответствующими временными формами изъявительного наклонения глагола. Эти единые формы глагола-причастия выступают — в зависимости от их позиции в предложении — то как глаголы, выполняющие функцию самостоятельного сказуемого в отдельном предложении, то как причастия, функционирующие в качестве определения или зависимого сказуемого в определительном предложении. Например: 1) *За ктаб къачурган* «Я покупал книгу» и 2) *За къачузай ктаб* «Книга, (которую) я покупал».

Такое же морфологическое неразличение некоторых причастий и обычных временных форм глагола мы находим и в тюркских языках, в частности в кумыкском и башкирском. Исследователь этих языков Н. К. Дмитриев пишет, что «глагольные образования на -гъани на -асаг настолько богаты по своим функциям, что роль причастий — это только одна сторона их употребления»¹. Приведем один пример из кумыкского языка, где из двух простых предложений путем простого слияния при помощи интонации образовано одно сложное предложение: 1) *Ватмакълар къуртудугъан* «Болота осушены» и 2) *Авлакъларда бу йыл яхшы ашлыклар битген* «На полях в нынешнем году уродились хорошие хлеба» > *Ватмакълар къуртудугъан/аслакъларда бу йыл яхшы ашлыклар битген* «На полях, (где) осушены болота, в нынешнем году уродились хорошие хлеба».

Следовательно, одна и та же форма выполняет две функции — функцию сказуемого и функцию определения. Выступая в качестве определения к члену следующего за ней предложения, она не утрачивает полностью функцию сказуемого по отношению к своему подлежащему и другим членам, вместе с которыми она составляла простое предложение, но, оставаясь сказуемым, качественно отличается от сказуемого самостоятельного предложения. Устанавливая с другим, главным, предложением определительную связь, сказуемое первого предложения из независимого превращается в зависимое, но все же остается сказуемым по отношению к своему подлежащему. Чтобы показать это наглядно, приведем пример из лезгинского языка: 1) *За магазиндай са ктаб къачуртай* «Я собирался купить одну книгу в магазине», 2) *Ам Мусадй къачуна* «Ее купил Муса». Соединив эти два предложения, мы получим одно сложное: *За магазиндай къачузай/ктаб Мусадйкъачуна* «Муса купил в магазине книгу, (которую) я собирался купить» (буквальный перепод невозможен, приблизительно же он соответствует такому неуклюжему обороту: «Я в магазине покупал || (мною) покупаемую книгу Муса купил»).

Слово, бывшее прямым дополнением в первом предложении, теперь входит в состав второго в качестве его дополнения, определяемого причастием, при помощи которого первое предложение вступает со вторым в определительные, зависимые отношения.

¹ Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М. — Л., 1948, стр. 190. См. также соответствующие главы его «Грамматики кумыкского языка» (М. — Л., 1940).

Двусторонняя связь причастия особенно наглядно выявляется в аварском языке благодаря наличию в нем согласующихся классных показателей: *Axl'madiça tlexh bosaray яс ячлана* «Пришла дочь || девушка, (для которой или у которой), Ахмед купил || взял книгу». Начальный классный формант *б* причастия связывает его с прямым дополнением *tlexh*, а конечный формант *й* — с определяемым им подлежащим главного предложения *яс*.

Следует также отметить, что в качестве одного из членов причастной конструкции нередко используется возвратное местоимение, замещающее присутствующий в главной части член предложения. По синтаксической функции такое местоимение до некоторой степени походит на русское относительное *который* или *чей*; выступая в качестве подлежащего причастного придаточного предложения особого типа, оно способствует усилению его относительной самостоятельности. Например: *Ада вичи къачур ктаб стхадиз гана* «Книгу, которую он купил || взял, он отдал брату» (буквально: «Он сам купивший || купленную книгу отдал брату»); *Ада вич фейи шеггердикай эхилатна* «Он рассказал о городе, в который он ездил» (буквально: «Он, сам ездивший || куда ездил, о городе рассказал»).

Подобное употребление возвратного местоимения вполне соответствует грамматическим нормам языка, когда оно не относится к определяемому причастием слову. Употребление же его для замещения того же члена, что определяется причастием, мы встречаем сравнительно редко, главным образом в стихотворной речи. Например: *Ислагъ-вилин женина чеб садъганвай гегметчийрин гъакъикъи дустар я чун* «Мы подлинные друзья трудящихся, которые объединились» [буквально: «Сами (объединившиеся) в борьбе за мир»]. Подобное местоимение легко может быть устранено из фразы без ущерба для смысла, а иногда оказывается и совершенно лишним, так как придает фразе некоторую искусственность. В даргинском литературном языке перевод русских союзных слов *который*, *какой*, *чей* возвратным местоимением и постановку определительного словосочетания после определяемого слова, что является результатом калькирования русских определительных придаточных предложений, литературные работники — даргинцы, однако, уже считают вполне нормальным явлением. Так, предложение *Axl'cad ancl'bukъulmazib илди баришдешалчил глербуклуи саби гъар жу-рала динна г'ела гъаладиклуми ва диннати гъанбиклуми т'инт'идънилич, чун ира советский адапти рух'лашал чулагъбирети ва г'яшбирети* («Дагъистан правда» 27 VII 1954) представляет собою перевод следующей русской фразы: «В ряде случаев они примиренчески относятся к распространению различного рода предрассудков и суеверий, которые духовно калечат и принижают советских людей» (Передовая «Правды» 24 VII 1954).

«Нормальность» такого калькирования, по нашему мнению, весьма условна и даже сомнительна. Во-первых, возвратное местоимение даргинского языка, включенное в причастную конструкцию, все же не утрачивает своего первоначального реального значения и не приобретает союзной функции русских местоимений *который*, *какой*, *чей*. Во-вторых, оно не преобразует причастную конструкцию в развитое придаточное предложение со сказуемым в форме *verbum finitum*. Место сказуемого в определительном словосочетании или придаточном предложении особого типа, как и прежде, занимает причастие. Приведет ли подобное использование возвратного местоимения к превращению его в союзное слово, а причастной конструкции — во вполне развитое придаточное предложение, сказать трудно, но тенденция такого рода ясно видна из указанных примеров.

Причастную конструкцию особого типа составляет также и субстантивированная форма причастия. Она образуется при помощи суффиксов *-ди* для единственного и *-бур* для множественного числа. Число причастия зависит от числа существительного, названного в другой части предложения или подразумеваемого в данном контексте. Благодаря этим суффиксам, причастие приобретает способность склоняться, выполняя все синтаксические функции, свойственные существительному и таким путем выражая его синтаксические связи.

Агъмеда гъайиди за к'елна «Я прочитал ту, которую принес Ахмед» или: «Я прочитал принесенную Ахмедом»; *Чун фейиди колхоздин багъ тир* «(куда) мы ходили, был колхозный сад» (перевод причастным оборотом невозможен, буквально: «Мы пошедший/колхоза сад были»); *Чун фейибур колхоздин багълар тир* «(куда) мы ходили, были колхозные сады» (буквально: «Мы пошедшие/колхоза сады были»). Окончание множественного числа причастия здесь относится не к местоимению *мы*, а к существительному *сады*. Об этих конструкциях с субстантивированным причастием, изменяющимся по числам, нужно сказать то же, что сказано выше о масдарной конструкции в функции подлежащего или сказуемого.

Более интересными с точки зрения развития сложного предложения в лезгинском языке и, в частности, развития функций суффикса субстантивации причастия *-ди* являются случаи с субстантивированными причастиями, не изменяющимися в числе. Здесь суффикс причастия служит лишь средством связи причастного придаточного предложения с главным, указывая, что первое относится ко второму как подлежащее, дополнение или обстоятельство. Например: *Им вичи статья тирди абаз чиргъана*

(А. Фатахов) «Он узнал, (что) это является его статьей» (буквально: «Эта своя статья являющаяся/ему стало известно»); *За авайвал лагъайди ам залай рази тьаь* (П. К. Услар) «Когда я сказал правду, он остался мною доволен». Причастные придаточные предложения в этих случаях выполняют функцию различных членов главного предложения: в первом примере — функцию подлежащего, во втором — обстоятельства времени. Постановка имен во множественном числе в таких предложениях не вызывает изменения числа причастия, например: *Ибур чин статъяар тирди абурз чиргана* «Они узнали, что это их статьи». Суффикс *-ди*, достигнув наибольшей степени абстракции, в данном случае превратился в средство связи придаточного предложения с главным.

Специальные формы «временного подчинения» мы условно называем деепричастиями, хотя по морфологическим признакам и синтаксическим связям они принципиально отличаются от русских деепричастий. Значение некоторых из них по-русски может быть передано только при помощи союзных выражений «как только», «прежде чем», «до того как», «после того как» и т. д. Это положение распространяется и на все другие лезгинские деепричастия в тех случаях, когда они входят в обороты с особым подлежащим, отличным от подлежащего главного сказуемого, что невозможно для русских деепричастных оборотов.

Рассматриваемые формы образуются при помощи различных суффиксов от причастий и отдельных форм изъявительного наклонения глагола; суффиксы в них служат средствами связи придаточного предложения с главным. Приведем некоторые из этих форм, образованных от одного глагола и употребляемых в роли сказуемого придаточного предложения: *Зун фейила*, *Агмед жсанамай* «Когда я пошел (т. е. пришел), Ахмед еще спал»; *Зун кIвалай фейивалди*, *Агмед атана* «Как только я из дома ушел, пришел Ахмед»; *Зун шюмадиз фидай.а* (или: *физвай.а*), *Агмед кучмедал ацукнавай* «Когда я шел в школу, Ахмед сидел на улице».

Сказуемые придаточных предложений в первом и во втором примерах выражены деепричастиями, образовавшимися от причастия *фейи* «пошедший» при помощи суффиксов *-ла* и *-валди*. В третьем примере деепричастие образовано от формы прошедшего несовершенного времени глагола, совпадающей с формой причастия будущего-общего времени *фидай* (или прошедшего — *физвай*). Эти формы без деепричастного суффикса могут выступать как в роли определения, так и в роли сказуемого отдельного, самостоятельного предложения. Следовательно, деепричастный суффикс, как мы видим из вышеприведенных примеров, выполняет функцию средства присоединения придаточного предложения как развернутого обстоятельства времени к главному.

Таким образом, эти специальные формы, условно называемые нами деепричастиями, обладая значительной степенью предикативности, способны сочетаться со своим особым подлежащим и образуют зависимые, придаточные предложения особого типа. Рассмотрим в небольшой статье все отглагольные формы и служебные слова, при помощи которых выражается зависимое сказуемое придаточного предложения, конечно, невозможно. Поэтому остановимся еще только на одной глагольной форме, которая, будучи снабжена соответствующим суффиксом, выражает сказуемое различных придаточных предложений. Это форма условного наклонения глагола.

Условное наклонение в лезгинском языке образуется от изъявительного наклонения глагола, а также от причастия при помощи суффикса *-mla*, генетически восходящего к вопросительному наречию *mla?* «почему?» (которое ныне употребляется как самостоятельное слово лишь в отдельных говорах), например: *квачунамIla* «если взял», *квачунамIla* «если берет» и т. д.

Условная форма глагола, во-первых, образует условное придаточное предложение, например, *Камил физватIla, ва адаь пил цугуда* «Если Камиль отправляется, я дам ему деньги»; во-вторых, условной формой выражается сказуемое подлежащих и дополнителей придаточных предложений, развившихся из вопросительных предложений со значением косвенного вопроса. Например: *Ваз, Муса жтанамIla, чидани?* «Знаешь ты, Муса вернулся или нет?»; *За садра, кнали ханватIla, акван* «Я сперва посмотрю, отелилась ли корова» и т. д.

То же самое можно отметить и для тюркских языков, где в качестве сказуемого условного придаточного предложения выступает специальная условная форма глагола. Например, в кумыкском: *Ол кеп мамукъ жыйса, оггар савгъат бережеклер* «Если он соберет много хлопка, ему дадут премию».

В приведенном выше примере условное придаточное предложение соединено с главным только при помощи условной формы, без каких-либо союзов, хотя во всех упомянутых языках — в одних больше, в других меньше — употребляется как необходимый персидский союз *эгер*. Условная форма глагола выражает только зависимое сказуемое придаточного предложения. В этом отношении она не отличается от тех форм, которые называются нами деепричастиями времени и выражают также зависимое сказуемое придаточных предложений обстоятельства времени. Правда, в языках, где глагол спрягается по лицам, условная форма принимает личные окончания, например, в азербайджанском: *Сиз бизз калсаниз, биз чох шад оларыз* «Если вы к нам

придете, мы будем очень рады». Но от этого сказуемое придаточного предложения не становится независимым, и образованное с его участием условное предложение не может употребляться самостоятельно, так же как конструкции с деепричастными формами в сказуемом. В отношении зависимого характера сказуемого нет никакого различия между условной формой *динлэрсэ* «если, послушает» и деепричастной *динлэрэн* «когда, слушал»;

*

Мы вкратце охарактеризовали основные формы выражения зависимого сказуемого специфических конструкций в лезгинском языке, условно называемых нами недостаточными придаточными предложениями особого типа. Эти формы не в одинаковой степени обладают предикативностью. Конструкция с зависимым сказуемым в условной форме глагола почти всеми языковедами безоговорочно относится к придаточным предложениям.

Конструкции же с деепричастными формами некоторые языковеды, как уже было сказано, не признают предложениями, хотя они по способу образования и способности выражения зависимого сказуемого почти не отличаются от конструкций с условной формой глагола. Конструкции с условной и с деепричастными формами имеют все признаки, позволяющие считать их в одинаковой степени зависимыми, придаточными предложениями особого типа (достаточная смысловая и интонационная ограниченность от главной части сложного предложения, достаточной степени предикативность, наличие всех членов, какие может иметь предложение, и наличие специальных аффиксов и послелогов для выражения связи между придаточным и главным предложениями).

В масдарных и причастных конструкциях некоторые из этих признаков (пауза, предикативность) в отдельных случаях проявляются несколько слабее, но и они, за исключением указанных выше случаев выполнения ими функций подлежащего или сказуемого, в общем могут быть отнесены к недостаточным придаточным предложениям.

Рассмотренные нами конструкции нельзя отождествлять с причастными и деепричастными оборотами русского языка лишь на том основании, что они в какой-то мере соответствуют друг другу. Чтобы правильно определить их грамматическую природу, по нашему мнению, необходимо, отказавшись от отождествления грамматических категорий двух разнотипных языков, глубже изучить факты исследуемого языка.

Перейдем теперь к рассмотрению некоторых средств и способов присоединения к главному таких придаточных предложений, сказуемое в которых выражается вполне предикативными спрягаемыми формами глагола, выступающими в качестве сказуемого самостоятельного предложения. Следует начать со своеобразного типа сложного предложения с прямой или косвенной речью, так как именно оно послужило, очевидно, началом для развития некоторых сложноподчиненных предложений: *Абур ги патав атайбур и*, — *лагана Айшади* (А. Аг.) «Они ко мне пришли, — сказала Айша»; *Ада вич пака къведач лугъуда* «Он говорит, что завтра он не придет» (буквально: «Он, сам завтра не придет, говорит»). В дальнейшем развитии языка некоторые формы глагола *лугъун* «говорить, сказать», выступая сначала в роли отдельных членов предложения, постепенно приобретают функцию средства связи между предложениями.

Как на один из моментов на этом пути следует указать на употребление формы прошедшего I от данного глагола при сказуемом, выраженном каким-либо другим глаголом речи. Например: *Ни эверзава, ччан халадин?* — *лагана табар къуна Рабията* «Кто зовет, милый мой?» — спросила (буквально: «сказав спросила») Рабият; *Къуи гваф саэрай*, — *лагана жаваб гана Билала* «Большое вам спасибо, — ответил (буквально: «сказав ответил») Билал».

Основную функцию сказуемого главного предложения здесь несут глаголы *жугуна* «спросил» и *жаваб гана* «ответил», а глагол *лагана*, имея значение деепричастия, в данном случае выполняет как бы функцию связи между прямой речью и словами автора повествования. Здесь глагол-деепричастие *лагана* еще сохраняет свою основную семантику, хотя и несколько ослабленную, что уже является началом развития у него союзной функции.

Условно называемые нами деепричастными формы *лугъуа* «говоря» и *лагана* «сказав» в настоящее время широко употребляются в языке как союзные выражения, при помощи которых присоединяются к главному некоторые дополнительные и обстоятельственные придаточные предложения. Например: *Къе са чна шадвал ийизва тавана фикир ийизвани уна?* «Ты думаешь, что одни мы радуемся сегодня?» (буквально: «Сегодня одни мы радуемся сказав, думаешь ли ты?»); *Гила бубадинни гин араба Ибрахим ни фад кутягъадатла лугъуз соревнование башиламишна* «Теперь между отцом и сыном началось соревнование в том, кто раньше закончит работу» (буквально: «... кто раньше закончит работу говоря...»); *Нехир жъведач*

лугъуз югъ нани жедачни? «Оттого, что стадо не возвращается, рази не наступит вечер?» (буквально: «Стадо не возвращается говоря, вечер не наступит разве?»).

В функции союза употребляется также и причастие *лагъай* «склонный/сказавший», при помощи которого присоединяется придаточное предложение, определяющее какой-либо член главного предложения, выраженный одним из таких слов, как *хабар* «весть, известие», *фикир* «мысль», *гаф* «слово». Например: *Буба хъевезва лагъай хабарди ам гаф шад авунай* «Весть о том, что возвращается отец (буквально: «отец возвращается сказанная весть»), очень обрадовала его».

Тот же глагол *лугъун* участвует в образовании союзного выражения *вучиз лагъай-тла*, при помощи которого присоединяется к главному предложению придаточное причини. Например: *Чун и йифиз айвандик ксана, вучиз лагъайтла нбале гзаф чимидай* «В эту ночь мы спали на балконе, так как в комнате было очень жарко». Союзное выражение состоит из вопросительного наречия *вучиз?* «почему?» и условной формы глагола *лагъайтла* «если скажут». Оно, повидимому, представляло собой условное предложение, которое приобрело союзную функцию, постепенно утратив свое первоначальное значение.

Подчинительная связь между предложениями устанавливается также при помощи соотносительных местоимений и наречий. Например: *Ни хъсандиз кле-заватла, гьам атурай* «Пусть придет тот, кто хорошо учится»; *Ни хъсандиз кле-заватла, гьам чна экскурсияди ракурда* «Кто хорошо учится, того мы пошлем на экскурсию»; *Вун мус атайтла, гьа члавуз ва ваз таб гуда* «Когда ты придешь, тогда я и дам тебе книгу» и т. д.

Сказуемое придаточного предложения в таких оборотах выражается условной формой глагола. Однако не условная форма здесь определяет характер синтаксических отношений придаточного предложения к главному, а указательное местоимение или наречие в составе главного предложения.

Как на одно из исконно лезгинских средств связи предложений следует указать также на модальную частицу *кьван*. В сложном предложении она, соответствуя приблизительно союзным выражениям русского языка *каждый раз, как (когда); до тех пор, пока; раз* выполняет функцию союза, связывающего с главным один из вилдов условного и некоторые обстоятельственные придаточные предложения. Например: *Са хун! нефес ччанда амай кьван, Ватандин реке эцигда за ччан* (Ш. Мурадов) «Пока в теле остается хоть один глоток дыхания, жизнь положу (отдам) я за Родину»; *Я стха, мад ваз акъвазиз тла-заватла кьван, ва вуч ийин* (А. Фатахов) «Раз ты хочешь остаться, брат, что же мне делать».

Условное придаточное предложение в лезгинском языке, как уже было сказано, выражается при помощи условной формы глагола. Однако в языке существуют заимствованные из персидского языка условные союзы *эгер* «если», *нагагь* || *гьаргагь* «если случайно; в случае, если». Хотя они вошли в язык очень давно, но особенно широкое употребление получили только после появления письменности на лезгинском языке. Эти союзы, при наличии в придаточном предложении сказуемого в условной форме глагола, не вносят ничего нового, существенного в содержание высказывания, но лишь грамматически оформляют его как союзное сложное предложение. Подобная тенденция к развитию и расширению союзного способа соединения предложений в лезгинском языке наблюдается и в других случаях.

Особого внимания в этом отношении заслуживает, наконец, союз *хьи* <ки, по происхождению являющийся персидским союзом *ke||ki*. Он широко распространен в соседнем азербайджанском языке, а из дагестанских языков — в табасаранском. В лезгинском языке союз *хьи* употребляется как в качестве прилагательной частицы с различными модальными значениями, так и в функции подчинительного союза. П. К. Услар в свое время писал, что лезгины иногда употребляют союз *ки*, но легко могут обойтись и без него¹. Союз *хьи* получил широкое распространение в лезгинском языке, особенно в последнее время в результате его литературного развития.

Приведем примеры на его употребление: *Ахпа адаз чирхана хьи, вичиз куьмек авурди Хидир-Ильяс тирди* (М. Эфендиев) «Потом он узнал, что ему помог Хадер-Илиаз». Здесь для соединения частей сложного предложения использованы одновременно союз *хьи* и форма сказуемого придаточного предложения (субстантивированное причастие-связка *тирди*). В следующем примере наряду с союзом *хьи* в придаточном предложении использовано служебное слово *чал* (буквально: «язык, речь»): *Сик/рез чирхана хьи, еич жанаевурди рекейдай чал* «Исипа узнала, что волк убьет ее».

А в следующем примере средством связи служит только один союз *Гьич вахт Мумкин тушки, винжирару, асандиз таб гуй* (П. К. Услар, 278) «Никогда невозможно, чтобы цепи удержали льва».

Значительный интерес с точки зрения развития сложного предложения в лезгин-

¹ См. П. К. Услар, Этнография Кавказа. Языковедение. VI — Кюринский язык, Тифлис, 1896, стр. 254.

ском языке и, в частности, развития функции союза *хьи* представляет следующее предложение: *Сиве авай сарар аватхна, адахъ виликай тек са кагъриба хьтин сас амай хьи, гьадани, рахадайла, аттарал алай пеш хьиз зурзас, адан ригунар мадни гьавурда дакъадайвал ийидай* (А. Искендеров) «Все зубы во рту у него выпали, остался лишь один передний зуб, похожий на янтарь, да и тот, дрожал, как лист на дереве, когда он говорил, делал его речь еще более непонятной».

Из этого примера мы возьмем лишь часть, интересующую нас, а именно два предложения, соединенные союзом *хьи*: ... *адахъ виликай тек са... сас амай хьи, гьадани...* *адан ригунар мадни гьавурда дакъадайвал ийидай* «...у него оставался лишь один передний зуб, да и тот... делал его речь еще более непонятной». Два предложения здесь связаны при помощи подчинительного союза *хьи*, однако смысловые отношения между ними носят чисто сочинительный характер. Эти отношения грамматически поддерживаются сочинительным союзом *ни* «и, да», присутствующим во втором предложении (*гьадани...*). Подчинительный союз *хьи* не вносит ничего нового в эти отношения, а лишь усиливает, делает более тесной грамматическую связь между предложениями, придавая ей характер подчинения, хотя ни одно из них не подчинено другому и не выполняет функцию члена другого.

Развитие подобных сложных предложений и расширение сферы употребления союза *хьи* происходит под влиянием русского языка, в частности, по аналогии с конструкциями так называемого относительного подчинения, например: *Все материалы были доставлены к сроку, что дало нам возможность немедленно приступить к работе*.

Мы могли дать лишь очень краткий обзор отдельных видов лезгинских отглагольно-именных, причастных и деепричастных конструкций, а также некоторых средств соединения компонентов сложноподчиненных предложений. Этот обзор позволяет сделать следующие выводы:

1. Причастно-деепричастные и отглагольно-именные конструкции дагестанских языков не укладываются в известные нам по русскому языку синтаксические схемы. Нельзя приравнивать эти конструкции ни к русским причастным и деепричастным оборотам, ни к развитым придаточным предложениям с союзами или союзными словами и сказуемым в форме *verbum finitum*. Они представляют собою специфические конструкции, обладающие такими свойствами, которые позволяют — при наличии у них своего подлежащего — отнести их к недостаточным придаточным предложениям особого типа. Степень предикативности этих конструкций неодинакова. В наибольшей степени обладают предикативностью деепричастные и особенно условные конструкции; больше всего сомнений в правомерности отнесения к придаточным предложениям вызывают масдарные и некоторые виды причастных конструкций. Задача исследователя заключается в дальнейшем углубленном изучении этих оборотов во всех родственных, а также и близких в структурном отношении языках, чтобы более точно определить синтаксическую природу и их место в системе средств и способов выражения сложной мысли в данных языках.

2. В литературе высказывалось мнение, что развитие сложного предложения может идти двумя путями: 1) путем слияния двух самостоятельных предложений и 2) путем постепенного превращения причастной, деепричастной или отглагольно-именной конструкции в придаточное предложение. Процесс преобразования указанных конструкций во вполне развитые придаточные предложения с союзом или союзным выражением в составе сложноподчиненных происходит медленно и сопровождается введением каких-либо лексических средств связи между придаточным и главным предложениями, но даже после появления особых союзных слов сказуемое придаточного предложения продолжает выражаться причастной формой (как, например, в приведенных выше предложениях с союзом *хьи* «что»).

Следует отметить, что между указанными двумя путями развития сложного предложения нет непреходимой грани. Способ соединения двух самостоятельных предложений в одно сложное мы находим не только в развитии по первому пути, но и в образовании того особого типа придаточного предложения, которое, казалось бы, должно служить иллюстрацией второго пути. Например, самостоятельное предложение со сказуемым в единой форме глагола-причастия присоединяется в качестве придаточного определительного к другому или посредством интонации (как в приведенном выше примере из кумыкского языка), или при помощи интонации и удалении члена первого предложения, повторяющегося во втором (как в лезгинском языке).

Возникновение и развитие сложного предложения из простого (второй путь) нужно понимать в том смысле, что член предложения, выраженный отглагольным именем, причастием или деепричастием, снабжается различными аффиксами и послеложными словами и обрастает всеми членами, какие может иметь предложение. Но о преобразовании таких конструкций во вполне развитое придаточное предложение мы судим по замене причастной формы сказуемого формой *verbum finitum* с использованием тех или иных союзных слов. Вопрос о двух путях возникновения и развития сложного предложения является исключительно трудным и нуждается в дальнейшем изучении и разрешении на фактическом материале различных языков.

3. Развитие сложноподчиненного предложения в лезгинском и других дагестанских языках в настоящее время идет интенсивно под влиянием русского языка. Это влияние сказывается не только в появлении подобных приведенным выше из даргинского языка причастных конструкций с возвратным местоимением, представляющих собою частичную кальку русских определительных придаточных предложений, но и в дальнейшем развитии существовавших в лезгинском языке сложноподчиненных предложений с союзами или союзными словами, таких, например, как приведенное выше сложное предложение с союзом *хъи* «что», или таких, как *Вуж машинда ксудатIа, ам шофер туш* «Кто засыпает в машине, тот не шофер», с относительными местоимениями. Хотя подобные предложения в лезгинском языке возникли еще давно, но широкое пользование русским языком и практика переводов с него дали серьезный толчок к дальнейшему развитию их, к расширению функций и сферы употребления союзов и союзных слов на основе заложенных в данном языке закономерностей его развития.

М. М. Гаджиев

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

О ПОСТАНОВКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Значение и задачи курса «Современный русский литературный язык» в педагогических институтах и университетах в основном верно определены в редакционной статье¹. Значительная часть окончивших университеты идет работать в среднюю школу, а некоторые из них — обычно после окончания аспирантуры — в педагогические институты. Поэтому и в университетах на первый план следует выдвинуть изучение нормативной стороны курса, безупречное овладение практическими навыками по нему и методами лингвистического анализа текста². Изучать надо то, что уже, так сказать, отстоялось, о чем имеется прочно установившееся единое мнение.

Объем изучаемого материала в курсе «Современный русский литературный язык» должен ограничиваться строго проверенными данными и соответствовать направлению работы и требованиям средней школы. Это вытекает из основной задачи высшей школы — подготовки квалифицированных специалистов по русскому языку, способных готовить грамотное и культурное молодое поколение. Что же касается спорных вопросов, нерешенных проблем и пр., то все это, включая и изложение собственных взглядов лектора по данным вопросам, надо выносить в спецкурс по русскому языку, который следует условно назвать «Неурегулированные проблемы современного русского языка», или «Спорные вопросы научной грамматики» и читать его на 6-м семестре пединститута, после завершения курса «Синтаксис современного русского языка». На 7—8-м семестрах следует читать спецкурс «История грамматических учений», посвятив его анализу лингвистических трудов и деятельности выдающихся отечественных языковедов, начиная от М.В. Ломоносова и кончая крупными советскими учеными. При этом формой учета знаний по спецкурсам должен быть не зачет, а экзамен, ибо только проведение экзамена обеспечивает серьезную подготовку студентов по спецкурсу.

Само собой разумеется, что наличие сорокачасового спецкурса «История грамматических учений» позволит высвободить и те 8—10 часов, которые в курсе «Современный русский литературный язык» обычно затрачиваются — и без достаточного эффекта — на изучение основных трудов классиков языкознания.

Учебный план педагогических институтов не предусматривает постановки определенных спецкурсов, а предоставляет право выбора темы спецкурса самому ведущему его преподавателю. Нам кажется, что следует сделать обязательными два указанных выше спецкурса, как содействующие углубленному изучению современного русского языка и истории отечественной науки о нем и завершающие лингвистическую подготовку молодежи. В качестве же факультативного спецкурса можно будет включить тему по выбору самого преподавателя.

Теперь о порядке чтения лингвистических дисциплин. Естественно, что начинать надо с «Введения в языкознание». Этот курс, раскрывающий марксистское понимание различных общих и частных вопросов языка, имеет исключительное методологическое значение; в нем дается лингвистическая терминология, без знания которой студентам трудно читать специальную литературу по разным языковым дисциплинам, а преподавателем — вести свои курсы, не отвлекаясь разъяснениями этой терминологии. Изучение в курсе «Введение в языкознание» лексики, фонетики, морфологической структуры слова, синтаксиса, принципов орфографии и некоторых других вопросов значительно облегчает работу преподавателей современного русского и старославянского языков, позволяя им все свое внимание сосредоточивать на новом материале. Надо также иметь в виду, что, поскольку студенты-первокурсники часто слабо знают

¹ См. ВЯ, 1955, № 1.

² Думается, что для русских пединститутов и университетов целесообразно было бы иметь единую программу по современному русскому языку.

иностранные языки, преподавателю «Введения в языкознание» все равно приходится строить свой курс в основном на материале русского языка, сравнительные же параллели занимают в этом курсе незначительное место. Поэтому не может быть и речи об изыятии каких-нибудь разделов из указанного курса. Все дело в содержании и объеме этих разделов.

Так, фонетика должна быть изложена здесь возможно более полно, учитывая ее громадное значение для изучения иностранных языков, современного русского языка, его орфоэпии, орфографии и т. д. В теме «Лексика» главное внимание должно быть обращено на самые важные принципиальные вопросы (проблема слова, пути развития значений слова, понятие о двух пластах лексики, закономерности исторического развития лексики, проблема заимствования и др.), а конкретизация этих общих вопросов (основной словарный фонд и словарный состав русского языка и группы слов, входящие в них; типы омонимов и синонимов русского языка; виды словарей; виды фразеологических сочетаний и т. д.) — дело курса «Современный русский литературный язык». Такой же общеязыковедческий характер должно носить и освещение вопросов грамматики, письма, орфоэпии. Все это позволило бы (если иметь в виду, что некоторые разделы курса, как, например, группировка языков по семьям, классификация гласных и согласных звуков и некоторые другие, можно будет не читать, а предоставить студентам изучить самостоятельно) сократить лекционный курс по «Введению в языкознание» до 50 часов и избежать повторного изложения многих вопросов в курсе «Современный русский литературный язык».

Заканчивать курс «Введение в языкознание» надо в первом полугодии, до начала курсов современного русского и старославянского языков, и, во всяком случае, фонетику следует предпосылать лексике. Тогда будет исключена возможность такого положения, какое создалось в нашем Курганском педагогическом институте в 1954—1955 учебном году: преподаватель старославянского языка рассказывает о плавных согласных, рядах и подъемах гласных, открытых и закрытых слогах, как о хорошо известных студентам вещах, а между тем, фонетика в курсе «Введение в языкознание» еще не читалась. Завершение этого курса в первом полугодии облегчит работу и по другим языковым дисциплинам: сэкономит время, устранив не вызванные необходимостью повторения и т. д.

Курс «Современный русский литературный язык» следует читать со второй половины 1-го семестра и заканчивать в 5-м семестре, что позволит студентам III курса смело отправиться на педагогическую практику в школу. Остальные же предметы должны читаться в порядке, установленном новым учебным планом (с учетом замечаний, сделанных выше).

Если курс «Современный русский литературный язык» читать до других языковедческих курсов, то заканчивать его придется на II курсе, почти за целый год до педагогической практики (а раньше ее нельзя проводить, так как методика русского языка еще не будет прочтена к тому времени) и за два года до госэкзаменов, что также нежелательно. Далее: идя от общего к частному, мы лучше усваиваем и то, и другое; поэтому «Введение в языкознание» должно предшествовать «Современному русскому литературному языку», а не следовать за ним.

С другой стороны, студент не может как следует изучить и историю русского литературного языка, — слушать лекции об исторических изменениях норм языка, его словаря, грамматического строя, о выработке правил орфографии и т. д., — если он еще по-настоящему не знает его современного состояния, ограничиваясь сведениями, полученными в средней школе. Поэтому «История русского литературного языка» должна читаться в конце обучения студентов в институте.

Изучению разделов и отдельных тем курса «Историческая грамматика русского языка» должно предшествовать изложение соответствующих разделов и тем в курсе «Современный русский литературный язык». Все рассуждения о происхождении тех или иных грамматических категорий в курсе «Историческая грамматика» будут беспредметны, если эти категории не будут уже пройдены в курсе современного русского языка.

Такая последовательность лингвистических курсов даст возможность избежать неоднократного повторения в них одного и того же материала (например, по вопросу о славянизмах) и, облегчая студентам усвоение задач, объема, специфики и метода изучения каждого предмета, позволит лучше увязывать эти курсы друг с другом, поскольку «Введение в языкознание» явится методологической основой всех лингвистических курсов, а «Современный русский язык» — теоретической базой для всех последующих специальных дисциплин. Преподаватель в случае необходимости всегда сможет сослаться на общие теоретические положения, законы и факты, изложенные в этих определяющих курсах.

Мы согласны с тем пониманием принципа историзма в курсе «Современный русский литературный язык», который дается в редакционной статье. Отметим лишь, что едва ли есть необходимость в тщательном пересмотре всего материала курса и в «коренной перестройке» программ. До тех пор, пока не будут разрешены спорные и неясные проблемы, выработано единое мнение по ним, а «серьезные успехи, достигнутые со-

ветским языкознанием в области изучения фонетики, лексики, грамматического строя русского языка», о которых говорится в статье, не будут обобщены, систематизированы и не станут известны широкому кругу преподавателей, — работа в вузах будет идти в традиционном плане, как бы мы ни меняли программы, ни пересматривали материал курса и т. д.

На наш взгляд, было бы полезно, в ожидании «бесспорных результатов научных исследований» (в виде, например, хорошего курса «Современный русский литературный язык» для вузов), временно прекратить выпуск с визой Министерства высшего образования книг по современному русскому языку в качестве «учебных пособий», «курсов лекций, рекомендованных...» и пр., потому что они часто противоречат одна другой и, сохраняя известную ценность в своей фактической части, дезориентируют неопытных преподавателей вузов. Вместо этого в качестве временного стабильного учебника для вузов следовало бы издать в сокращенном виде нормативную грамматику АН СССР. Конечно, книги по современному русскому языку надо издавать, и чем больше их будет, тем лучше, но они должны представлять точку зрения данных авторов, а не апробироваться высокими инстанциями в качестве руководств. У нас до сих пор современный русский язык одни читают по «Шахматову», другие — по Виноградову, третьи — «по Абакумову», четвертые добросовестно смешивают все это в одну кучу, причем все это делается нередко в стенах одного и того же вуза. Такое положение нетерпимо. Наука у нас одна, и излагаться она должна, в ее основных положениях и выводах, одинаково.

Что касается порядка изучения разделов курса «Современный русский литературный язык», то начинать надо с темы «Введение» как имеющей большое принципиальное значение. Никак нельзя согласиться с объединением этого раздела в новой программе 1954 г.: в частности, совершенно недопустимо отсутствие в ней краткого исторического очерка образования и развития русского литературного языка, где должна быть подчеркнута самобытность путей его развития и отмечена роль выдающихся русских деятелей в выработке норм, лексическом и стилистическом его обогащении и т. д. Ведь до IV курса студенты так и не будут иметь возможности узнать об этом. Далее, по указанным выше причинам, должна идти фонетика. Классификации гласных и согласных можно изъять из программы: они были пройдены в курсе «Введение в языкознание» (где особенности звуковой системы разных языков даются на фоне подробного раскрытия русской фонетической системы). В программе нужно оставить только разделы: «фонемы / и б и их место в системе согласных. Сильные и слабые позиции для согласных и гласных. Позиционные (и добавить: пережиточные, фонетически не обусловленные) чередования согласных и гласных. Слогораздел и типы слогов в русском языке» и т. д. до конца и сохранить раздел о русском ударении. В программу следует, кроме того, внести раздел «Звуковые изменения и необходимость их учета при анализе фактов морфологии, словообразования и правописания» (это важно для работы в средней школе).

Из тем «Орфоэпия» и «Графика и орфография» в теоретическом курсе можно было бы оставить только: по орфоэпии — первый абзац («Исторические основы...»), по второй теме — очерк истории русской графики и орфографии, причем историю орфографии начинать не с Грота, а с доломаносовского периода, отразив также работу орфографических обществ и комиссий до Великой Октябрьской социалистической революции, а после Октября — проект Главнауки и современную дискуссию по орфографии. Все остальное целесообразнее изучать на практических занятиях по современному русскому языку, используя материалы нормативных словарей и стабильного учебника Бархударова и Крюкова.

Далее должна идти тема «Лексикология и лексикография русского языка». Поскольку общие положения по данной теме были даны во «Введении в языкознание», материал здесь должен быть детализирован даже более, чем это имеется в программе. Так, можно было бы указать на «Типы, происхождение и стилистическое использование синонимов и омонимов», перечислить виды словообразования. Пункт седьмой в этом разделе следовало бы сделать вторым и сформулировать так: «Словарный состав и словарный фонд русского языка и группы слов, входящие в них», добавив для создания исторической перспективы пункт: «Пополнение словарного состава русского языка и важнейшие в жизни советского общества периоды (Октябрьская революция, гражданская война, восстановление народного хозяйства, индустриализация и коллективизация страны, Великая Отечественная война, послевоенный период)».

На наш взгляд, раздел «Лексика современного русского языка с точки зрения ее исторического формирования» следует начать с характеристики словообразования: «Словообразование как древнейший и главный источник развития и обогащения лексики русского языка. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Связь словообразования с лексикологией и морфологией», а в раздел «Морфология как грамматическое учение о слове» необходимо ввести и понятие о производящей основе.

В курсе «Современный русский литературный язык» методически нецелесообразно изучать одноименные, пересекающиеся в разных частях речи категории вместе (о чем

ставится вопрос в редакционной статье), так, как это делается во «Введении в языкознание», где указывается на взаимопроникновение грамматических категорий, различную степень их абстрактности и т. д. Для того чтобы студент получал материал по данной, изучаемой сейчас теме во всем объеме, придется, очевидно, и впредь поступать так, как мы поступаем сейчас: разбирать каждую часть речи со свойственными ей грамматическими категориями, учитывая, что отдельные из них пронизывают целый ряд частей речи. Другое дело — указывать взаимодействия грамматических категорий внутри одной и той же части речи (например, времени и наклонения, лица и числа в глаголе и т. д.); это делать можно и нужно, и это, в меру своих возможностей, делает каждый из читающих курс «Современный русский литературный язык».

Есть некоторые недостатки и в неплохом в общем составленном разделе «Морфология»: 1) здесь слабо отражено понятие продуктивного и непродуктивного в языке (ничего не говорится о продуктивных и непродуктивных формах выражения числа существительных, степеней сравнений прилагательных, вида глагола, о продуктивных и непродуктивных по образованию классах местоимений, существительных и т. д.); 2) построение раздела в части, касающейся глагола, представляется неудачным: в начале должна быть рассмотрена категория лица, как главная; затем — рода и числа, как тесно связанные с нею; времени, вида (а не наоборот!), наклонения и залога. Только после этого следует характеризовать инфинитив; такой порядок позволит рельефнее выявить его отношение к виду, наклонению и др. категориям; 3) не все разряды слов одинаково полно разработаны в программе: заключительная часть программы (после глагола) скомкана; 4) отсутствует важная обобщающая тема: «Переходные явления в области частей речи», где можно было бы установить общие принципы взаимоперехода частей речи и их частных грамматических категорий и дать заключительную полную сводку соответствующих фактов (в программе нет, например, указаний на переходность наречий, существительных, местоимений и др.).

Не нуждается в коренной переработке и раздел «Синтаксис». То, что в него включено учение о словосочетании, не вызывает непосредственной необходимости в перестройке классификации членов предложения. Ведь когда мы говорим о видах словосочетаний, мы подходим к ним с семантико-грамматической точки зрения, а в предложении рассматриваем их с функциональной точки зрения, т. е. с точки зрения выполнения ими синтаксической функции. *Девушка замечательной красоты, Он оказал влияние, Он намеревался уехать, Бежал сломя голову* — везде здесь по два члена. Два их и в выражениях: *Хорошо говорит, Я иду, Ответ студента, Красивый голос*, к каким бы видам словосочетаний их ни отнести и каковы бы ни были они семантически (*Я иду = Иду*). В выражениях же: *Укрепление колхозного строя, Развитие социалистической культуры* — три члена, потому что вместо *колхозного* могло быть *государственного, нашего, общественного* и т. д., а вместо *социалистической* — *буржуазной, национальной* и др. При ином подходе мы опять придем к «синтаксическим группам» и «распространенным членам» акад. И. И. Мещанинова.

Нет основания отказываться и от традиционной классификации сложных предложений: ее надо улучшать, уточнять, а не отбрасывать. Поскольку мы пока в этой области ничего достоверного не можем противопоставить классификациям-схемам средней школы (что косвенно признается и в редакционной статье), надо их придерживаться и при чтении вузовского курса «Синтаксис». Раздел «Синтаксис» вызывает и целый ряд частных замечаний, на которых здесь останавливаться не стоит.

В лекционном курсе должны освещаться только вопросы теории. Все остальное, связанное с чисто фактическими данными, например, вопрос о том, какие слова и из каких языков заимствовал русский язык, формы орфоэпии, виды придаточных предложений, способы выражения главных членов предложения и т. п. — студент сможет самостоятельно проработать по любому учебнику. В той мере, в какой лектор в состоянии дополнить программный материал, он и должен это делать, но опять-таки лишь за счет материала, углубляющего изучение основ нормативной грамматики. Имея в виду значительную роль, которую играет самостоятельная работа студентов, лектор должен, излагая ту или иную тему, дать характеристику рекомендуемой им для изучения литературы, предостеречь молодежь от некритического использования источников. Задача преподавателя, ведущего практические занятия, — систематически следить за тем, чтобы студенты самостоятельно работали над книгой.

В вузах имеет место недооценка спецсеминаров по русскому языку. Это сказывается, например, в том, что к руководству ими часто привлекают неопытных, начинающих преподавателей. Между тем спецсеминар по русскому языку должен занимать одно из самых важных мест в системе лингвистического образования и требует от руководителя большого опыта и знаний. Именно в спецсеминаре, если его хорошо поставить, студенты получают возможность связать вопросы теории с практикой, закрепить и углубить свои знания, проявить свою инициативу, развить интерес к самостоятельной исследовательской работе над научной литературой, выработать прочные навыки полного лингвистического анализа текста и умение критически относиться к чужим мнениям, т. е. приобрести все то, что им будет так необходимо в дальнейшей самостоятельной работе. Конечной целью спецсеминара должна быть выработка у выпуск-

ника умения дать исчерпывающий анализ языка и стиля художественного произведения любого жанра, при этом анализ самостоятельный, без привлечения научной литературы по данному тексту; составить полную библиографию к данной теме, написать развернутую аннотацию или даже рецензию на новинку научной литературы; разобраться в многообразии мнений по определенному вопросу и обосновать свою точку зрения на него. Короче говоря, спецсеминар завершает лингвистическую подготовку студента. Вот почему следует особо обсудить вопрос о спецсеминаре по русскому языку.

В первую очередь необходимо уточнить тематику семинара. Она, как правило, случайна, пестра, непродуманна, часто дублирует материал различных курсов. Нам кажется, что в центре внимания спецсеминаров должны быть темы, посвященные углубленному изучению программного материала по курсу «Современный русский литературный язык», анализу языка и стиля произведений художественной и научной литературы (в первую очередь — изучаемых в программе средней школы), чтобы студенты умели разбираться в любом тексте. Иногда неплохо ставить специальные доклады на темы школьного курса русского языка, например: «Занимательная грамматика», «Почему мы так говорим?», «Сочинения по грамматике в старших классах», «Новое в литературном произведении» — все это, если и изучается в курсе методики русского языка, то в плане ответа на вопрос «как» излагать эти темы, а не «что» изучать в них. На IV курсе работа усложняется и включает в себя все то, что было указано выше, при определении конечной цели спецсеминара.

Очень большое значение имеет методика проведения спецсеминара. Одними рефератами здесь нельзя ограничиваться. Нужны, по крайней мере на последнем курсе, и такие формы, как диспуты; например, в связи с выходом какой-нибудь новой статьи, книги и пр. Некоторую часть времени нужно отвести на лекции преподавателя, в которых он мог бы рассказать о методах лингвистического анализа произведений разных жанров и стилей, дать схему полного грамматического и стилистического анализа текста и т. д., чтобы студенты не писали свои доклады вслепую. Может быть, целесообразно начинать спецсеминар в 4-м семестре и вести до 8-го включительно, соответственно несколько сократив часы по другим дисциплинам. Это позволит лучше закрепить изучение лексики и фразеологии, фонетики, орфографии и орфоэпии в курсе «Современный русский литературный язык», и в то же время, при умелой постановке, спецсеминар не будет дублированием практических занятий по современному русскому языку. При изучении в курсе «Современный русский литературный язык» синтаксиса в спецсеминаре можно было бы ставить доклады по недавно пройденной морфологии, а в течение 6—8-го семестров — доклады по всем разделам современного русского языка (включая методику его преподавания в школе), с учетом того, что говорилось выше.

Нам представляется неправильным, когда с первого дня работы спецсеминара преподаватели распределяют рефераты, предполагающие полный анализ текста того или иного художественного произведения, или же на такую тему, материал которой еще не пройден в курсе «Современный русский литературный язык». Необходима последовательная постановка на первых порах расчлененных, а не комплексных по своему содержанию докладов в спецсеминаре. Следовательно, в выборе тем рефератов должна быть известная преемственность и связь с недавно изученным, должно быть постепенное усложнение материала докладов. Лучше всего, если спецсеминар сможет вести преподаватель современного русского языка или методики русского языка.

Несколько слов о курсовых работах студентов. Уровень лингвистической подготовки студентов I курса не позволяет им справиться с этими работами. Их следовало бы давать, начиная с 4-го семестра, когда значительная часть материала по современному русскому языку будет уже пройдена, с тем чтобы защита их проводилась в конце 5-го семестра. Структура курсовых работ, их объем, требования к их содержанию и оформлению, наконец, оценка (невозможно все курсовые работы заслушивать на заседаниях кафедры) — во всем этом нет ясности, и здесь каждый из нас поступает по внутреннему наитию, что вредит делу. Имеющееся специальное указание Министерства просвещения РСФСР о проведении курсовых работ даже не ставит этих вопросов и потому фактически бесполезно для преподавателей.

За руководство курсовой работой студента преподавателю засчитывается 2 часа — время, явно недостаточное; понятно, что такое положение не способствует ликвидации формальных отношений многих преподавателей к руководству этим делом. Если мы хотим, чтобы курсовые работы заняли подобающее место в системе лингвистического образования студента, надо значительно увеличить количество часов, отводимых на руководство (по крайней мере, до 6 часов за каждую работу).

И последние замечания. Хорошо было бы издать грамматические справочники для вузов, подобные книге И. М. Пулькиной для средней школы¹: это позволило бы

¹ И. М. Пулькина, Краткий справочник по русской грамматике. Пособие для преподавателей нерусских школ, под ред. П. С. Кузнецова, 4-е изд., М., 1954.

лектору высвободить часть времени для более развернутого освещения чисто теоретических вопросов курса.

Совершенно необходимо издание лингвистических плакатов, таблиц, наглядных пособий, орфоэпических и фразеологических словарей, библиографических справочников по отдельным темам курса, материалов занимательной грамматики и т. д. Давно пора также издать портреты выдающихся отечественных и зарубежных языковедов.

П. А. Сергеев

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Практические занятия составляют важную часть курса «Современный русский литературный язык», так как этот курс должен не только давать определенную систему знаний, но и учить студентов оперировать ими, применить их на практике — наблюдать, систематизировать и объяснять факты языка. Без этого знания студентов будут формальны, поверхностны и непрочны. Особенное значение практические занятия имеют в педагогических институтах, а в связи с последними постановлениями Правительства приобретают и в университетах, филологические факультеты которых готовят преимущественно учителей для средних школ. Между тем организация практических занятий по современному русскому языку является в большинстве вузов самой слабой стороной преподавания этого курса. Прежде всего проведение практических занятий, как правило, поручается наименее опытной и квалифицированной части работников. К тому же у этих преподавателей нет почти никаких руководящих указаний, кроме данных учебного плана о соотношении часов между лекциями и практическими занятиями. Программа курса составлена так, что определяет только общий объем сведений, которые должны быть сообщены студентам. Как распределить этот материал между лекциями, практическими занятиями и самостоятельной работой студентов, преподаватель должен решать сам. В программе не выделяются даже разделы и вопросы, по которым необходимы практические занятия. Таким образом, содержание практических занятий совершенно не определено, и в практике работы разных кафедр, а нередко и различных преподавателей одной и той же кафедры оно устанавливается по-разному. Разумеется, не следует связывать преподавателя мелочной регламентацией, но нельзя и оставлять его без всяких указаний. Основное содержание практических занятий должно быть определено программой.

При определении содержания практических занятий целесообразно распределить программный материал так, чтобы практические занятия не только закрепляли в памяти студентов определенные положения, изложенные в лекциях, но и сообщали новые сведения. Это даст возможность разгрузить лекции от второстепенных вопросов и сделает практические занятия более содержательными.

Приведем примеры возможного распределения программного материала между лекциями и практическими занятиями в разделе синтаксиса.

В лекции по теме «Второстепенные члены предложения» необходимо осветить современное состояние синтаксической науки в этой области, сообщить о существующих по данному вопросу разногласиях и изложить основы учения о второстепенных членах предложения, выделив неразработанные, спорные моменты. Нет никакой необходимости излагать в лекции разнообразные способы выражения второстепенных членов предложения и подробно рассматривать переходные и стоящие вне традиционной схемы явления. Это составит содержание нескольких практических занятий, которые могут быть построены следующим образом:

1-е з а н я т и е. Виды дополнений: приглагольные, прямое, косвенное и глагольное; приименные. Различение глагольных дополнений, выраженных инфинитивом, и инфинитива, входящего в состав сложного глагольного сказуемого (*велят уходить, обещаю исправиться, могу уйти*). Словосочетания в роли дополнений.

2-е з а н я т и е. Виды определений. Разграничение несогласованного определения и приименного дополнения. Приложение. Словосочетания в роли определений.

3-е з а н я т и е. Виды обстоятельств, способы их выражения. Разграничение обстоятельств и дополнений. Выражение обстоятельств словосочетаниями.

4-е з а н я т и е. Упражнения в определении видов второстепенных членов предложения. Второстепенные члены, не входящие в традиционно выделяемые разряды или условно включаемые в них: дополнения с предлогами *кроме, за исключением* и т. п.; дополнения и обстоятельства, относящиеся ко всему предложению; обстоятельственные определения (*весь, сам, один*); обстоятельства, выраженные деепричастиями сопутствующего действия, и др.

В лекциях по теме «Сложное предложение» должны быть освещены следующие вопросы: понятие о сложном предложении, способы выражения отношений между

частями сложного предложения, понятие о сочинении, подчинении и бессоюзии, принципы классификации сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений. При этом обязательно должны сообщаться сведения о существующих сейчас в науке разногласиях по существенным вопросам теории сложного предложения и об очередных задачах разработки этого раздела науки. Конкретное же изучение многообразных разновидностей сложных предложений должно вестись на практических занятиях. Практические занятия по этой теме целесообразно построить следующим образом:

1-е з а н я т и е. Виды сложносочиненных предложений. Анализ логико-грамматических отношений между их частями и способов выражения этих отношений. Предложения с отношениями присоединения.

2-е з а н я т и е. Разновидности временных, условных, причинных, уступительных предложений в зависимости от характера союзов, форм глаголов-сказуемых, порядка частей.

3-е з а н я т и е. Разновидности предложений определительных, образа действия, сравнительных. Различение придаточных подлежащих и дополнительных.

4-е з а н я т и е. Фразеологические типы сложных предложений. Типы предложений переходных между сочинением и подчинением. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.

5-е з а н я т и е. Бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения смешанного типа.

Итак, первое правило, которым следует руководствоваться при организации практических занятий, состоит в том, что практические занятия не должны быть только иллюстрациями к лекциям, они должны иметь свое собственное содержание. Это содержание, очевидно, должно определяться в первую очередь наиболее прямыми и обязательными требованиями будущей специальности студентов.

Из вузов, готовящих учителей русского языка, нужно выпускать людей, отлично знающих школьную грамматику, понимающих ее противоречия и слабые стороны и могущих дать научное объяснение фактам языка. Если при вузовском преподавании курса «Современный русский литературный язык», дающего основы лингвистического образования студентов, совсем не учитывать тех специфических знаний и навыков, которых потребует от учителя школьный курс, то наши выпускники, придя в школу, будут испытывать острое недовольство характером своей вузовской подготовки. Полученные в вузе (особенно в университетах) большие научные знания они смогут применить в своей работе только при том условии, если эти знания уже в процессе учебы были определенным образом организованы с учетом потребностей школы. Иначе у некоторой части наших выпускников сложится убеждение, что сведения, усвоенные ими во время учебы в вузе, не нужны для учителя, и в результате, несмотря на всю научную основательность их бывшей вузовской подготовки, из них получится учителя, для которых школьный учебник — альфа и омега необходимых познаний, а замена старого учебника новым, вносящим несколько иное освещение фактов, — крушение их «научного» мировоззрения. К сожалению, этот тип учителя у нас все еще широко распространен.

На практических занятиях необходимо заниматься трудными вопросами школьной грамматики, необходимо анализировать школьные учебники, показывая, в чем состоят особенности школьного изложения отдельных вопросов. Наибольшее внимание следует уделять таким разделам, которые занимают важное место в программе средней школы, а особенно тем из них, которые значительно расходятся в школьном и научном освещении. К их числу принадлежат и те разделы, примерный план изучения которых изложен выше.

Чрезвычайно важно при отборе материала для проработки на практических занятиях учитывать объем, характер и специфику познаний, полученных студентами в средней школе. Известно, что по вопросам фонетики и лексики до изучения их в вузе у студентов нет сколько-нибудь связанных знаний, так как эти разделы в школе почти не изучаются. Школьный курс — это в основном курс грамматики. Но и здесь, как показывает опыт работы, есть целый ряд элементарных вопросов, которые очень слабо усваиваются в средней школе. Таковы прежде всего вопросы словообразования, в области которых у бывших школьников до изучения ими этих вопросов в вузе имеются обычно совершенно превратные представления и очень вредная привычка к механическому, несмысленному членению слов. Таковы затем различения омонимичных форм: падежных форм существительных и местоимений (винительный и именительный, винительный и родительный, дательный и предложный); наречий на -о и кратких прилагательных, наречий и наречных предлогов, сравнительной степени наречий и имен прилагательных. Обычно плохо представляют себе и с трудом усваивают студенты соотношение форм глагольного слова. Особенно часты ошибки в определении инфинитива или спрягаемых форм по данной форме причастия или дееспричастия. Типичной ошибкой является смешение форм разных видов (*решенный* — *решать*, *решаемый* — *решить*). Плохо бывают усвоены в школе и значения возвратных глаголов, особенности синтаксической связи числительных с существительными, некоторые виды придаточ-

ных предложений (часто смешиваются, например, придаточные подлежащие и придаточные дополнительные). Все эти и многие другие не названные здесь однородные с ними вопросы должны быть предметом постоянного внимания на практических занятиях.

Курс «Современный русский литературный язык» — центральный среди лингвистических курсов и по своему содержанию, и по положению в учебном плане; он рассчитан на большое количество часов, читается в течение ряда лет; практические занятия по этому курсу обязательны для всех студентов. Естественно ожидать поэтому, чтобы именно при изучении данного курса студенты получили прочную основу тех знаний и навыков, которых от них потребует школа. Никакие другие общеобразовательные, ни тем более специальные факультативные курсы и спецсеминары, в которых участвует только часть студентов, не могут сравниться в этом отношении с указанным курсом. У них другие задачи общеобразовательного и специального характера.

Основным методом работы на практических занятиях являются разнообразные целенаправленные упражнения, которые выполняются студентами по заданию и под руководством преподавателя. В распоряжении преподавателя имеется сборник упражнений, составленный А. Н. Гвоздевым¹, — очень ценная и имеющая большое воспитательное значение книга. Это единственное современное пособие, в котором содержится не только материалы для практических занятий, но, что еще важнее, разнообразные виды упражнений. Однако и это пособие не лишено существенных недостатков и не отвечает полностью нашим сегодняшним требованиям.

Прежде всего сборник не вполне соответствует современной программе. Так, в разделе, посвященном синтаксису, почти отсутствуют упражнения по анализу словосочетаний. Имеющиеся в разделе «Морфология» упражнения в определении значений падежей не восполняют этого пробела. К тому же они неудачно составлены, так как не проводят разграничения значений падежных форм в различных конструкциях (вперемежку даны значения приглагольных и приименных зависимых падежных форм). Очень мало упражнений на изучение видов связи между словами в словосочетаниях и предложениях. Материал сборника не дает возможности показать все разнообразие видов синтаксических связей. Достаточно сказать, что в нем совсем отсутствуют упражнения по различению сильного и слабого управления. В сборнике явно недостаточно упражнений по изучению таких сложных грамматических категорий, как вид и залог: нет подборки материала, полно и ярко иллюстрирующего оттенки видовых и залоговых значений, нет упражнений, показывающих скрещенный лексико-грамматический характер этих категорий. Очень беден раздел, посвященный служебным словам. Здесь содержится только упражнения по анализу предлогов, но и они построены так, что не дают представления о тех живых процессах, в результате которых этот ряд слов пополняется. Данный раздел совершенно необходимо дополнить иллюстративным материалом, показывающим новые отыменные и сложные предлоги. Студентов нужно учить выделять их, отличать от существительных и наречий. Средняя школа познаний в этой области не дает.

Бедны и однообразны упражнения и сам материал их и во многих других разделах. Очень слаб в этом отношении раздел синтаксиса, особенно его части, посвященные второстепенным членам предложения, видам односоставных предложений и сложному предложению. По совершенно непонятным причинам в сборнике отсутствует материал для наблюдений над сложносочиненными предложениями. Почти совсем в стороне остались и вопросы синтаксической синонимии. А между тем совершенно очевидно, что ими следует заниматься на практических занятиях. Интересы школы требуют, чтобы будущие учителя были хорошо осведомлены в этой области. Особенно важно изучение на практических занятиях таких вопросов, которые рассматриваются в школьном курсе. Таковы прежде всего вопросы соотношения причастных и деепричастных оборотов и придаточных предложений.

Мне пришлось присутствовать на пробном уроке студентки университета, посвященном этой теме. Она предлагала ученикам произвести замену в следующих предложениях: *Хотя мы не желаем войны, но мы готовы ответить ударом на удар поджигателей войны; Так как она победила своих врагов, то она очень сильна.* Ученики несколько затруднились в выполнении этого задания, но студентка действовала очень решительно, совершенно не задумываясь над результатами своей операции.

Чтобы из стен наших вузов выходили учителя, чувствующие язык и умеющие различать смысловые оттенки близких по смыслу конструкций, необходимо развить в них это умение. Именно поэтому следует много внимания уделять вопросам синтаксической синонимии.

Но неполный охват материала и однообразие упражнений — только одна из слабых сторон «Сборника упражнений по современному русскому языку» А. Н. Гвоздева. Некоторые его части составлены так, что неизбежно вносят путаницу в знания студентов. Так, например, неудачна терминология, связанная со структурными типами пред-

¹ А. Н. Гвоздев, Сборник упражнений по современному русскому языку, 3-е изд., М., 1953.

ложений. Наряду с термином «двусоставные» предложения употребляется термин «личные», содержание которого непоятно. Вызывает недоумение задание — делить бессоюзные предложения на сложносочиненные и сложноподчиненные (упр. 237, стр. 213). Неудачно составлены упражнения по анализу неполных предложений (упр. 195—196, стр. 166—167). Новые исследования в этой области позволяют построить изучение неполных предложений более глубоко и выделить их структурные типы, с которыми следует знакомить студентов. Полезное и нужное упражнение в определении средств и способов выражения отношений между частями сложных предложений очень неполно перечисляет эти средства и не содержит материала, иллюстрирующего роль соотношения форм глаголов-сказуемых и лексико-фразеологических элементов предложения как структурно необходимых сторон некоторых видов сложного предложения.

В сборнике встречаются и прямые ошибки, например, выделение в выражении *рядом с военкомом* предлога *с* (стр. 188), которое ведет к ошибочному толкованию *рядом* с не как сложного предлога, а как соединения наречия с предлогом.

Совершенно очевидно, что высшая школа нуждается сейчас в новых пособиях для практических занятий по современному русскому языку, которые были бы составлены с учетом возросших требований, а также с обязательным использованием наблюдений, собранных в многочисленных исследованиях по современному русскому языку, в том числе и в неопубликованных кандидатских и докторских диссертациях. Нужда в этом виде пособия ничуть не меньше, если не больше, чем нужда в учебниках по курсу. Может быть, для ускорения его издания следовало бы прибегнуть к испытанному методу образования авторского коллектива из числа наиболее опытных преподавателей, которые за долгие годы своей работы накопили богатый материал. При создании такого учебного пособия коллективная работа представляется особенно уместной.

Практические занятия — важнейшее звено в организации самостоятельной работы студентов. Этого не следует упускать из виду. Но нередко в организации практических занятий по курсу «Современный русский литературный язык» наблюдаются некоторые проявления школярства. Довольно часто преподаватели значительную часть практических занятий отводят для опроса студентов по материалу, освещенному в предшествующей лекции. Такое использование учебного времени нецелесообразно. Однако на практических занятиях, особенно на младших курсах, весьма полезно проводить обсуждение отдельных трудов или их частей из числа рекомендованных в качестве обязательной литературы. Оно может вестись или в форме небольших докладов с последующим обсуждением, или в форме общей беседы. Очень полезной формой организации самостоятельной работы студентов являются задания по подбору примеров, иллюстрирующих отдельные изучаемые в курсе явления языка. Выполнение таких работ способствует более прочному и сознательному усвоению материала и создает очень полезную привычку при чтении обращать внимание на языковые явления. Эти работы должны проверяться и обсуждаться. Полезны и контрольные работы (фонетическая транскрипция, морфологический и синтаксический разбор). Они дают возможность студентам и преподавателю обнаружить пробелы в знаниях. Методика проведения практических занятий должна быть гибкой и разнообразной. К сожалению, вопросы методики преподавательской работы в вузе вообще и вопросы преподавания лингвистических курсов, в частности, очень мало освещаются в печати. А в освещении этих вопросов очень нуждаются преподаватели вузов, подавляющее большинство которых составляют недавние аспиранты и выпускники вузов.

В. А. Белошапкова

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Вопросы культуры речи. [Сб. статей.] I. Под ред. С. И. Ожегова. — М., Изд-во АН СССР, 1955. 240 стр. (Ин-т языкознания АН СССР.)

Интересным и содержательным сборником «Вопросы культуры речи» Институт языкознания начал издание серии работ, посвященных важнейшим проблемам развития современной речевой культуры. Общеизвестно, как живо и горячо откликается наша общественность на различные статьи и книги, посвященные культуре устной и письменной речи. Поэтому вполне очевидна актуальность разработки теоретических основ и решения вопросов повседневной языковой практики. Не менее очевидны и те большие перспективы, которые открываются в этой области.

Опубликованный сборник, при общем одобрительном к нему отношении, вызывает у читателей разнообразные отклики и замечания по поводу помещенных в нем статей, которые существенно различаются по характеру исследуемого материала и общей направленности. В связи с этим в качестве главного и первоочередного остро встал вопрос: что необходимо понимать под «культурой речи», т. е. каковы объем и содержание этого понятия, какой круг вопросов относится к этой проблеме, каково ее место среди других проблем языкознания и, следовательно, как должны разрабатываться научно-теоретические основы развития и совершенствования речевой культуры?

Культура речи — это в первую очередь проблема стилистического характера, так как с ней связаны вопросы функционирования языка, наиболее целесообразного и эффективного использования речевых средств. Известно, что под высокой речевой культурой человека обычно имеется в виду умение в совершенстве владеть языком, наиболее удачно выбирать и употреблять речевые средства, говорить и писать выразительно, ярко, красноречиво. Образцовая речь немыслима также без соблюдения грамматических и других норм языка, ибо грамотность — это низшая ступень речевой культуры, это элементарное требование, предъявляемое к устной и письменной речи.

Итак, культура речи — это область словесного мастерства. Принципы и закономерности создания образцовой устной или письменной речи, методы и способы отбора средств языка и наиболее удачного их применения — вот чему главным образом должны быть посвящены работы, закладывающие теоретические основы развития речевой культуры.

Объем и содержание вопросов, относящихся к культуре речи, иногда искусственно сужаются, упрощаются, а самые задачи развития речевой культуры сводятся лишь к соблюдению норм языка, т. е. в конце концов — к борьбе за грамотность речи. Например, в статье В. Л. Воронцовой и А. И. Сумкиной «О новых книгах по культуре речи»¹ под культурой речи понимается умелое, свободное владение словарными, грамматическими, орфоэпическими, стилистическими нормами литературного языка. Вполне очевидно, что авторы неправильно понимают содержание речевой культуры и задачи ее повышения. Дело в том, что «владение нормами» — это элементарное требование, предъявляемое к любому грамотному человеку. Что же такое «умелое, свободное» владение грамматическими или орфоэпическими нормами и где эта «свобода» обращения, например, с восклицательным знаком, правописанием приставок или отрицательных частиц граничит с безграмотностью — остается пока еще недостаточно выясненным.

Следовательно, нельзя всю сложную и очень важную сумму вопросов развития речевой культуры свести к борьбе за грамотность устной и письменной речи. Наши учителя, лекторы, пропагандисты, живо интересующихся повышением своей речевой культуры, желающих добиться ее совершенства, овладеть ее высотами, раскрыть «секреты» подлинного красноречия, ни в коем случае не удовлетворят советы, существо которых сведется к необходимости соблюдать грамматические или произносительные нормы языка. Они ими владеют, говорят грамотно, но при всем этом давно убедились, что одной грамотности или правильности речи явно недостаточно, что успех, например,

¹ См. ВЯ, 1954, № 2.

публичного выступления (доклада, лекции, беседы и т. п.) определяется другими более важными и решающими факторами.

Еще В. Г. Белинский в свое время подчеркивал, что говорить п р а в и л ь н о и говорить х о р о ш о — совсем не одно и то же. При этом он указывал, что иной семинарист говорит и пишет как олипетворенная грамматика, а его нельзя ни слушать, ни читать¹. Грамматика, по его мнению, учит правильно говорить и писать, а стилистика — хорошо владеть языком.

В соответствии с этим речевая культура — важнейшая область стилистики, изучающей выразительные качества, экспрессию речевых средств, а также закономерности использования языка, его функционирование в различных стилях речи, в художественной, публицистической и иной литературе, в разнообразных контекстах отдельного высказывания. Поскольку же культура устной и письменной речи является одной из важнейших задач стилистики, весь круг вопросов, связанных с выразительностью речи, имеет первостепенное значение для различных исследований, пособий и справочников, призванных развивать и совершенствовать речевую культуру. Поэтому совершенно неправильным и ошибочным следует признать заявление В. Л. Воронцовой и А. И. Сумкиной, рецензировавших некоторые книги по культуре речи, будто бы разделы этих книг, посвященные таким вопросам, как богатство русского языка, его выдающиеся качества, сила, выразительность и т. п., не имеют прямого отношения к проблеме культуры речи. Нельзя также согласиться с их замечанием относительно того, что правдивость, искренность и убежденность речи не имеют никакого отношения к рассматриваемой проблеме, что необходимо разграничивать «формы речи и ее содержание». Разумеется, такая теория обнаруживает явное непонимание существа и специфики стилистического анализа, например, современной публичной речи. Этот анализ не противопоставляет «формы» языка их содержанию, а раскрывает и объясняет целенаправленность употребления речевых средств, их органическую связь с содержанием, идейной направленностью и индивидуальным своеобразием говорящего. Акад. В. В. Виноградов указывает, что «при стилистическом подходе язык в художественной литературе неотделим от идейного замысла писателя, от образной ткани произведения, от характера действующих лиц и от той творческой личности повествователя, которая создается всей композицией художественного произведения»².

Нельзя также согласиться с тем, что убежденность, правдивость, искренность и другие к а ч е с т в а речи рассматриваются как ее «содержание». Ведь убежденно и искренне можно говорить на весьма различные по содержанию темы.

*

Стилистика, занимаясь вопросами развития культуры устной и письменной речи, ооязана учить словесному мастерству, умению работать над речевыми средствами. Упрек, брошенный А. М. Горьким по адресу литературной критики, которая «не учит, как надобно работать над словом», непосредственно относится и к науке о русском языке, как это подчеркивает В. В. Виноградов в статье, помещенной в рецензируемом сборнике.

Имея в виду эти задачи и учитывая конкретные запросы и требования тех, кто обращается к образцовой речевой культуре и живо интересуется существом этой проблемы (студентов, учителей, докладчиков, лекторов, агитаторов и пропагандистов, преподавателей высшей школы, а также журналистов, писателей, артистов и др.), стилистика должна, на наш взгляд, разрабатывать — в качестве первоочередных — следующие вопросы:

- 1) экспрессивные качества речевых средств, существо речевой экспрессии и ее использование в целях создания выразительного языка и повышения всей национальной речевой культуры;
- 2) метафоризацию значения слов и выражений и закономерности образного, переносно-фигурального словоупотребления;
- 3) проблему эстетики слова в связи с изучением эстетических функций языка в художественных, публицистических и других произведениях, а также в ораторской речи, в различных видах публичных выступлений;
- 4) «стилистический паспорт» слов, частей речи, синтаксических конструкций, с которым приходится считаться каждому автору при отборе и употреблении речевых средств;
- 5) синонимические возможности языка и приемы индивидуального использования синонимов лексического, морфологического и синтаксического характера;
- 6) фразеологию как средство словесно-художественной изобразительности;

¹ См. В. Г. Белинский, Соч., т. IV, 1896, стр. 707.

² В. В. Виноградов, Насущные задачи советского литературоведения, сб. «Вопросы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1951, стр. 15.

- 7) речевые средства юмора и сатиры;
 - 8) ораторскую речь и ее характерные черты; формирование и развитие основных видов красноречия: академического красноречия, политического, судебного, церемониально-бытового и др.;
 - 9) стили происхождения и принципы их использования в разговорной речи, на сцене, а также в художественной литературе, где они привлекаются в целях создания характерной и типичной речи действующих лиц;
 - 10) работу писателей и вообще выдающихся авторов над языком своих произведений, дающую хорошее представление о том, как автор достигает словесного мастерства;
 - 11) понятие литературной нормы, принципы нормализации литературного языка, цели и задачи борьбы за единообразие литературных норм против недопустимых отклонений от них и тем более искажений.
- В соответствии с изложенным здесь взглядом на задачи стилистики в развитии речевой культуры, мы и рассмотрим рецензируемый сборник.

*

Кроме статьи С. И. О ж е г о в а «Очередные вопросы культуры речи» (стр. 5—33), в которой безусловно правильно характеризуется общественное значение этой проблемы, определяется роль языковедов в повышении речевой культуры как важнейшей и составной части всей социалистической культуры, а также намечаются задачи научно-теоретического и практического характера, нам представляется, что наиболее содержательными и ценными для разработки вопросов культуры речи являются следующие статьи: акад. В. В. Виноградова, И. С. Ильинской и В. Н. Сидорова, А. А. Реформатского и Н. Г. Корлягиной.

Статья В. В. Виноградова «Заметки о языке советских художественных произведений» (стр. 52—66) посвящена анализу наиболее существенных и типичных недостатков языка и стиля ряда современных произведений. Вопросы, которые поднимаются в этой статье, наиболее близки к теме о языковом мастерстве, о работе над словом как средством словесно-художественной изобразительности.

Указывая, что ощутимым недостатком языка многих писателей является «стилистическая одноцветность, монотонность, словесная бледность и серость, стандартность языка автора и особенно речи изображаемых лиц», что «широко распространенной стилистической болезнью нашей литературы является склонность к банальной „красивости“, к внешнему риторическому треску», что нередко наблюдается искажение значения слов, отрыв слова от предмета и связанные с этим логические ошибки и неточности, В. В. Виноградов раскрыл существо этих недостатков, привел большой и весьма выразительный материал. В силу этого статья наглядно показывает читателю характер языково-стилистических ошибок и погрешностей и ставит перед языковедами-стилистами задачи конкретного анализа этих ошибок.

Конечно, научный анализ словесной ткани художественных произведений и характеристику исторического развития языка писателей на фоне истории литературного языка могут дать прежде всего языковеды-стилисты, которых В. В. Виноградов в этой статье призывает исследовать и истолковывать речевые и стилистические открытия, а также ошибки в языке нашего словесного искусства и нашей прессы (стр. 57). Поэтому приходится лишь сожалеть, что автор указанной статьи иногда склонен передать литературоведам изучение словесного мастерства писателя и заявить, например, что «описание приемов, используемых Гоголем для формирования образов действующих лиц в „Мертвых душах“, относится, несомненно, к истории русской литературы, а не к истории русского литературного языка»¹.

*

Для развития речевой культуры и совершенствования словесного мастерства существенное значение имеет разработка вопросов, связанных с синонимикой. Рукописи любого писателя красноречиво свидетельствуют о том, что «муки слова» — это прежде всего работа над синонимическими средствами языка. В области синонимики пока что сделано непростительно мало. У нас нет даже словаря синонимов русского языка, в котором так нуждаются все приобщающиеся к высокой речевой культуре. Синонимика — это одна из центральных проблем стилистики, разработка которой существенно продвинет вперед культуру устной и письменной речи.

Опубликование в сборнике двух статей, посвященных синонимике, нельзя не приветствовать, ибо появление подобного рода работ следует всемерно поощрять.

¹ В. В. Виноградов, «Проблема исторического взаимодействия литературного языка и языка художественной литературы», ВЯ, 1955, № 4, стр. 25.

В статье «К вопросу о синонимах и их стилистической роли в современном молдавском языке» (стр. 100—114) Н. Г. Корлэтяну дает небольшой очерк различных типов синонимов молдавского языка, а затем прослеживает их стилистические функции в художественных произведениях. В соответствии с этим он занимается синонимическими рядами, характерными для различных стилей языка (см. стр. 102 и сл.), приводит ряд синонимических соответствий, выражающих оценочно-характеристическое отношение автора к изображаемому (стр. 105), касается вопросов фразеологической и грамматической синонимии (стр. 106). Вторая половина статьи, посвященная изобразительной роли синонимов в художественных произведениях, написана менее убедительно. Прослеживая употребление синонимов, Н. Г. Корлэтяну не раскрывает и не перечисляет их стилистических функций, а делает общие и подчас ничего не значащие замечания. Оказывается, синонимы используются писателями для того, чтобы «лучше охарактеризовать какое-либо явление или положение» (стр. 109), что писатель каждый раз должен тщательно взвешивать и решать, «подходит ли к данному тексту тот или иной взятый им синоним» (стр. 111) и т. д.

Все это лишний раз убеждает в необходимости более тщательно разрабатывать вопрос о стилистических функциях речевых средств, которые они выполняют в художественных произведениях. Если же под этими функциями подразумевать их изобразительную роль, то придется заниматься анализом тех целей, которые преследуются при употреблении слов, выражений, конструкций и т. п., а также самих результатов, раскрывая тот эффект, которого достигает автор. Другими словами, говоря о стилистических функциях, необходимо иметь в виду употребление средств языка в целях выражения, например, иронии, патетики, юмора и сатиры и т. п., употребление этих средств в целях индивидуализации и типизации речи действующих лиц, стилизации самой манеры повествования и т. п.

Наряду с анализом стилистических функций следует заниматься изучением самих приемов употребления речевых средств, разумея в данном случае темнообразные и часто весьма индивидуальные у каждого автора способы сочетания подчас стилистически далеких и весьма неоднородных средств языка. Многие из этих приемов общеизвестны и используются почти каждым писателем, но в то же время каждый выдающийся художник слова обогащает стилистику художественной речи новыми приемами, ибо, как подчеркивал Пушкин, «язык неистощим в соединении слов».

Если усилия стилистов будут направлены в сторону детальнейшего изучения многогранных функций речевых средств и еще более многообразных приемов их употребления, то решение сложных проблем языка художественной литературы значительно продвинется вперед. Кроме того, это даст возможность освободиться от некоторых иногда непонятных и бессмысленных терминов, которые применяются в работах по языку писателя. Это, например, относится к термину «стилистическое употребление», при помощи которого часто подменяется и снимается проблема функций, а также и приемов употребления. При этом возникает сомнение: есть ли, кроме «стилистического употребления», употребление «нестилистическое»? Разве в художественном произведении есть стилистически не мотивированное применение языковых элементов?

В связи с этим возникает также вопрос: можно ли применять к языку художественных произведений деление синонимии (приводимое в статье Н. Г. Корлэтяну) на стилистическую, отражающую богатство различных стилей языка, и идеографическую, связанную с различными оттенками значений и понятий (стр. 107). Так как в языке писателя все речевые средства в стилистическом отношении мотивированы, то этого, видимо, делать не следует. Вообще одной из распространенных ошибок исследователей языка художественных произведений является механическое перенесение принципов и методов анализа состава и структуры общенародного языка в область анализа языка писателя.

Что касается статьи И. И. Ковтуновой «О синтаксической синонимии» (стр. 115—142), то эта статья со всей очевидностью убеждает, что в данной области еще ничего не сделано, что первоочередная задача стилистики — определить понятие синтаксического синонима и очертить тот круг параллельных, соотносительных конструкций, которые находятся в синонимических отношениях.

Указанная статья значительно выиграла бы в том случае, если бы в ней сначала четко и ясно была изложена точка зрения автора на синтаксические синонимы, а главное — приведены конкретные примеры различных синтаксических параллелей и эквивалентов (как это в свое время сделал Пешковский). Но, не раскрыв, так сказать, свои карты и не убедив читателя, И. И. Ковтунова сразу вступила в полемику с А. М. Пешковским, А. Н. Гвоздевым, Е. А. Назиковой, не потрудившись хотя бы кратко, но убедительно изложить существо взглядов и систему доказательств того же Пешковского или других авторов. Читателю, не посвященному во все эти вопросы и подробности, приходится лишь верить И. И. Ковтуновой, что, например, Г. И. Рихтер берет из списка Пешковского «семь разрядов синонимов, и этот небольшой список так же лишен принципиального единства, как и состоящий из тридцати двух разрядов синонимов список Пешковского» (стр. 119). Какие это семь разрядов, каков «список

Пешковского» и почему он лишен «принципиального единства» — читатель должен догадаться и разобраться сам.

Большим недостатком статьи И. И. Ковтуновой является ее тяжелый, вычурно-ученый слог. Отдельные места просто нуждаются в переводе их на русский язык. Все это, конечно, недопустимо в сборнике, посвященном культуре речи. Например: «Таким образом, предложения, которые являются синонимами в пределах „нулевой“ модальности, теряют это свойство при попытке их перенесения в другой модальный план, что оказывается невозможным из-за того, что одночленное предложение целиком переходит в другой модальный план, а в двучленном — только его следственная часть» (стр. 137).

•

Следующий круг вопросов речевой культуры, которым посвящены в сборнике статьи, относится к состоянию современных орфоэпических норм русского языка. Известно, что произношение является наиболее ярким и бросающимся в глаза показателем речевой культуры. Поэтому ошибки и недопустимые отклонения от принятых норм орфоэпии обычно квалифицируются как признак безграмотности или во всяком случае плохой речевой культуры, свидетельствующей уже о низком культурном уровне говорящего.

Вопросам нормализации произношения уделено много внимания в статье С. И. Ожегова. Нельзя не согласиться с одной из основных мыслей, которая настоятельно и последовательно развивается автором, — это необходимость активного участия лингвистов в создании единых и четко определенных норм произношения, устраняющих различные колебания и многочисленные варианты, вносящие в русскую орфоэпию элементы бессистемности и субъективизма. Не в пример тем исследователям, которые отказывались от активного вмешательства в нормы языка и записали, что дело лингвистов показывать, как говорит народ, а не указывать, как надо говорить, С. И. Ожегов решительно высказывается за унификацию норм, за их четкость и единство. Он подчеркивает, что «при широкой функции современного русского литературного языка отсутствие четких и для всех убедительных норм при наличии колебаний в области словоупотребления, произношения и стилистических форм речи совершенно нетерпимо» (стр. 11).

Приходится лишь сожалеть, что, обращаясь к конкретным фактам языка, С. И. Ожегов не всегда остается таким твердым и решительным сторонником строгого единообразия произносительных норм. Например, в весьма интересном разделе «Краткие заметки» (в котором даны справки и ответы на вопросы: склоняется ли *Москва-река*; как произносить — *ас* или *асс*, *бомбоньерка* или *бомбоньерка*, *языковой* или *языко́вый*, *поль* или *пуля*; есть ли глагол *испеци́рить* в современном русском языке?) он обращается к такому весьма типичному случаю колебаний в ударении слова, как *языко́вой*. Казалось бы, что, руководствуясь принципом унификации произношения, вполне целесообразно было рекомендовать единое во всех случаях произношение этого слова с ударением на окончании — *языко́вой*. Однако, считаясь с существованием одного лишь терминологического выражения (*языко́вая колбаса*), С. И. Ожегов предлагает сохранять эту пестроту произношения. Вообще непонятно, стоит ли из-за одного редкого сорта колбасы заставлять людей каждый раз перед произношением этого слова проделявать «умственную гимнастику» и определять, о чем идет речь: о колбасе (языко́вой) или фактах речи (языковых). В недалеком прошлом такие ненужные различия вносились в ударения слова *квартал*, когда часть года имела одно ударение (*квартáл*), а часть города — другое (*квартáл*). Но всеобщему облегчению и удовольствию такое различие ныне признано нецелесообразным и рекомендуется единое произношение этого слова во всех случаях применения (*квартáл*).

Сомнительной в статье С. И. Ожегова является рекомендация мягкого произношения звуков в словах *мягкий*, *пыльный*, *ветхий*, *натягивать* и др. (стр. 20). Все же остается бесспорным, что московское произношение (как и центральных областей) отличается редукцией гласного после заднеязычных согласных *г*, *ж*, *х*: *стро́гий*, *кре́пкий*, *Белинский*, *Горький*. Следовательно рекомендовать книжно-орфографическое произношение, на наш взгляд, не представляется оправданным и целесообразным.

В связи с тем, что некоторые рекомендации являются спорными и нуждаются в обсуждении, полезно было бы в сборнике по вопросам культуры речи открыть дискуссионный отдел. Нельзя рекомендовать одного лица безоговорочно принимать в качестве нормы. В нормализации современного произношения, в обсуждении и выработке его норм необходимо придерживаться принципа коллегиальности и привлекать к участию в этом многих знатоков и любителей языка и словесности.

•

Необходимые и ценные для анализа современных произносительных норм материалы опубликованы И. С. Ильиной и В. Н. Сидоровым в статье «О сценическом произношении в московских театрах» (стр. 143—171). Их наблюдения

свидетельствуют о большой и в ряде случаев недопустимой и нетерпимой пестроте, которая царит в сценическом произношении. Театры, призванные быть рассадником образцового произношения, не уделяют должного внимания работе актеров в этой области.

Авторов статьи следует лишь упрекнуть за те выводы, которые они делают, как бы одобряя существующее положение вещей: «Из приведенного нами материала, взятого непосредственно из сценической практики, безусловно вытекает один вывод—сцена не копирует действительности, из всей массы произносительных отклонений от литературной нормы она отбирает лишь некоторые, наиболее выразительные, т. е. наиболее выделяющиеся, черты, заметные на фоне общелитературного произношения» (стр. 170).

Следует также подчеркнуть, что анализ сценического произношения, как и вообще разработку вопросов орфоэпического характера, необходимо поставить на более прочную теоретическую основу. Такой основой будет учение о с т и л я х п р о и з н о ш е н и я, их историческом развитии и роли в современной речевой практике.

Для разработки вопросов речевой культуры очень важно, что стили произношения, бытующие в разговорной русской речи, довольно разнообразны и с фактом их существования приходится считаться. Под стилями произношения имеются в виду разновидности или произносительные системы, которые исторически складывались как соотносительные варианты произношения. Их существование и развитие определяется неоднородностью самих носителей языка, а также спецификой разговорной и книжной речи.

Так, различаются две основные группы стилей произношения: 1) литературные и 2) просторечно-нелитературные. Если первые являются нормированными и, следовательно, соответствуют одобренной традицией орфоэпической норме, то стили нелитературные рассматриваются как отклонение или искажение этой нормы. Они не имеют прав литературности. Следовательно, принцип различения этих стилей, основанный на учете степени нормированности произношения, позволяет правильно решать многие конкретные вопросы орфоэпии.

В свою очередь группа нелитературно-просторечная разделяется на ряд стилей, специфика которых определяется самими носителями языка. Дальнейшие исследования покажут, можно ли к ним отнести: а) просторечный стиль, элементы которого обычно квалифицируются как безграмотность (*шестнадцать* вместо *шестнадцать*, *хотш* или *хотса* вместо *хоть* и т. п.); б) диалектный, отражающий произносительное своеобразие какого-либо говора (например, яканье: *всна*, *мстла*, *нмьста* и т. п.); в) иноязычный, характерный для речи овладевавших русским языком представителей различных народностей и национальностей.

При решении задач совершенствования речевой культуры необходимо также учитывать многогранность первой группы стилей произношения, т. е. литературных, не нарушающих в основном орфоэпические нормы. Но и в данном случае при изучении многочисленных вариантов литературного произношения, стилистически мотивированных и исторически оправданных, перед исследователями возникают различные задачи, непосредственно относящиеся к вопросам современной речевой культуры. Так, на фоне нейтрального литературного произношения выделяются такие его варианты и разновидности, как псевдолитературное произношение (например, *академия*, *тэма*, *энергия* и т. п.), частично восходящие к жаргонно-аристократическому словоупотреблению (например, у тургеневского Кирсанова: *принсип*). Остается еще неясным вопрос: элементы каких стилей произношения, бытовавших в прошлом, вошли во всеобщее употребление, можно ли говорить о таких видах произношения, как ораторский стиль или стиль академический?¹

Вопросам орфоэпии в сборнике посвящены также статьи Н. А. Баскакова «Некоторые вопросы орфоэпии татарского языка» (стр. 200—207) и А. А. Реформа т с к о г о «Речь и музыка в пении» (стр. 172—199), в которой поднимаются новые и еще совсем неисследованные вопросы, интересующие как языковедов, так и музыковедов.

Проблемам нормализации языка уделено много внимания в ряде статей рецензируемого сборника. Так, С. И. Ожегов пишет о задачах нормализации не только произношения, но и грамматической системы русского языка, правописания, словоупотребления, терминологии.

В статье Э. Ю. Нурм «Из практики нормализации эстонского литературного языка» (стр. 34—51) также рассматриваются вопросы, связанные с унификацией орфографии, ударения, транслитерации русских имен, морфологической структуры слов, терминологии и т. п.

¹ Ср. замечания о стилях произношения в книге Р. И. Авнесова «Русское литературное произношение» (2-е изд., М., 1954).

Разумеется, никто не станет спорить, что решение всей этой проблематики имеет большое значение для подъема речевой культуры народа. Возникает лишь сомнение: следует ли так широко понимать проблему культуры речи и включать в нее всю сложную и поистине громадную сумму вопросов и задач, стоящих перед различными областями языкознания. Если, например, в сборниках, подобных рецензируемому, будут всерьез и всесторонне рассматриваться спорные вопросы нормализации, скажем, русской орфографии и пунктуации, то не потонут ли вопросы речевой культуры в общей массе орфографических проблем? Неясно также, что придется на долю нормативной грамматики или нормативной лексикологии, если сектор культуры речи Института языкознания включит все эти вопросы в свою тематику и проблематику. Другими словами, не произойдет ли подмены предмета и задач исследования, в результате чего любое рассуждение о языке, его фактах и нормах будет рассматриваться как решение вопросов культуры речи.

Не остается сомнений в необходимости более четко определить круг вопросов и объектов исследования, которые будут разрабатываться и публиковаться в ожидаемых всеми новых сборниках по культуре речи. Нельзя задачами грамматической или орфографической нормализации языка подменить и заслонить разработку многих стилистических проблем, относящихся к словесному мастерству, к специфике устной и письменной речи, к синонимике и другим проблемам, о которых речь шла выше.

Выход из создавшегося положения может быть таким. Поскольку культура речи прежде всего проблема стилистическая, постольку не следует основное внимание сосредоточивать на нормализации, например, склонения имен существительных или на нормализации правописания предложных сочетаний или наречий (о чем пишет С. П. Ожегов на стр. 26—27). Центр тяжести следует перенести на изучение стилистического своеобразия различных фактов языка.

Стилистическая нормализация речевых средств — вот основная и центральная задача, стоящая перед языковедами, разрабатывающими теоретические основы речевой культуры. Общеизвестно, что и слова, и части речи, и синтаксические конструкции в стилистическом отношении своеобразны и неоднородны. Выразительные возможности и стилистическая специфика очевидны, например, в именах прилагательных (*большущий, глазастый, удорожегонок, разлюбежный, глуповатый, здоровенный*), в модальных словах, вносящих в речь оценочно-характеристические качества (*как говорится, с позволения сказать и т. п.*), в употреблении, например, местоимений *ты* и *вы*, имеющих сложную и весьма интересную в стилистическом отношении историю.

У нас пока еще очень мало сделано в области изучения стилистической дифференциации грамматических средств. Между тем с заложенными в них выразительными качествами и характерным для них «стилистическим паспортом» приходится очень серьезно считаться каждому автору или оратору. Таким образом, разработка вопросов речевой культуры побуждает направить усилия языковедов-стилистов в сторону стилистической нормализации языка. Хотя эти нормы весьма разнообразны и исторически изменчивы, однако они представляют собой сложную и целостную систему.

Если внимательно анализировать все погрешности в устной и письменной речи и определять основные пороки и недостатки речевой культуры, то станет очевидным, что типичными и характерными являются недостатки и погрешности именно стилистического характера. В устной и письменной речи образованного человека недопустимые нарушения орфоэпических, грамматических или орфографических норм, как правило, не встречаются. Что же касается погрешностей в области стилистики, то они довольно обычные и ощущаются всеми.

Например, общеизвестно, что «секреты» хорошего слога во многом зависят от умелого расположения слов, что неудачный порядок слов влечет за собой логические неточности или нелепости. В подтверждение сошлемся на ошибки в некоторых газетных сообщениях. Например, в заметке об экспедиции по борьбе с саранчой читаем: «Одновременно с практической работой участники экспедиции занимались подготовкой специалистов по борьбе с сельскохозяйственными вредителями из местного населения» («Вечерняя Москва» 12 X 55). Фраза построена так, что можно подумать о «сельскохозяйственных вредителях из местного населения». Укажем также на неясность, встречающуюся в названии статьи, которая озаглавлена: «Помощь Индии в создании технологического института» (этот же номер «Вечерней Москвы»). В данном случае неясно, кто кому помогает: Индия нам или мы Индии?

Не случайно поэтому удачному расположению слов придавали очень большое значение наши лучшие стилисты, безупречные мастера слова. Чехов, например, читая многие переводы художественных произведений, отчетливо видел погрешности прежде всего в расположении слов, о чем он рассказывал в письме к А. С. Суворину: «Мне кажется, беллетристику я переводил бы великолепно; когда я читаю чужие переводы, то произвожу в своем мозгу перемены слов и перестановки, и получается у меня нечто легкое, эфирное, подобное кружевам»¹.

¹ А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. 15, М., ГИХЛ, 1949, стр. 199—200.

Итак, основные погрешности в устной и письменной речи носят преимущественно стилистический характер. Поэтому и разработка стилистических проблем, а также конкретных вопросов стилистической нормализации современного литературного языка вполне очевидна. Борьба за подлинную культуру речи сводится главным образом к стилистическому совершенствованию языка, а не к своеобразному «ликбезу», как это иногда понимают некоторые стилисты.

*

К стилистическому изучению речевых средств имеют прямое и непосредственное отношение работы, связанные с характеристикой самих стилей языка и определением их своеобразия. В рецензируемом сборнике этой теме посвящена статья В. Д. Левина «О месте языка художественной литературы в системе стилей национального языка» (стр. 67—99).

Основная цель, которая преследуется в этой статье, — определить специфику языка художественных произведений и, главное, доказать, что язык художественной литературы не соотносительен с функциональными стилями литературного языка, что он не может быть поставлен в один ряд с ними.

При решении такой проблемы важно наметить самые принципы и методы исследования. Посвятив свою статью определению места языка художественной литературы в системе стилей национального языка, В. Д. Левин, естественно, должен был в первую очередь охарактеризовать эту «систему» стилей, т. е. конкретно назвать, какие же стили национального языка он имеет в виду. После того, как эта система была бы в какой-то мере охарактеризована, разобравшись в целом, можно было бы определять и место в нем языка художественной литературы. К сожалению, в статье этого нет, что следует рассматривать как существенный ее недостаток.

Не называя конкретно, какие же стили национального языка сопоставляются им с языком художественной литературы, В. Д. Левин с начала и до конца статьи пользуется туманными и сбивчивыми терминами и выражениями, например: «функциональные стили общего языка», причем остается неясным, что подразумевается под «общим языком»; на стр. 71 и 83 слово «общий» взято в кавычки; «функциональные стили литературного языка», причем неясно, каковы стили литературного языка и чем они отличаются от стилей «общего» языка; «функциональные разновидности»; «язык художественный не может быть противопоставлен языку „общему“, „практическому“; «отграничения языка художественной литературы от функций и разновидностей речи» (а не языка?); «... от всех остальных стилей». Таким образом, не указав и не раскрыв системы этих «остальных» стилей национального языка, В. Д. Левин сразу приступил к определению в этой загадочной системе места языка художественной литературы (причем этого «места» так и не нашлось). Статья оказалась вследствие этого написанной не на объявленную в заглавии тему.

Но более существенным и вытекающим из первого недостатка является самый принцип рассуждения, избранный автором статьи. Получилось так, что известное (язык художественной литературы) В. Д. Левин стал сопоставлять с неизвестным (система стилей национального языка) и говорить о соотносительности или несоотносительности этих категорий. От применения такого метода страдает, конечно, не только существо дела, но и читатель.

Обратимся к существу дела, т. е. доказательству того, что язык художественной литературы не соотносительен с другими стилями литературного языка (хотя в статье упоминается, как указывалось выше, и национальный, и «практический», и «общий» язык). Обычно одна ошибка влечет за собой другую, так как неверное исходное положение неизменно потянет за собой и другие.

Рассматривая только своеобразие речевых средств и приемов их употребления в языке художественной литературы и не потрудившись сделать то же самое, например, в области языка публицистики, В. Д. Левин построил систему доказательств, которые должны подтвердить справедливость выдвинутого им положения. Но, игнорируя анализ языка публицистических произведений, автор не заметил, что все приводимые им аргументы в пользу несоотносительности языка художественной литературы со стилями литературного языка полностью относятся и к языку публицистических произведений. Постараемся доказать это, приводя основные тезисы В. Д. Левина (пока без всякой критической оценки).

1. «Нет такого факта языка, который не мог бы быть употреблен в составе художественного произведения». Если предположить, что это положение верное, то окажется, что оно целиком распространимо и на язык публицистики, ибо перо хорошего публициста не чуждо всего того, что употребляется писателем в художественной литературе.

2. Язык художественной литературы «лишен всякой стилистической замкнутости». Это полностью применимо и к публицистике, ибо о какой стилистической замкнутости языка можно говорить, имея в виду образцовые публицистические произведения,

написанные на самые разнообразные темы и часто принадлежащие тем же мастерам слова (ср. публицистические произведения Горького, А. Толстого, Леонова).

3. Если язык художественного произведения «может представлять собой целую систему соотносительных стилей», то почему же этого нельзя сказать о языке хорошего публицистического произведения, в стилистическом отношении тоже весьма многогранного?

4. Допуская, что «определенная стилистическая ограниченность того или иного художественного произведения может объясняться, между прочим, и степенью широты охвата явлений действительности в данном произведении», В. Д. Левин как-то забывает, что это положение в равной степени применимо и к публицистике.

5. Язык художественной литературы не может быть поставлен в один ряд со стилями литературного языка «хотя бы уже потому, что выбирает их в себя». Трудно предположить, что язык публицистики так однообразен и ограничен, что он не вбирает в себя элементы других стилей. В подтверждение можно сослаться на постоянное использование в публицистике речевых средств, характерных для языка художественной литературы, науки, искусства, производства, быта и т. п.

6. Специфика языка современной художественной литературы определяется его эстетической функцией, которая «раскрывается в его подчиненности идейно-художественному замыслу писателя». Отказывая, видимо, языку публицистики в эстетических качествах, В. Д. Левин поступает безусловно неправильно. Дело в том, что образцовые произведения талантливых публицистов в эстетическом отношении по-своему весьма специфичны. И уж, конечно, подчиненность языка идейному замыслу автора в них неоспорима.

Таким образом, становится вполне очевидной несостоятельность такого рода аргументации, построенной по способу сопоставления известного с неизвестным, т. е. осуществленная без детального анализа языка не только художественных, но и других произведений.

Если подвести предварительные итоги рассуждениям В. Д. Левина, то окажется, что имеется: 1) система стилей литературного языка и 2) система стилей языка художественной литературы, которая не входит в состав стилей литературного языка, а представляет собой какую-то автономную область. Что же в таком случае представляет собой литературный язык и почему важнейшая составная его часть — язык художественной литературы — оказалась оторванной и изолированной от него?

Вполне очевидно, что вся эта путаница объясняется каким-то своеобразным и неправильным пониманием стиля языка и принципов его анализа. В этом можно убедиться, проследив за некоторыми рассуждениями автора относительно методологии изучения стилей. Как известно, до сих пор было принято полагать, что стили языка — это, выражаясь философски, объективно и независимо от нашего сознания существующие в языке исторически сложившиеся его разновидности. Но В. Д. Левин рассуждает иначе: по его мнению, стили языка создаются путем применения некоторых принципов лингвистического анализа. Указав, что «выделение стилей опирается на два взаимообусловленных факта: 1) на наличие специфических... фактов речи; 2) на относительную стилистическую „замкнутость“, ограниченность стилиа...», он затем делает следующий вывод: «Ведь, собственно, последовательное и выдержанное применение этих принципов и создает определенный языковой стиль» (разрядка наша. — А. Е.).

Во многом пафос рецензируемой статьи полемически заострен против определения стилей языка как «семантически замкнутых, экспрессивно-ограниченных и целесообразно организованных систем средств выражения». Цитируя это определение, В. Д. Левин умалчивает, что оно было сформулировано В. В. Виноградовым еще в 1946 г. и что позднее он дал новое определение стиля. Бесспорно, полемика не должна вестись без учета новейших работ и эволюции самих взглядов исследователей на предмет обсуждения.

Говоря о системе стилей литературного языка и доказывая, что язык художественной литературы не соотносительен с этими стилями, В. Д. Левин, безусловно, должен был дать хотя бы рабочее определение стиля. В статье этого, к сожалению, не оказалось, и спорить на тему, является ли язык художественной литературы стилем литературного языка или это не стиль, нельзя без хотя бы общего представления о том, что автор вкладывает в понятие стиля. Если же иметь в виду определение стиля, данное В. Д. Левиным во время дискуссии по стилистике в журнале «Вопросы языкознания» (стиль — «...совокупность обладающих определенной окраской языковых средств, которые образуют здесь цельную, законченную систему»¹), то язык художественной литературы как система речевых средств, обладающих «определенной окраской», безусловно, является стилем литературного языка.

Следует со всей определенностью сказать, что споры по поводу важнейших вопросов стилистики и истории литературного языка станут плодотворными лишь в том

¹ См. ВЯ, 1954, № 5, стр. 75

случае, если будет выработано правильное и четкое определение стиля, названы его важнейшие признаки и, главное, — изучены основные разновидности литературного языка, а также разговорно-бытовой речи.

Правильное решение проблемы стиля как основного предмета стилистики станет возможным, если мы будем рассматривать стиль как разновидность языка, отличающуюся своеобразным строем речи, т. е. будем рассматривать стиль как категорию структурно-синтаксическую. Именно своеобразием строя речи, характером подбора и объединения речевых средств отличаются друг от друга любые стилевые разновидности литературного языка. Поэтому так необходимо сопоставительное изучение строя речи, характерного для различных видов литературного языка, например, для документально-деловой переписки (протокол, заявление, судебное решение и т. п.), для научных работ (рецензия, лекция) и др.

Выдвигая на первый план изучение структурно-синтаксических признаков стиля, исследователи направят свои усилия на анализ основного и важнейшего его свойства, в зависимости от которого находятся другие признаки, создающиеся в силу стилистической дифференциации речевых средств и отнесенности к каждому из стилей характерных для них фактов языка. Это поставит исследователей перед необходимостью характеризовать стиль и как категорию лексико-семантическую, ибо как в составе лексики, так и в значениях слов со всей очевидностью прослеживается их стилистическая дифференциация.

Отметим также в статье В. Д. Левина явно неверные положения. К числу последних относятся, например, его категорическое утверждение, будто бы «нет такого факта языка, который не мог бы быть употреблен в составе художественного произведения». Известно, что сторонников такого взгляда строго осудил еще А. М. Горький, решительно выступивший против такой «неразборчивости», против привлечения в художественную литературу всякого речевого «хлама». И существо борьбы Горького за чистоту языка можно понять во всей глубине лишь в том случае, если учитывать, что он призывал внимательно просеивать и фильтровать речевые средства общенародного языка. И только в том случае, если им удастся пройти через многие фильтры и выдержать это испытание, они оказываются пригодными для употребления в художественной литературе. Мало ли в общенародном языке, включая его диалекты, есть искаженных, грубых, а иногда просто нецензурных речевых средств, которые писатель ни при каких обстоятельствах не имеет права употреблять, так как делать это запрещает мораль культурного человека. Если же данный тезис В. Д. Левина применить к языку, например, публичных выступлений, то тогда станут совершенно излишними вообще какие бы то ни было разговоры о культуре речи, потому что эта проблема окажется надуманной и ненужной.

*

В сборнике, к сожалению, не поставлены конкретные задачи изучения и совершенствования устной публичной речи. Между тем настало время во весь голос говорить о развитии ораторской речи, об изучении и обобщении опыта лучших ораторов, о разработке пособий по красноречию, в которых так нуждаются наши лекторы, докладчики, пропагандисты, — словом все, кто имеет дело с публичными выступлениями.

Известно, что во главе блестящей плеяды ораторов пролетарской революции стоял В. И. Ленин, публичные выступления которого в свое время получили восторженную оценку И. В. Сталина и А. М. Горького. «...Вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю конференцию», «непреодолимая сила логики», — так характеризовал И. В. Сталин ораторское мастерство В. И. Ленина, подчеркивая, что «необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие ригоризма, отсутствие головомучительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление, — все это выгодно отличало речи Ленина от речей обычных „парламентских“ ораторов»¹.

Языковеды-стилисты, направляя свои усилия на разработку проблем ораторской речи, на изучение истории различных ее видов, должны прежде всего правильно охарактеризовать самые закономерности развития красноречия. Следует напомнить и подчеркнуть, что еще в XIX в. развитие русского красноречия шло в двух направлениях: подъем и развитие истинного красноречия наблюдались в среде революционно-демократических деятелей, прибегавших к ораторскому слову как к мощному и испытанному оружию в борьбе нового мира со старым; упадок и перерождение красноречия в красноречье были характерны для буржуазно-дворянской среды, вследствие чего была как бы скомпрометирована самая идея красноречия, а слово «оратор» стало выступать как синоним красноречия, фразера, болтуна. Русская художественная литература хорошо отразила эти две линии развития публичной речи, и сами писатели обычно выступали как горячие сторонники развития подлинного красноречия. Картину упадка

¹ И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 55.

культуры публичной речи с особой силой нарисовал Чехов в статье «Хорошая новость»¹. Узнав в 1892 г., что в Московском университете вводится преподавание декламации, которая, как определял Чехов, учит говорить «красиво и выразительно», он высказал в этой статье свои взгляды на красноречие, его состояние и развитие. Существо этих взглядов таково: «и в древности и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры»; люди, равнодушные к ораторскому искусству, лишают себя «одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку», «в обществе, где презирается истинное красноречие, царит риторика, х а н ж е с т в о слова, или пошлое красноречие»; «мы, русские люди, любим и поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном запустении».

Указав, что в земских и дворянских собраниях говорят «вяло, беззвучно, тускло», Чехов переходит далее к судебным ораторам, заявляя, что в обеих столицах насчитывают настоящих ораторов пять-шесть. «На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и понимать, только приспособившись к ним». Наконец, снижение уровня речевой культуры в среде буржуазно-дворянской интеллигенции Чехов подтверждает ссылками на рассказы и анекдоты: «Ходит анекдот про некоего капитана, который будто бы, когда его товарища опускали в могилу, собирався прочесть длинную речь, но выговорил „будь здоров!“, крикнул и больше ничего не сказал».

Отдавая себе отчет, что в условиях действительности 80—90-х годов прошлого века трудно было ожидать развития подлинного красноречия, Чехов обращал свои взоры в будущее: «Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и вразумительно, и красиво, не станут оправдываться тем, что они „не умеют“ говорить. В сущности ведь для интеллигентного человека душно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания — обучение красноречию следовало бы считать неизбежным».

Таким образом, учитывая сложный путь развития красноречия, исследователи должны вместе с тем вскрыть самую специфику ораторской речи, которая представляет собой оригинальное сочетание элементов живой разговорной речи, а также речи книжной, в частности образной, поэтической, ритмически организованной, украшенной. Это ее своеобразие отражается на средствах и — главное — приемах, которые способствуют созданию красноречивого выступления. Разработка этих вопросов будет серьезным вкладом в развитие речевой культуры.

*

В заключение сделаем несколько замечаний и пожеланий относительно выпуска подобных сборников.

Бесспорно, самый тип такого сборника следует приветствовать, но желательно, чтобы было меньше пестроты, чтобы помещаемые статьи не производили впечатления случайно подобранных, а отличались единством и объединялись вокруг какой-либо общей темы. Строго говоря, статьи В. Д. Левина и И. И. Контунновой по своему характеру, материалу, манере изложения и языку более уместны в ученых записках, нежели в сборнике по культуре речи, рассчитанном на широкие круги читателей.

В первом сборнике следовало подробно рассказать о планах и перспективах работы сектора культуры речи Института языкознания АН СССР. Приходится лишь сожалеть, что редактор сборника С. П. Ожегов не включил в него такого рода программной статьи, хотя в журнале «Вопросы языкознания» он выступал на эту тему².

Необходимо открыть в сборниках отдел дискуссии и обсуждений, посвященных обсуждению вопросов нормализации литературного языка. Целесообразно также расширить отдел «Разные заметки», может быть, назвав его «Справочным отделом». Наряду с дальнейшей разработкой теоретических основ речевой культуры необходимо теперь же приступить к созданию конкретных проектов и планов создания различных пособий по культуре речи: словари синонимов, фразеологических словарей, пособий по орфоэпии, по стилистике устной и письменной речи.

Важнейший вывод, который необходимо сделать, рецензируя данный сборник, сводится к следующему. Пока стилистика не будет разработана и признана одним из важнейших разделов языкознания, решение актуальных проблем развития речевой культуры — в чем в первую очередь живо заинтересованы наши писатели, ученые, партийные и советские работники, учителя, адвокаты, дикторы — не продвинется вперед. У нас нет и не будет хорошего словаря синонимов или фразеологического словаря и дру-

¹ А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. 8, М., ГИХЛ, 1947, стр. 499—501.

² См. ВЯ, 1953, № 1.

гих руководств и справочников до тех пор, пока многие языковеды не перестанут прохладно, а иногда и скептически относиться к проблемам стилистики, к стати сказать, весьма сложным, интересным и ответственным.

Языковеды, откровенно говоря, не помогают нашим писателям в совершенствовании языка художественной литературы, не изучают современную публичную речь, не создают пособий по культуре речи, по теории красноречия. Оставаться так долго и в таком большом долгу перед всей нашей общественностью нельзя. Назрела настоятельная необходимость решительного изменения положения вещей.

А. И. Ефимов

А. Б. Шапиро. Основы русской пунктуации. — М., Изд-во АН СССР, 1955. 398 стр. (Ин-т языкознания.)

Книга А. Б. Шапиро — первая в своем роде: изучением системы русской пунктуации в таком объеме, как мы видим в этой книге, никто еще не занимался. Особенно богато и тонко разработан материал той части книги, где описаны всевозможные случаи употребления знаков препинания (стр. 87—351). Здесь изучаются и некоторые вопросы синтаксиса; поэтому труд А. Б. Шапиро является вкладом и в нашу синтаксическую литературу. Книга заслуживает внимательного изучения и подробного обсуждения.

Известно, что пунктуация вызывает много споров — как принципиального характера, так и практического. Принципиальные споры в основном сводятся к следующему: лежит ли в основе пунктуации интонация (ритмомелодика) или синтаксический смысл¹. Но прежде чем решать этот спор, надо решить едва ли не основной для теории пунктуации вопрос: является ли письменная речь самодовлеющей областью, не связанной с устной речью, или же устная речь есть основа письменной речи? А. Б. Шапиро склонен к первому решению. Впрочем при анализе конкретных фактов пунктуации он часто отступает от своих принципиальных установок.

С поставленным здесь вопросом непосредственно связан вопрос об интонации как синтаксическом средстве языка. Некоторые языковеды не относят интонацию к числу грамматических средств. Когда А. Б. Шапиро пишет, что «... пунктуация является одним из очень выразительных средств передачи тех сторон содержания, которые либо не могут вовсе, либо не могут во всей полноте и глубине передаваться при помощи слов и грамматического оформления высказывания» (стр. 71), то читатель невольно приходит к выводу, что автор не считает интонацию одним из средств «грамматического оформления высказывания». Ведь если бы под грамматическим оформлением подразумевалась и интонация, слова автора означали бы, что существуют такие стороны содержания речи, которые не могут вовсе передаваться никакими языковыми средствами. Как же они передавались бы? И откуда мы знали бы, что они существуют?

На стр. 59 читаем: «В языках существуют, кроме лексики и грамматики, многие и разнообразные вспомогательные средства, которыми говорящие и пишущие пользуются в процессе языкового общения». Какие же это вспомогательные средства? Повидимому, автор имеет в виду интонацию, считая, что она не входит ни в лексику, ни в грамматику.

Однако, не признавая интонацию грамматическим средством, А. Б. Шапиро не всегда последователен. На стр. 97 разбирается пример: *Жаль бедную Ларису Дмитриевну! Жаль*. Анализ этой реплики автор заключает мыслью о том, что «для выражения указанного смыслового оттенка» служит «оформление второго *жаль* как самостоятельного предложения». Но чем же оформлено слово *жаль* как самостоятельное предложение? Очевидно, интонацией. Значит, интонация все-таки служит для грамматического оформления речи, хотя она не признается одним из грамматических средств.

Для знаков препинания характерно то, что они ассоциируются с интонацией устной речи. Однако в определении знаков препинания А. Б. Шапиро избегает указания на интонацию. Он их определяет как «знаки, ставящиеся между словами, а не над словами и буквами или под ними и не между составными частями сложных слов» (стр. 57). О функции знаков препинания А. Б. Шапиро пишет: «Знаки препинания... обслуживают те стороны письменной речи, которые не могут быть выражены буквами в соответствии с существующими правилами орфографии» (стр. 5).

¹ В термин «синтаксический смысл» в настоящей рецензии вкладывается то понимание, которое изложено в статье Л. В. Щербы «Пунктуация» («Лит. энциклопедия», т. IX, М., 1935, стр. 366),

Это определение слишком широкое и неточное. Ведь в таком случае знак сноски пришлось бы считать одним из знаков препинания¹: этот знак тоже обслуживает такую сторону письменной речи, которая не может быть выражена буквами. Пусть вопрос о знаке сноски — мелочь, но и на этой мелочи выявляется, что то определение знаков препинания, с которого начинается изложение книги А. Б. Шапиро, прежде всего слишком широко. И это потому, что автор сознательно избегает связывать пунктуацию с интонацией.

Цель пунктуации — сделать чтение уверенным, т. е. однозначным и легким, не требующим специальной расшифровки. А. Б. Шапиро по существу так и формулирует цель пунктуации (стр. 86). Но здесь же он решает и вопрос о том, в отношении чего именно достигается уверенность и легкость в чтении: знаки препинания помогают «... разбираться в синтаксической структуре текста и в значениях, вложенных в него пишущим» (стр. 86). Однако вопрос этот решается не так просто, если только мы не хотим заменить объективное описание существующей пунктуации ее субъективным идеалом.

Известно, что пунктуация возникла как система обозначения пауз (см. стр. 57 книги), следовательно, как система обозначения одной из сторон интонации. Интонация же связана с синтаксическим смыслом. Таким образом, имеется прямое соотношение между пунктуацией и синтаксическим смыслом речи. При этом интонация и синтаксическое значение речи часто связаны между собою однозначным соответствием: одинаковым интонациям часто соответствуют одинаковые синтаксические значения и обратно. В этих случаях вопрос о том, соотносится ли пунктуация с интонацией или с синтаксическим значением, становится беспредметным. Примеры: *Сосед приехал. Сосед приехал?* Точку и вопросительный знак в этих предложениях можно трактовать двояко. С одной стороны, они объясняются так: точка обозначает понижение, а вопросительный знак повышение тона к концу фразы. С другой стороны, точка обозначает повествовательный характер предложения, а вопросительный знак — вопросительный его характер. Эти толкования не противостоят друг другу, и оба они равно законны.

Вот еще примеры однозначного соответствия интонации и синтаксической стороны речи: *Я читаю, а ты пишешь.* Запятую можно понимать и как знак повышения тона, и как показ границы между предложениями (хотя эта граница показана союзом). *Видел я там и дядю, и тетю, и двоюродных братьев.* Запятые соответствуют определенному интонационному рисунку и в то же время определенному синтаксическому значению — сочинительной связи.

В этих случаях (а их легко привести значительно больше) между синтаксическим значением, интонацией и пунктуацией царит, можно сказать, полная гармония: пунктуацию здесь можно соотносить и с интонацией, и с синтаксической стороной речи. Но раз можно, значит и нужно, потому что у нас нет оснований предпочитать одно решение другому. Эта идея, может быть не всегда достаточно четко, проводится в той статье Л. В. Щербы о пунктуации, которая цитируется в книге А. Б. Шапиро (стр. 52 и 53).

Итак, интонация подчиняется смыслу, а пунктуации — интонации и смыслу. Отношение интонации к смыслу можно назвать «выражением» (интонация выражает синтаксический смысл); отношение пунктуации к интонации — «передачей» (пунктуация передает интонацию); отношение пунктуации к смыслу — «указанием» (пунктуация указывает на синтаксический смысл). Вопросительный знак в конце предложения *Сосед приехал?* передает повышение тона и тем самым указывает на выражаемый интонацией вопросительный смысл. Вопрос, синтаксична ли наша пунктуация или интонационная, пока, таким образом, оказывается не слишком трудным, а слишком легким: пунктуация соотносится одновременно с синтаксисом и с интонацией.

Однако отношение между интонацией и синтаксическим строением речи оказывается не всегда одинаковым. Есть случаи, когда интонация и синтаксическое строение не соответствуют друг другу, т. е. случаи, когда различные интонации соответствуют одному и тому же синтаксическому строению или, наоборот, различные синтаксические строения соответствуют одной и той же интонации, а также случаи, когда интонация не имеет синтаксического значения или, наоборот, синтаксическое строение не находит себе выражения в интонации. В этих случаях пунктуация уже не может находиться в двойном подчинении, а должна следовать либо за интонационной стороной речи, либо за ее синтаксической стороной.

Как же обстоит дело в случаях расхождения между интонацией и синтаксической стороной речи? Рассмотрим отдельные факты нашей письменной речи: *Ты уж, Павлуша, постарайся.* — *Ты уж об этом постарайся.* Здесь интонация одинакова (обращение *Павлуша* голосом не выделяется, по крайней мере может не выделяться), а синтаксическое строение различное; пунктуация следует за последним. *Ведь я тебе говорил, что опоздаешь, а ты копался, копался...* Здесь запятая перед *что* обусловлена

¹ Ср. точку зрения А. А. Барсова и возражения против нее в книге А. Б. Шапиро (стр. 20 и 22).

синтаксически; интонационно она может и не требоваться. «Они предложили нам свои услуги, и, уцепясь за колеса, с криком привалялись тащить и поддерживать нашу тележку» (Лермонтов, Бэла). Интонация требовала бы запятой перед *и* и отсутствия запятой после *и*; пунктуация, как видим, здесь противоречит интонации. Во всех этих случаях пунктуация указывает на синтаксическое строение, не передавая интонации.

С другой стороны, есть случаи (правда, более редкие), когда пунктуация следует за интонацией вопреки синтаксическому строению. Так, например, после невопросительного сложного предложения, которое заканчивается косвенным вопросом, иногда ставится вопросительный знак: «Работать он не мог, да и сам не знал, чего ему хотелось?» (Тургенев, Клара Милич); «Я спросил, как же он стал отшельником?» (Горький, Отшельник). Л. А. Булаховский справедливо усматривает в подобных случаях победу «собственно-интонационного момента» над «чисто грамматическим правилом»¹.

Иногда вопросительное предложение не сопровождается вопросительным знаком, и это явно отражает соответствующую интонацию. Например: «Он торопит Марию Федоровну. Зачем тащить с собой столько барахла. Брось; раздай; едем» (Панова, Времена года).

В конце более или менее длинного вопросительного предложения вопросительный знак часто не ставится. Например: «Как рассчитывать на полную укладку нефтепровода, если трубы и оборудование поступили не полностью и неизвестно, можно ли рассчитывать на их поступление» (Ажаев, Далеко от Москвы). «Разве еще не настало время, чтобы все эти факты обсудить, дать им соответствующую оценку и на основе этих фактов принять решение, достойное Организации Объединенных Наций, и сделать это теперь же, немедленно, не откладывая это на какое-то неопределенное время, может быть *ad calendas graecas*, на тот час, который никогда и не наступит» («Правда» 27 XI 52. Из выступления А. Я. Вышинского в Политическом комитете ООН).

В этих примерах фраза начинается интонационно как вопросительная, но к концу фразы вопросительность интонации сходит на-нет. Точка здесь соответствует интонации, вопреки синтаксическому смыслу. Вопросительный знак навязывал бы несуществующую и трудную для произношения вопросительную интонацию.

Победу интонации над синтаксисом следует усматривать и в правиле, согласно которому на стыке двух союзов, принадлежащих к разным предложениям, запятая часто или даже обычно опускается (*Я знал, что если я это сделаю...*). Сюда же относится и так называемое авторское тире, например: «Красивые — всегда смелы» (Горький, Старуха Изергиль); «И всего грустнее то, что писатель прикоснулся к теме значительной и горячей — холодно» («Лит. газета» 28 VI 50).

Близки к отмеченным случаям, когда синтаксическая основа знака препинания хотя и существует, но с трудом поддается истолкованию, в то время как интонационная его основа совершенно ясна. Например: «Из-под сена виднелись: самовар, калка с мороженой формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки» (Л. Толстой, Детство). Двоеточие здесь явно соответствует интонации, а синтаксически его трудно объяснить. (Ср. попытку объяснения у А. Б. Шапиро на стр. 248—249, где все-таки без обращения к интонации не обходится).

Сюда же, собственно, относится и постановка точки в конце фразы в тех случаях, когда установление границ между фразами является более или менее субъективным². Вот характерный пример разбивки речи на однословные фразы, где сам автор объясняет интонационную необходимость точек: «Перед глазами „души моей“ встают величественные видения: вот безукоризненно строгое и элегантное фойе Художественного театра... Репетиция еще не началась, но актеры уже собрались, ждут Константина Сергеевича и Владимира Ивановича. А кто ждет? — Лилина. Книппер. Савицкая. Бутова. Качалов. Москвин. Леонидов. Грибунин. Лужский. Вишневский».

После каждого из этих имен надо поставить точку, а потом долго, долго*молчать, чтоб встал образ каждого из них во всей ясности своего значения, во всей неодолимой власти своего обаяния»³.

Теоретически возможны и такие случаи, когда пунктуация не соответствует ни интонации, ни синтаксическому строению. Это — пунктуация традиционная, т. е.

¹ См. Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, т. I, Киев, 1952, стр. 417.

² «Обыкновенно, — указывает Л. А. Булаховский, — точка ставится в соответствии ритмомелодиче законченного, достаточно резко отделенного содержания. Возможны, однако, случаи, когда автор хочет связанные между собою содержания дать искусственно отделенными как фразные, самодовлеющие. В этих случаях точка передает эту установку на ритмомелодический, усиливающий значение отрываемых друг от друга частей возможной „большой“ фразы, разрыв...» (Л. А. Булаховский, указ. соч., стр. 416).

³ С. Бирман, Мудрые воспитатели, «Лит. газета» 23 X 48.

соответствующая бывшей интонации, или бывшему синтаксическому строению, или тому и другому вместе, например: *Вот, кто мне об этом сообщал.* Однако сейчас в подобных случаях запятую уже не ставят.

Более сложный случай представляет многоточие. Иногда оно, как и другие знаки препинания, соответствует одновременно синтаксической и интонационной стороне речи. Но оно может обозначать и исключительно интонационную сторону, заминку, затруднение при произнесении речи. А иногда оно означает скрытый намек, иронию, т. е. имеет значение не синтаксическое. Ср. два заголовка статей в стенгазете: *Студенты много занимались* и *Студенты много внимания...* Второй заголовок мы воспринимаем как иронический.

Из всего сказанного следует, что в строении русской пунктуации проявляются разные принципы:

1. Часто пунктуация соответствует одновременно синтаксическому значению речи и интонации, следовательно, она определяется и синтаксической стороной, и интонацией.

2. Часто пунктуация соответствует синтаксическому строению речи, противореча интонации.

3. Реже пунктуация соответствует интонации речи вопреки ее синтаксической стороне или же независимо от синтаксической стороны.

4. Теоретически возможна и пунктуация «традиционная», т. е. противоречащая как синтаксической, так и интонационной стороне речи, но определяемая бывшим синтаксическим строением или бывшей интонацией.

Каждый знак препинания прикреплен к известным интонационным рисункам и одновременно к известным синтаксическим явлениям. Однако синтаксическая сторона речи обозначается пунктуацией полнее и систематичнее, чем сторона интонационная. Что из синтаксиса обозначается пунктуацией? Прежде всего, членение речи на фразы, на предложения, иногда на синтагмы; далее — отношение между предложениями, в некоторых случаях — сочинительные и параллельные связи внутри предложения; особые типы связей (обращение, вводное слово, междометие); иногда полупредикативность в отличие от атрибутивности; далее — вопросительный характер предложения, восклицательный характер предложения; иногда особая важность какой-нибудь части предложения (обособление).

Если верно, что русская пунктуация имеет тенденцию становиться все более синтаксичной (смысловой), то эта тенденция во всяком случае еще не достигла завершения. Впрочем некоторые новейшие явления, например, пропуск вопросительного знака в силу отсутствия соответствующей интонации, свидетельствуют и об обратной тенденции.

А. Б. Шапиро отвергает самый вопрос о том, соотносится ли пунктуация с интонацией или с синтаксической стороной речи. Он пишет: «Спор о том, что призвана выражать в письменной речи пунктуация — ритмомелодию речи или синтаксическую структуру, — не может быть в такой постановке решен ни в пользу одной, ни в пользу другой точки зрения. Ни ритмомелодия, ни синтаксическая структура не существуют в языке и в речи как самостоятельные, автономные области. Как та, так и другая служат для организации лексического материала» (стр. 76).

Возражая против идеи Л. В. Щербы о двойном соотношении пунктуации, А. Б. Шапиро пишет: «этим он (Л. В. Щерба. — А. З.) ставит „звуковые явления“ и „смысл“ в один ряд, логически противопоставляя их друг другу как равноправные по существу явления...» (стр. 62). Но двойное подчинение пунктуации вовсе не означает, что «звуковые явления» и «смысл» ставятся в один ряд. И из того, что интонация не автономна, вовсе не следует, что она не может как-то передаваться графическими знаками. Ведь звуки речи тоже не «самостоятельная, автономная область», однако никто не отрицает, что буквы означают звуки.

А. Б. Шапиро сближает пунктуацию с синтаксическим смыслом, отрывая ее от интонации устной речи. Это связано со стремлением автора при установлении принципов пунктуации замкнуться в рамках письменной речи, трактовать письменную речь как автономную по отношению к устной речи (правда, при изложении отдельных правил пунктуации автор не всегда последователен).

В статье А. Б. Шапиро «О проекте правил русской орфографии и пунктуации» сформулировано следующее теоретическое положение: «Так как задачей пунктуации является указание на синтаксическое членение письменного текста, на смысловые взаимоотношения между отрезками расчлененного посредством знаков препинания предложения и, в некоторых случаях, на характер заключающегося в предложении содержания (вопрос, оттенки эмоций и т. д.), то правила формулируются в основном путем указаний на синтаксическую структуру предложения и, где это необходимо, на характер содержания последнего»¹.

Таким образом, сопоставлению подлежат внешняя (графическая) внутренняя

¹ «Р. яз. в шк.», 1954, № 4, стр. 47.

(смысловая) стороны письменной речи, без привлечения элементов устной речи. Между письменной и устной речью — не связь, а в лучшем случае аналогия. Но зачем же отрывать синтаксическое строение от выражающей его интонации? Письмо не оторвано от речи, и пишущий не может, хотя бы время от времени, не представлять себе и мелодической стороны устной речи. На стр. 82, рассматривая те случаи, где пунктуация соответствует одновременно интонации и синтаксису, автор напоминает, что существуют и очень многочисленные случаи, «когда знакам препинания, без которых нельзя обойтись при письме, не соответствует в устной речи никакой ритмомелодии». Но если нет постоянного соответствия между пунктуацией и ритмомелодией, это еще не значит, что между ними нет никакой связи. Отвергая неправильную, одностороннюю позицию, А. Б. Шапиро сам занимает противоположную, тоже одностороннюю и тоже неправильную позицию.

Наша пунктуация не однопринципна. Представление о стройной системе с м ы с л о в о й пунктуации, как и представление о стройной системе и н т о н а ц и о н н о й пунктуации, может создаться лишь в результате произвольного замалчивания одного из случаев.

Стремление автора книги связать пунктуацию лишь со смыслом, минуя интонацию, приводит к упрощению многообразия явлений письменной речи: из равно возможных и равно законных толкований избирается одно; некоторые объяснения не доводятся до конца, отдельные явления и вовсе выпадают из поля зрения автора. Так, например, А. Б. Шапиро пишет: «Далеко не всегда возможно, например, в русском языке твердо отличить на основании лексического значения вводные слова от слов или групп слов, являющихся членами предложения, ср.: „Он может быть в конторе или на складе“, „Все это должно быть так“. Без обозначения посредством знака препинания невозможно в русском языке различение смысловых оттенков причастных оборотов, стоящих перед поясняемым существительным в тех случаях, когда эти обороты содержат в себе дополнительное значение причинности, условности и др. и когда они не имеют таких дополнительных значений...» (стр. 11).

Да, без пунктуации этого не различить на письме. Но ведь и в устной речи этого не различить без интонации. Можно ли не заметить такой явной связи пунктуации с интонацией? Подобные же примеры найдем на стр. 94, 95, 96, 81, 154 и др. Даже разбирая примеры, взятые из драматических произведений, А. Б. Шапиро находит возможным говорить о непосредственной связи пунктуации и смысла, минуя интонацию, которой драматург явно требует от артиста (ср. стр. 96 внизу и др.).

Автор считает, что у читающего «на основе его общественного опыта пользования языком в устной форме» имеется представление о предложениях и словах как о речевых единицах (стр. 8). Откуда же это представление? Какими звуковыми средствами выражается членение речи на предложения и слова? Очевидно, интонацией — по крайней мере для предложений и для знаменательных слов (что касается служебных слов, то здесь дело обстоит сложнее). А повествовательность, вопросительность, о которых говорится там же, в устной речи несомненно выражаются интонацией.

Желание обязательно подвести пунктуацию непосредственно под смысл, минуя интонацию, иногда приводит к внутренним противоречиям (ср. стр. 216 и 217).

Как же А. Б. Шапиро объясняет те случаи, когда пунктуация явно обусловлена интонацией в о п р е к и синтаксической стороне? В общем разделе книги подобные примеры не рассматриваются. Там же, где речь идет о частных правилах, автор рассматривает некоторые из подобных примеров чисто эмпирически (в таком-то случае — такой-то знак), не касаясь места их в системе пунктуации в целом (см. стр. 120, 198, 203 и др.).

Автор кое-где рекомендует ту или другую пунктуацию. И здесь ему иногда вредит игнорирование интонационного момента (например, рекомендация двоеточия на стр. 244). На стр. 98, говоря об употреблении точки в конце «повествовательного» предложения, автор пишет: «В устной речи такие предложения характеризуются постепенным понижением тона в конце». Такое указание звучит для читателя несколько неожиданно. Он вправе спросить: зачем нам знать, чем характеризуется то или другое предложение в устной речи, раз в основу положен принцип соотнесения правил пунктуации лишь с синтаксическим строением и с содержанием?

Как хороший языковед, А. Б. Шапиро не мог последовательно выдержать принятую им точку зрения. В конкретном изложении правил он нередко сопоставляет пунктуацию и интонацию (см., например, стр. 107, 116, 166, 185, 187, 209—210, 235 и др.). Впрочем и в общей, принципиальной части книги мы с удовлетворением находим признание, что «между некоторыми ритмомелодическими фигурами и знаками препинания» «соответствие безусловно существует» (стр. 60). Но если оно существует, какая польза для теории пунктуации от того, что это соответствие не вводится в научный оборот, не учитывается?

«Фактически все пишущие, — признает А. Б. Шапиро, — в дополнение к известным им правилам пунктуации, руководствуются при постановке знаков препинания также и некоторыми показателями ритмомелодии, идущими от устного произношения. Пишущий «мысленно» (а иногда и вслух) произносит предложение или часть его,

чтобы уяснить себе, какой в том или ином случае следует поставить знак препинания». Особенно это подтверждается постановкой «авторских тире» (стр. 47).

Это верно. Но это не положено в основу всей системы изложения автора. На стр. 58 читаем: «... наша современная пунктуация в целом удовлетворительно обслуживает наиболее важные практические потребности пишущего, стремящегося выразить в тексте те или иные смысловые отношения и оттенки». Тут «показания ритмомелодии, идущие от устного произношения», уже исчезли.

А. Б. Шапиро неподсудователен еще и в другом вопросе — в вопросе о системности, последовательности нашей пунктуации. «Так как, — читаем мы в одном месте, — процесс развития пунктуации шел почти стихийно, лишь изредка и только в отношении частных своих правил подвергаясь обязательной регламентации, то существующая в настоящее время пунктуация не отражает, как об этом говорилось выше, какой-либо единой, последовательно проводимой системы» (стр. 57—58). В другом месте (стр. 352) автор считает нашу пунктуацию «последовательной системой принципов и правил». Эти утверждения исключают одно другое. Верным нужно признать первое.

Основной недостаток принципиальной части книги «Основы пунктуации» заключается в том, что автор старается представить пунктуацию как систему, не связанную с интонацией, а связанную только со смысловой стороной речи. Этот недостаток в некоторой мере выправлен во второй части книги.

1. II. Зарецкий

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ» В 1953—1954 гг.

(Обзор статей по вопросам языкознания)

Журнал «Иностранные языки в школе» является органом Министерства просвещения РСФСР и рассчитан на широкий коллектив преподавателей иностранного языка в средней школе. Однако не меньший интерес он имеет и для преподавателей иностранного языка в высших учебных заведениях, в том числе и специальных языковых и филологических вузах. Роль журнала как основного органа работников многочисленной армии советских преподавателей иностранного языка несомненно велика: он способствует популяризации новейших достижений советской языковедческой науки и методики преподавания иностранных языков, внедрению результатов научных исследований в практику преподавания, обмену опытом между преподавателями, популяризации передового опыта, повышению методического уровня советских учителей, развертыванию творческих дискуссий по вопросам языкознания и методики и т. д. Все это, естественно, заставляет предъявлять особенно высокие требования к журналу, к печатаемой в нем продукции.

Обычно номер журнала (выходит шесть раз в год) состоит из следующих разделов: передовая (редакционная) статья; статьи по вопросам языкознания; статьи по вопросам методики; опыт школ (обмен методическим опытом преподавателей иностранного языка средней школы); критика и библиография; консультации (ответы на вопросы читателей); хроника, где публикуются сообщения о состоявшихся научно-теоретических и методических конференциях, учительских семинарах, о работе методических объединений и секций учителей иностранных языков, вечерах самодеятельности в школе (проводимых на иностранных языках) и т. д., а также обзор вышедших диссертаций по языкознанию и методике преподавания иностранных языков. В настоящем обзоре мы постараемся дать характеристику статей по вопросам языкознания на материале работ, напечатанных журналом в 1953—1954 гг.

*

Из статей по вопросам языкознания, помещенных в журнале в 1953—1954 гг., четырнадцать посвящено вопросам грамматики, десять — вопросам лексикологии (словарного состава, фразологии, семасиологии, словообразования), две — стилистике, три — проблемам общего и сравнительно-сопоставительного языкознания и две — диалектологии. Семнадцать статей написаны на материале английского, семь — французского и четыре — немецкого языка. Круг вопросов, рассматриваемых в рецензируемых статьях, широк и разнообразен, что свидетельствует о живом интересе советского учительства и преподавателей высшей школы к самым различным проблемам науки о языке, как общим, так и частным.

Среди статей по грамматике десять посвящено вопросам морфологии (характеристик отдельных частей речи, грамматических категорий и форм), две — вопросам синтаксиса и две — смешанного характера. Большое внимание, уделяемое исследованию проблем морфологии, вполне естественно и представляет собою положительное явление; однако нельзя признать нормальным такое положение, что за два года журнал опубликовал только две статьи по вопросам синтаксиса (причем обе статьи принадлежат одному и тому же автору) и две — по смежным синтактико-морфологическим вопросам. Несомненно, многие синтаксические проблемы являются важными и актуальными для практики преподавания языка и все еще ждут своего исследователя; в журнале, однако, этот раздел оказался «в загоне». Причиной этого, нам кажется, является не недооценка синтаксиса, а сложность и плохая разработанность его по сравнению с морфологией, что отпугивает многих грамматистов от синтаксической проблематики. Представляется, что в этом вопросе редколлегия журнала должна не полагаться на самотек, а смелее привлекать специалистов к написанию статей по наиболее важным и спорным вопросам синтаксиса.

Что касается тематики статей по морфологии, то здесь особое внимание уделено таким вопросам, как грамматические категории глагола (времена, наклонения, виды), предлоги и предложные сочетания, артикли, числительные и некоторые другие. Вопросы, затрагиваемые в статьях, имеют актуальный интерес для практики преподавания языка в средней и высшей школе, и необходимость публикации такого рода работ на страницах журнала не подлежит сомнению.

Рамки рецензии, к сожалению, не позволяют подробно охарактеризовать все работы. Остановимся на некоторых, наиболее интересных статьях, давая остальным только общую характеристику.

Статья Т. Н. Сергеевой «О значащем отсутствии артикля перед именами существительными в современном английском языке» (1953, № 1), основанная на ее кандидатской диссертации, интересна как попытка — по нашему мнению, плодотворная и в целом заслуживающая одобрения — дать новую трактовку столь характерного для английского (и других европейских языков) класса слов, как артикль. Автор определяет артикль как служебное слово местоименного характера и подчеркивает, что, как и всякое слово (в отличие от морфемы), артикль характеризуется семантической самостоятельностью, т. е. наличием собственного лексического значения. Употребление артикля, по мнению автора, нужно объяснить, исходя прежде всего не из семантики или синтаксической функции связанного с ним существительного, а из семантики самого артикля, его собственного значения. В связи с этим автор подвергает критике существующее в грамматике подразделение существительных на так называемые «исчисляемые» и «неисчисляемые» и доказывает на многочисленных примерах, что любое существительное, по существу, употребляется с любым артиклем (или без артикля), в зависимости от общего значения сочетания «артикль плюс существительное» в целом.

Основные идеи статьи Т. Н. Сергеевой представляются совершенно правильными и могущими внести ясность в весьма сложный и запутанный вопрос об употреблении артикля, который, как известно, является чуть ли не основной трудностью при изучении английского (и не только английского) языка русской аудиторией. В связи с этим следует подчеркнуть, что столь распространенная теория так называемых «лимитирующих» и «описательных» определений (limiting and descriptive attributes), которые якобы определяют выбор того или иного артикля, является в корне неверной и методически порочной, поскольку она искажает факты языка и неправильно ориентирует учащихся в отношении употребления артикля. Всякий изучающий и всякий преподающий английский язык знает, насколько шатким, искусственным и неубедительным является разделение определений на «лимитирующие» и «описательные», не говоря уже о том, что для огромного количества случаев, в которых существительное стоит без всякого определения, приходится прибегать к антинаучной теории «подразумеваемых» определений.

Несмотря на свою несомненную ценность, статья Т. Н. Сергеевой не лишена и недостатков. Основным недостатком, нам кажется, является то, что автор, слишком увлекшись доказательством семантической самостоятельности артикля, явно переоценивает эту самостоятельность. Не следует забывать о том, что артикль хотя и слово, но слово особого рода — служебное; у артикля его грамматические функции превалируют над его лексическим «индивидуальным» обликом. В статье же, к сожалению, об этих грамматических функциях артикля ничего не сказано.

Одной из наиболее интересных статей по грамматике английского языка является небольшая по объему, но насыщенная по содержанию статья Э. И. Айзенштадт «Количество отрицаний в английском предложении» (1954, № 5). Автор полемизирует с распространенной точкой зрения, согласно которой в английском предложении может быть только одно отрицание. Указывая, что по своему характеру отрицания неоднородны, автор выделяет три основных типа отрицаний в английском языке: отрицательное слово-предложение (*no*), фразовое отрицание, которое в свою очередь может быть общим или частным, и словесное отрицание. Рассматривая вза-

отношения между этими различными типами отрицания, автор приходит к выводу, что в одном и том же предложении различные типы отрицаний могут сочетаться. На основе этого дается следующая формулировка правила употребления отрицаний в английском предложении: «в современном английском языке употребляется только одно фразовое отрицание в одном предикативном комплексе, подлежащее—сказуемое—дополнение» (стр. 38).

С выводами Э. И. Айзенштадт относительно употребления отрицаний в английском языке, убедительно и логично аргументированными, нельзя не согласиться. Однако следует отметить, что формулировка правила употребления отрицаний является все же неполной: во-первых, в ней не отражены такие отрицательные слова, как наречия *never* и *nowhere*, которые также выражают общее фразовое отрицание; во-вторых, эта формулировка не отмечает того факта, что невозможность двойного отрицания распространяется в английском языке не только на предикативные комплексы, но и на словосочетания с неличными формами глагола (например, невозможно сказать *not to see nobody*).

К сожалению, не все статьи, опубликованные в журнале, написаны на столь же высоком уровне, как две рассмотренные выше. Так, не вполне удачными выглядят обе статьи, посвященные вопросу о предлогах в английском языке. Первая из них — статья А. С. Ненюковой «К вопросу о взаимоотношениях между предлогами и обстоятельственными наречиями в английском языке» (1953, № 4) — посвящена проблеме разграничения этих двух частей речи, которые, как известно, в английском языке имеют много общего и не всегда достаточно четко отграничиваются друг от друга. Взгляды автора статьи по этому вопросу не вполне ясно изложены: в начале статьи автор указывает, что наречия и предлоги в английском языке являются все же разными категориями слов, несмотря на все их сходство, в конце же автор приходит как будто к выводу, что они составляют одну категорию слов; более того, получается, что наречие и предлог — вообще не разные слова, но разное употребление одного и того же слова.

Нам представляется, что в целом наречия и предлоги, при всей их близости, являются в английском языке все-таки двумя различными частями речи, каждая из которых обладает своей спецификой, и смешение этих двух разрядов слов недопустимо. Спецификой предлога является, по видимому, присущее ему значение отношения к предмету, которого нет у наречия, не выражающего никакого отношения, а просто обозначающего признак действия или качества. Исходя из этого, нужно признать, что слова типа *of* в конструкции *He was spoken of* являются по своему смысловому содержанию, по лексической связи *he* и *of* не наречиями, а предлогами, поскольку значение отношения выражено в такого рода словах вполне отчетливо. В самом деле, неусвоенному в грамматических «тонкостях» здравому смыслу трудно представить, что *of* в конструкциях *The man I speak of* и *He was spoken of* — две разные части речи. Для того чтобы относить слова к разным частям речи, требуется не только смысловая, но и грамматическая разница, которая существует между двумя *of* в рассматриваемых конструкциях. Грамматически же *of* в конструкциях типа *He was spoken of* предлогом быть не может.

Но, может быть, над грамматистами до сих пор довлеют привычные схемы русской (или латинской, немецкой и т. д.) грамматики, не учитывающие специфических особенностей английского языка, в котором предлог, выражая своим значением отношение к предмету, не обязательно должен грамматически сочетаться с соответствующими словами?

Столь же неясной и противоречивой является трактовка предлогов в статье М. А. Беляевой «К вопросу о предлогах и предложных образованиях в английском языке» (1954, № 2). В статье трактуется вопрос о так называемых фразеологических предложных сочетаниях в английском языке типа *because of*, *in spite of*, *out of*, *up to* и т. д. Автор показывает, что этим сочетаниям присущи все признаки предлогов, как то: связующая функция в предложении, лексическое и синтаксическое единство входящих в состав сочетания компонентов, единое словесное ударение, невозможность паузы после компонентов сочетания и т. д. На этом основании автор приходит к выводу, что фразеологические предложные сочетания принадлежат к числу предлогов. Такого рода утверждение может вызвать только недоумение. Если предлог — это часть речи, т. е. определенная группа слов, то как можно утверждать, что предложные сочетания являются предлогами? Ведь это значит, что сочетания слов являются словами, что абсурдно. Можно говорить, что такого рода сочетания выполняют те же синтаксические функции, что и предлоги, т. е. как бы являясь эквивалентами предлогов, но утверждать, что они входят в группу предлогов, принципиально неверно. Если же такого рода образования, как *because of*, *in spite of* и т. д., действительно обладают всеми признаками предлогов (в том числе и единством, цельностью оформления), то их уже нельзя называть «фразеологическими сочетаниями», ибо в таком случае это — не сочетания, а слова; входящие же в их состав компоненты — не слова, а основы слов (только по традиции сохранившие раздельное написание). Запутанность трактовки этого вопроса в статье М. А. Бе-

ляевой лишний раз свидетельствует о том, насколько неясна трактовка предлога в современной английской грамматике вообще: то ли предлог — часть речи, т. е. определенная группа слов, то ли это — функция того или иного слова (или фразеологической единицы) в предложении, т. е. чисто синтаксическое понятие.

Такой же нечеткой и непоследовательной выглядит статья И. С. Блюх «Об употреблении глагольных временных форм в придаточных предложениях времени в английском языке» (1954, № 1). Автор ставит своей целью трудную, но интересную и практически важную задачу — проследить взаимосвязь и взаимозависимость лексики и грамматики в области употребления глагольных форм в придаточных предложениях времени. Дело в том, что в английском сложном предложении в придаточном времени в тех случаях, когда действие придаточного одновременно с действием главного, глагол стоит то в форме Continuous, то в форме Indefinite; в тех же случаях, когда действие придаточного предшествует действию главного, глагол опять-таки стоит то в форме Perfect, то в форме Indefinite. И. С. Блюх ставит целью выяснить причины употребления то одной, то другой глагольной формы в, казалось бы, идентичных случаях. По ее мнению, выбор глагольной формы определяется в данном случае лексическим характером глагола, а именно — является ли глагол «предельным», т. е. своим значением подразумевает ограниченность действия каким-либо внутренним пределом, или «непредельным», т. е. не подразумевает такой ограниченности. Отсюда делается вывод: значение предшествования или одновременности действия придаточного действию главного предложения выражается либо лексически — значением вводящего союза и лексическим характером глагола, либо грамматически — формой времени глагола (Perfect или Continuous). В тех случаях, когда лексических средств недостаточно для четкого выражения значения предшествования или одновременности, «на помощь» приходят грамматические формы глагола-сказуемого, и наоборот.

В целом нельзя не признать, что статья И. С. Блюх все же не дает удовлетворительного ответа на поставленный вопрос, ибо общие выводы ее не подтверждаются материалом исследования. Если действительно грамматические формы глагола-сказуемого привлекаются к выражению значения предшествования или одновременности только тогда, когда эти значения не находят четкого лексического выражения, то непонятно, почему же после союза *as soon as* («как только», который сам по себе имеет значение предшествования, непредельные глаголы все-таки стоят в форме перфекта. Почему после союза *while* («в то время как», достаточно четко выражающего значение одновременности, «предельные» глаголы все-таки стоят в форме Continuous. И уж совсем непонятно, почему после союза *after* («после того как» даже «предельные» глаголы стоят в форме перфекта; выходит, что здесь значение предшествования выражено как бы «трижды»: и союзом, и лексическим характером глагола, и формой глагола. Сама И. С. Блюх квалифицирует конструкции с *after* как «исключение», не пытаясь найти этому исключению какое-либо объяснение.

Представляется, что основной причиной неудачи автора в его попытке найти объяснение закономерностям употребления временных форм глагола в придаточных предложениях времени является то, что автор базирует свою аргументацию на шаткой основе теории так называемого «лексического характера глагола». Между тем следует подчеркнуть, что при всей ее популярности эта теория (т. е. подразделение всех глаголов на «предельные» и «непредельные») является очень спорной и, во всяком случае в применении к английскому языку, весьма сомнительной. Дело в том, что так называемый «предельный» или «непредельный» характер глагола в большинстве случаев, как известно, становится ясным только из контекста, взятый же сам по себе глагол может обозначать как «предельное», так и «непредельное» действие. Получается, что в большинстве случаев значение «предельности» или «непредельности» не заключено в лексическом значении самого глагола, а как бы «извлекается» из всего контекста в целом. По существу, это подтверждается высказыванием самой же И. С. Блюх о том, что форма Continuous «разрушает представление о пределе», связанное с данным глаголом; если бы значение «предельности» было заключено в самом лексическом характере глагола, то его нельзя было бы «разрушить», ибо грамматические формы того или иного слова никогда не могут «разрушить» его лексического значения (тогда они были бы уже не формами того же слова, но составляли бы новую, особую лексическую единицу). Итак, нельзя не признать, что классификация глаголов английского языка по их лексическому характеру на «предельные» и «непредельные» является крайне искусственной и мало что дает для лингвистического анализа. Построив свое исследование на этом зыбком фундаменте, И. С. Блюх не смогла прийти к убедительным выводам.

Затрагиваемая в статье И. С. Блюх важная проблема значения глагольных форм является предметом исследования в статье Д. Г. Радченко «Различные значения длительных форм в современном английском языке», опубликованной в № 3 журнала за 1954 г. Автор ставит перед собой задачу — выяснить, является ли длительная форма (Continuous) в английском языке формой времени или вида. Анализируя значение длительных форм, Д. Г. Радченко отмечает, что эти формы имеют некоторое

временное значение — они могут обозначать действие, происходящее в конкретный, ограниченный момент времени; однако, по мнению автора, указанное значение не является для длительных форм ведущим, основным. Основное значение форм *Continuus*, согласно Д. Г. Радченко, это значение *в и д о в о е*, а именно: длительные формы обозначают действие как конкретно-одиночный актуальный процесс, в его непосредственном развитии. Положения автора о видовом характере формы *Continuus* убедительно аргументированы и являются, очевидно, правильными; в упрек можно поставить только некоторую абстрактность и неясность употребляемой в статье терминологии (вроде «актуальный процесс» или «индивидуальный разворот действия»), затрудняющую понимание сути дела, что особенно нежелательно в журнале, рассчитанном на учительскую аудиторию.

Вопросам грамматики немецкого языка посвящены две статьи. В статье П. И. Поллер «Перфект и претерит в современном немецком языке» (1953, № 2) подвергается критике точка зрения, согласно которой между перфектом и претеритом в немецком языке существует разница в виде, и доказывается, что никакого видового значения эти формы не имеют. Статья эта не содержит никаких принципиально новых для немецкой грамматики положений и производит впечатление мало самостоятельной работы.

Вторая статья по немецкой грамматике — «Сослагательное наклонение в современном немецком языке» (1954, № 1) — принадлежит Н. И. Филичевой. В статье автор прослеживает значение и употребление сослагательного наклонения немецкого языка в главном предложении. Основным тезисом статьи является то, что «сослагательное наклонение настоящего времени отличается от сослагательного наклонения прошедшего времени не во временном, а в модальном отношении» (стр. 6). В связи с этим естественно было бы поставить вопрос: если между формами так называемых настоящего и прошедшего времени сослагательного наклонения в немецком языке разница не временная, а модальная, то на каких же основаниях эти формы носят название «настоящего» и «прошедшего» времени? Автор, к сожалению, этого вопроса не ставит. Между тем это не просто вопрос терминологии: неверный термин здесь влечет за собой неверное понимание самой с у т и явления учащимися. Кстати, следует отметить, что в английской грамматике, где положение вещей примерно такое же, давно уже отказались от устаревших и, по существу, чисто исторических терминов «настоящее» и «прошедшее» время сослагательного наклонения. Так, в «English Grammar» М. Ганшиной и Н. Василевской (7-th ed., M., 1953) вместо этих традиционных, но неправильных наименований употребляются термины «сослагательное I», «сослагательное II» — тоже далекие от идеала, но во всяком случае не искажающие сути данной категории, а показывающие, что речь идет не о двух временных формах одного наклонения, а о двух разных наклонениях.

Проблемам морфологии французского языка посвящена статья М. Р. Хмелевской «О морфологическом анализе глагольных форм современного французского языка» (1953, № 6) и статья И. К. Дыбовской «О категории имени числительного во французском языке» (1954, № 6) — небольшие, но четкие и хорошо аргументированные работы.

Статьи по вопросам синтаксиса французского языка принадлежат М. С. Гурьевой. Первая статья — «К вопросу об анализе сложного предложения во французском языке» (1953, № 5) — ставит вопрос о классификации сложных предложений французского языка с точки зрения их структуры. Автор намечает во французском языке два основных типа сложных предложений — двучленные и одночленные (согласно применяемой автором терминологии Н. С. Поспелова).

Вторая статья М. С. Гурьевой — «О безличных предложениях в современном французском языке» (1954, № 4). В ней дается анализ структурных и семантических особенностей безличных предложений во французском языке. Во французском языке основным отличием безличных предложений от соответствующих конструкций русского языка является их двусоставность — обязательное наличие местоимения-подлежащего *il*, например, *il pleut, il fait froid*; по мнению автора, это безличное *il* выражает обобщенное грамматическое значение подлежащего и поэтому не может считаться чисто морфологическим формантом.

По нашему мнению, вопрос о том, можно ли во французском, английском, немецком и других языках считать безличные предложения особым грамматическим типом предложений, является спорным. В русском языке, где безличные предложения четко характеризуются со структурной стороны своей односоставностью, это, несомненно, так. Но в чем грамматическая особенность безличных предложений во французском, английском и других языках, где они по своей структуре ничем не отличаются от обычных двусоставных предложений? В самом деле, между *il est difficile* и *il est bon (cet homme)*, *it is cold* и *it is black (this pencil)* структурно-грамматической разницы по существу нет, а есть разница семантическая — в значении местоимения-подлежащего (*il, it* и т. д.) и глагола или глагольного оборота сказуемого. На этом основании безличные предложения во французском, английском, немецком и других языках можно, пожалуй, считать особой семантической

группой предложений, но выделять их в особый структурно-грамматический тип вряд ли правомерно.

Трудно согласиться с М. С. Гурьчевой также в трактовке взаимоотношения грамматического подлежащего и логического субъекта в безличных предложениях. По мнению автора, в предложении *Il leur tomba du ciel un Roi tout pacifique* грамматическим подлежащим является безличное *il*, а логический субъект выражен дополнением *un Roi*. Здесь явно смешиваются понятия «логический субъект» и «деятель (агент действия)». Как известно, современная логика давно уже отказалась от смешения этих двух понятий; с точки зрения логики в приведенном выше предложении *un Roi* выражает как раз не субъект, а предикат суждения. Трудный и интересный вопрос о взаимоотношении грамматических и логических категорий в безличном предложении не нашел в анализируемой статье, к сожалению, даже предварительного решения.

Смешанный морфолого-синтаксический характер носит интересная статья Е. Ю. В о л ь ф «Место наречия в сочетаниях с причастием и со сложными глагольными формами» (1954, № 2), написанная также на материале французского языка. Статья устанавливает, что место наречия по отношению к определяемому им причастию или сложной глагольной форме во французском языке зависит от характера выражаемого наречием признака: наречия, выражающие качественную характеристику действия, стоят в препозиции или замыкаются внутри сложной глагольной формы (например, перфекта); наречия же, обозначающие обстоятельства протекания действия, стоят главным образом в постпозиции. Таким образом, место наречия по отношению к определяемому глагольной форме используется во французском языке как средство дифференциации лексического значения наречия.

Статья Т. В. Ф р о л о в о й «Падеж имен существительных в современном английском языке» (1953, № 1) содержит в себе, помимо чисто нормативных сведений о функциях притяжательного падежа в сравнении с русским языком, методические указания в отношении преподавания конструкций с притяжательным падежом в русской школе, так что, по существу, носит скорее методический, чем лингвистический характер.

Среди статей по лексикологии имеются четыре работы по словарному составу, две по фразеологии, одна по семасиологии и три по вопросам словообразования. Бросается в глаза полное отсутствие статей по проблемам лексикографии, что никак нельзя признать нормальным, учитывая важность лексикографических проблем для практики школьного (и не только школьного) преподавания языка.

Из статей, посвященных характеристике словарного состава, две написаны на материале французского и две — на материале английского языка. Статья «К вопросу об иноязычном вкладе в словарный состав современного французского языка» (1953, № 1), принадлежащая М. А. Б о р о д и н о й, посвящена описанию германских (франкских) заимствований во французском языке. Статья Ф. Е. Р о й т е н б е р г «О русских заимствованиях во французском языке в советскую эпоху» (1953, № 4) исследует основные типы заимствований — советизмов (прямые заимствования, кальки слов и фразеологических сочетаний, появление новых значений у французских слов) и способы передачи во французском языке русских типов словообразования.

На материале английского языка написана статья Р. З. Г и н з б у р г «О пополнении словарного состава» (1954, № 1). В статье дан анализ новых слов и фразеологических единиц, вошедших в словарный состав английского языка в период с 1927 по 1941 г. (по материалам отдела новых слов словаря Вэбстера). Статья дает характеристику семантических особенностей новых словарных единиц и указывает источники их происхождения.

Вопросу группировки слов в границах словарного состава английского языка посвящена статья Е. М. М е л ь ц е р «К вопросу об историческом изучении предметно-смысловых групп слов» (1954, № 6). В статье рассматриваются три группировки слов в пределах словарного состава английского языка: со значением «гора», «холм» (*barrow, down, mountain, hill*), со значением «осень» (*autumn, fall, harvest*) и названия домашних птиц (*duck, hen, cock* и др.). При этом прослеживается развитие значений данных слов, взаимоотношения между словами коренными и заимствованными, борьба синонимов и т. д.

Статьи по вопросам фразеологии написаны на материале английского языка. В статье «О фразеологических сращениях в современном английском языке» (1953, № 3) А. К у н и н дает свое определение и понимание сущности фразеологических сращений. Автор критикует распространенное определение фразеологических сращений («идиомов») как «непереводимых сочетаний или как сочетаний, значение которых не выводимо из значения их компонентов. По мнению А. Куннина, для фразеологических сращений характерными являются два признака: с е м а н т и ч е с к а я н е м о т и в и р о в а н н о с т ь и с и н т а к с и ч е с к а я н е д е л и м о с т ь (т. е. невозможность выделения компонентов сращения в качестве отдельных членов предложения). Автор определяет фразеологическое сращение как неделимый оборот, значение которого не является сочетанием значений его компонентов. Далее, в статье рас-

смаатриваются вопросы о путях семантического развития сращений, их семантической классификации, об этимологической характеристике и эквивалентности той или иной части речи.

Следует отметить, что трактовка А. Куниным фразеологических сращений не является достаточно четкой. Первый выделяемый им признак сращений — семантическая немотивированность, вообще говоря, возражений не вызывает; однако остается неясным, чем же понятие «немотивированности» отличается от понятия «невыводимости» значения целого из компонентов, которое сам автор в начале своей статьи подвергает критике как неверное. Что же касается второго критерия фразеологического сращения — синтаксической неделимости, то он, по существу, приводит к порочному кругу. В самом деле: фразеологическое сращение определяется как синтаксически неделимое, однако решить вопрос о том, неделимо ли данное сочетание синтаксически, можно, только установив, является ли оно фразеологическим сращением или нет. Так, в приводимом А. Куниным выражении *He kicked the bucket* (которое примерно равняется русскому «Он сыграл в ящик») сочетание *kicked the bucket* является, согласно автору, фразеологическим сращением, поскольку оно все целиком играет роль одного члена предложения — сказуемого. Однако на основании чего автор утверждает, что данное сочетание целиком играет роль одного члена предложения? Только на том основании, что оно является фразеологическим сращением. Получается явно порочный круг.

Нам представляется, что говорить о синтаксической неразложимости как о признаке фразеологических сращений принципиально неверно, ибо в этом кроется серьезная опасность смешения семантических и грамматических явлений. Общеизвестно, что фразеологические единицы языка строятся обычно по тем же правилам, по тем же синтаксическим «моделям», что и свободные сочетания слов; отличие их кроется в их семантической неделимости, но эта семантическая (смысловая) неделимость отнюдь не обязательно влечет за собой неделимость синтаксическую. Разумеется, существуют синтаксически неделимые фразеологические сращения; так, в предложении *The meeting took place at six* фразеологическое сращение *took place* является, очевидно, одним членом предложения — сказуемым. Однако это определяется соображениями не смыслового, а структурно-синтаксического порядка (слово *place* не может иметь при себе артикля; оно не обладает подвижностью в предложении даже в тех ограниченных масштабах, которые свойственны английскому прямому дополнению, и т. д.). В целом же синтаксическая нечленность вовсе не является обязательным признаком фразеологического сращения.

А. В. Куначев в статье «Фразеологические сочетания как часть словарного состава» (1953, № 6) также пытается установить основные признаки фразеологических единиц языка. По ее мнению, такими признаками являются устойчивость, неделимость семантического ядра фразеологического выражения и его синтаксическая неразложимость. О последнем признаке речь шла выше; понятие же «неделимость семантического ядра» слишком неопределенно, поскольку автор не раскрывает, что имеется в виду под «семантическим ядром» сочетания. Что же касается предлагаемой автором классификации фразеологических сочетаний на «тесно связанные» и «относительно свободные», то она слишком обща и представляет собою шаг назад по сравнению с общеизвестной классификацией фразеологических единиц акад. В. В. Виноградова.

Проблемам семасиологии посвящена одна статья общего характера — «Место семасиологии в кругу лингвистических дисциплин» (1954, № 5), принадлежащая В. А. Звегинцеву. На основе критического обзора взглядов представителей различных школ в лингвистике (Райлинг, Пауль, Шнитцер, Поливанов, Булаховский и т. д.) на место семасиологии в ряду других разделов языкознания автор приходит к следующему выводу: семасиология является разделом лексикологии, изучающим смысловую сторону лексических единиц. В предмет изучения семасиологии входят: определение природы лексического значения, типа лексических значений, закономерности смыслового развития слов, синонимия, антонимия и т. д. Вторым разделом лексикологии, наряду с семасиологией, является, по мнению автора, так называемая ономастология, изучающая функционирование слова в качестве имени, т. е. названия предмета. Этот раздел лексикологии (связанный с направлением, именуемым в немецкой лингвистике «Wörter und Sachen») изучает такие вопросы, как языковые табу, эвфемизмы, явления антономазии (переход имени собственного в нарицательное), географию слов и т. д.

Трактовка В. А. Звегинцевым семасиологии как раздела лексикологии, вообще говоря, возражений не вызывает, разумеется, если иметь в виду семасиологию в узком смысле, как понимает ее автор, т. е. как учение о смысловой стороне лексических единиц, а не как учение о языковых значениях вообще. Однако выделение автором второго раздела лексикологии — ономастологии — вызывает возражения. Дело в том, что выделение такого раздела лексикологии предполагает, что слово как бы соотносено с обозначаемым предметом непосредственно, помимо своего значения. Но это не так: слово связано с обозначаемым им предметом только через посредство значения, через

свою смысловую сторону. А поскольку это так, постольку оказывается, что сама так называемая ономастиология, т. е. проблема *Wörter und Sachen*, является составной частью семасиологии. В этом нас убеждает даже сам список проблем, относимых В. А. Звегинцевым к сфере изучения ономастиологии: все они, за исключением «словесной географии», относящейся, по существу, к диалектологии, находят свое вполне естественное место в рамках семасиологии, т. е. учения о значении слова. Поэтому выделение ономастиологии как в т о р о г о раздела лексикологии, н а р я д у и н а равных правах с семасиологией, вряд ли себя оправдывает.

Из работ, посвященных проблемам словообразования, наибольший интерес представляют статьи «Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке» (1953, № 5) и написанная в ее развитие и продолжение статья «По поводу конверсии в английском языке» (1954, № 3), принадлежащие одному из виднейших советских англистов, покойному проф. А. И. Смирницкому. Ввиду широкой известности этих работ не будем излагать их содержания, а лишь вкратце напомним основные положения, доказываемые в них: 1) конверсия есть не «переход слова из одной части речи в другую» и «не употребление одного и того же слова в функции разных частей речи», а вид словопроизводства (словообразования), при котором словообразовательным средством служит только сама парадигма слова; 2) целый ряд случаев, которые прежде подводились под понятие чередования звуков, следует на деле относить к конверсии; так, конверсией следует признать образование глагола *to house* от существительного *house*, поскольку чередование звуков [s] | [z] здесь не является словообразовательным средством, но свойственно самой парадигме исходного слова: ед. число *house* [haus] — мн. число *houses* [hauziz]; 3) чередование звуков в английском языке является дополнительным, зависимым морфологическим средством и никогда не выступает как основное средство словообразования или словоизменения.

Основные положения статей А. И. Смирницкого нельзя не признать правильными и убедительно аргументированными; трактовка автором анализируемых вопросов является во многих отношениях новой, оригинальной и проливает свет на существенные особенности грамматического строя английского языка. И все же трудно согласиться с автором по вопросу о роли чередования звуков как морфологического средства в английском языке. А. И. Смирницкий считает, что чередование звуков как в словоизменении, так и в словообразовании в английском языке всегда выступает как дополнительное, зависимое средство, сопровождающее другие, основные средства — аффиксацию, конверсию и т. д. В отношении случаев типа *house — to house*, *shelf — to shelve* и т. д. это, действительно, справедливо, как убедительно показано в анализируемых статьях. Но так ли это во всех случаях? Если да, то мы вынуждены признать, что в таких случаях словообразования, как *to sing — song*, или словоизменения, как *to rise — rose* и т. д., чередование звуков есть лишь вспомогательное средство, а основным средством словообразования или словоизменения является аффиксация — нулевой аффикс. А. И. Смирницкий, по существу, приходит к такому выводу.

Однако чтобы быть последовательным, нужно признать, что и в случаях типа *water — to water*, *love — to love* и т. д. основным средством является та же «нулевая аффиксация», а конверсия в этом случае тоже окажется не основным, а вспомогательным средством словообразования. Случаи же типа *house — to house* придется признать «нулевой аффиксацией», осложненной конверсией и чередованием звуков. Вряд ли все это выглядит убедительно. В самом деле — нулевой аффикс, в силу его специфики, не может служить основным средством различения слов и форм слов; поэтому в случаях типа *to rise — rose* основным средством формообразования, т. е. тем, что отличает разные формы слова друг от друга, является именно чередование звуков, а «нулевая аффиксация» выступает здесь именно как подчиненное, сопровождающее средство. То же самое относится и к случаям словообразования типа *to sing — song* и т. д.

Вторым моментом, который в анализируемых статьях представляется нам спорным, является утверждение А. И. Смирницкого о том, что конверсия возможна и в пределах одной и той же части речи, например *to fall — to fell*, *to lie — to lay* и др. Такая постановка вопроса, являясь новой, до сих пор никем не выдвигавшейся, встречает серьезные возражения. Ведь в приведенных случаях, как бы ни трактовалось здесь взаимоотношение смены парадигмы и чередования звуков, выступает новый существенный момент, а именно — смена значения слова. Правда, смена значения имеет место и в случаях «классической» конверсии, т. е. образования слов другой части речи, например *water — to water* и т. д. Однако здесь смена значения слова вытекает как неизбежный результат разницы в категориальном значении частей речи, т. е. является следствием конверсии. В случаях же типа *to fall — to fell*, наоборот, смена парадигмы является результатом изменения значения слова. Поэтому в таких случаях, как *to fall — to fell*, *to lie — to lay* и др., правильнее было бы говорить о переосмыслении, смене значения слова, сопровождаемой сменой парадигмы и чередованием звуков. Тот факт, что смена парадигмы здесь выступает не

одна, а в сочетании с другими средствами, уже говорит о том, что это не конверсия, ибо, согласно даваемому А. И. Смирницким определению, конверсия есть такой вид словообразования, при котором словообразовательным средством служит только (!) смена парадигма слова. То же самое (но уже без чередования звуков) мы имеем в случаях типа *goose* «гусь» (мн. число *geese*) — *goose* «портновский утюг» (мн. число *gooses*). И здесь основную роль играет переосмысление, а смена парадигмы слова является лишь результатом этого переосмысления.

Третья статья по словообразованию также написана на материале английского языка; это статья Е. М. Хаскниой «Продуктивные способы словообразования в современном английском языке» (1953, № 6). Статья рассматривает словообразовательные аффиксы (суффиксы и префиксы) английского языка с точки зрения их классификации на продуктивные, употребительные (непродуктивные) и неживые и дает характеристику значения и круга употребляемости отдельных аффиксов.

Проблемам стилистики посвящены две статьи. Статья Э. Г. Ризель «Стилистическая дифференциация словарного состава немецкого языка» (1953, № 5) дает общую характеристику стилистических сфер словаря немецкого языка. Автор устанавливает классификацию словарного состава, во-первых, по принадлежности слов и фразеологических сочетаний к различным функциональным стилям и, во-вторых, по стилистической окраске (эмоциональности и выразительности) слов и сочетаний внутри каждого функционального стиля. Статья Е. Л. Майской «К вопросу о взаимодействии авторской речи и речи персонажей (по романам о Форсайтах Джона Голсуорси)» (1954, № 4) рассматривает грамматико-лексические особенности так называемой «несобственной прямой речи» в английском языке и ее стилистическое использование в романах Голсуорси для речевой характеристики персонажей.

Две статьи посвящены вопросам диалектологии: статья В. М. Жирмунского «„Франкский диалект“ Энгельса и проблемы немецкой диалектологии» (1954, № 5), дающая описание и анализ известного труда Ф. Энгельса «Франкский диалект», и статья Н. М. Булавина «Об американском варианте английского языка» (1953, № 2) — мало самостоятельная работа, не содержащая, по существу, никаких новых положений.

Три статьи в рассматриваемых номерах журнала посвящены проблемам общего и сравнительно-сопоставительного языкознания. В № 2 за 1953 г. опубликована интересная статья А. И. Смирницкого «Об особенностях обозначения направления движения в отдельных языках (к методике сопоставительного изучения языков)». Статья анализирует в сопоставительном плане средства обозначения направления движения, свойственные английскому, немецкому и французскому языкам. По существу, однако, основной проблемой является вопрос о местоименности в кругу различных частей речи. Статья является несколько необычной, оригинальной работой, и в ней проявляется столь характерная для ее автора тонкость языкового анализа и вдумчивость наблюдений. С одним, пожалуй, можно не согласиться: с очень расширенным пониманием автором местоименности. В трактовке А. И. Смирницкого понятие «местоименность» расширяется, по существу, до понятия «абстрагирующий характер значения слова». В самом деле, тот факт, что, например, наречия типа *von*, *proch* и т. д., обозначая движение как удаление, или от какого-то предмета или места, не называют самого этого конкретного места, говорит только об общающемся характере их значения, об абстрактности его от конкретных ситуаций и явлений. Конечно, этот обобщающий, абстрагирующий характер значения проявляется в наречиях места по-особому, специфично; однако в той или иной форме он присущ всем словам (и вообще всем единицам языка) и привлечение сюда термина «местоименность» вряд ли себя оправдывает.

Проблемам общего языкознания посвящена также статья В. А. Звегинцева «История народа и развитие языка» (1953, № 3). Автор пытается проследить закономерности, наблюдаемые в сфере влияния законов развития общества на закономерности языкового развития. По мнению автора, общие внутренние законы развития, т. е. законы, выражающие специфику языка вообще, как особого общественного явления, не обнаруживают связи с историей народа. Иное дело частные внутренние законы, свойственные отдельным языкам и группам языков, — эти законы, по мнению автора, реализуют внеязыковые стимулы, которые рождаются историей народа. Эти положения автор иллюстрирует целым рядом примеров: закономерностями развития значения слов, элементов словообразования и т. д.

Сходную тему развивает и интересная статья «К проблеме связи явлений языка с историей общества (на материале английского языка)», принадлежащая В. В. Пасеку (1954, № 2). Статья эта обсуждает широкий круг вопросов, связанных с затрагиваемой проблемой, как то: различные виды исторических воздействий на язык, неравномерность развития отдельных сторон языка, роль заимствований, понятие качественных изменений в языке и т. д. Соглашаясь с В. В. Пасеком по основным положениям его статьи, считаем возможным выразить свое несогласие по двум пунктам.

Во-первых, вряд ли автор прав, утверждая, что нельзя говорить о переходе от синтетического к аналитическому строю в применении к истории английского языка, ибо грамматический строй английского языка за всю историю его существования в основном не изменился. Что значит «в основном»? Под основами грамматического строя языка следует, очевидно, понимать: в морфологии — систему частей речи, в синтаксисе — систему членов предложения. И то, и другое на протяжении истории английского языка, действительно, не подвергалось коренным изменениям. Однако когда говорят о переходе от синтетического строя к аналитическому, то имеют в виду совершенно другую сторону грамматического строя, а именно: внешние способы выражения грамматических отношений. Вряд ли кто-либо станет отрицать тот очевидный факт, что в древнеанглийском языке преобладали синтетические способы выражения грамматических отношений (внешняя и внутренняя флексия), а в современном английском языке преобладают аналитические способы (служебные слова, порядок слов). Стало быть, есть все основания считать, что из языка в основном синтетического строя английский язык стал языком в основном аналитического строя, т. е. его грамматический строй претерпел качественное изменение. Что касается основ грамматического строя, то они, в силу их чрезвычайной устойчивости, сохранились не только в английском, но и во всех (или почти всех) индоевропейских языках на протяжении всего периода их развития от языка-основы до наших дней. Значит ли это, что грамматический строй этих языков качественно не изменился? Если да, то тогда нужно признать, что нет никакой качественной разницы между строем латыни и румынского, санскрита и хинди и даже между строем латыни и русского, английского и испанского, персидского и немецкого и т. д. Вряд ли кто-нибудь с этим согласится. А ведь основа грамматического строя — система частей речи и структура предложения — в этих языках во всем существенном совпадает, восходя еще к индоевропейскому языку-основе, в чем легко убедиться, сравнивая эти языки с языками совершенно иной структуры, например, китайским или палеоазиатскими.

Второй момент, вызывающий возражение — это утверждение, что синтаксический строй языка более подвижен и подвержен внешним влияниям, чем морфология. Это положение, несмотря на его распространенность, остается недоказанным. Видимо, здесь смешиваются два понятия: отдельные синтаксические обороты и конструкции, в отношении которых это утверждение может быть справедливым, и основы синтаксической структуры языка — типы предложения, система членов предложения и т. д. Эти последние, нам кажется, обладают не меньшей, а гораздо большей устойчивостью, чем морфологическая система языка. Во всяком случае этот вопрос еще ждет своего тщательного изучения.

В целом следует признать, что публикация на страницах журнала, рассчитанного в первую очередь на учительскую аудиторию, статей общелингвистического характера является несомненно положительным явлением — такого рода работы будят интерес читателя к общим проблемам и помогают ему быть в курсе дел и интересов современной советской науки о языке. Хотелось бы, однако, чтобы работы общелингвистического характера, печатаемые в журнале, в будущем были бы теснее увязаны с непосредственными интересами и запросами преподавателей школы, с их практическими нуждами.

*

Обзор статей по вопросам языкознания, помещенных в журнале «Иностранные языки в школе» за 1953—1954 гг., показал, что журнал делает большое и важное дело, знакомя в своей языковедческой части широкие круги учительства с новейшими достижениями советской науки о языке, печатая работы по важным для практики преподавания языка вопросам грамматики, лексикологии, стилистики и других разделов языкознания. Тематику подавляющего большинства статей следует признать актуальной, хотя, как уже отмечалось, отрицательно сказывается малочисленность работ по вопросам синтаксиса и полное отсутствие статей по вопросам лексикографии. Положительное впечатление производит сотрудничество на страницах журнала известных авторитетов и молодых начинающих ученых, работников центра и периферии.

К сожалению, приходится отметить тот факт, что возможности журнала в смысле публикации статей весьма ограничены. Учитывая, что журнал фактически обслуживает не только учителей средней школы, но и преподавателей вузов, как неязыковых, так и языковых, которые лишены своего собственного печатного органа, нельзя не признать, что существующие ныне лимиты — шесть номеров в год — явно недостаточны для журнала со столь широкой аудиторией. Как нам стало известно, в портфеле редакции к середине 1955 г. скопилось большое количество статей, публикация которых недопустимо затянулась (некоторых с 1951 года!) из-за ограниченных возможностей журнала. Нельзя ли поставить вопрос перед соответствующими инстанциями о превращении журнала в ежемесячный орган?

• Качество опубликованных в журнале статей свидетельствует о значительных успехах, достигнутых советской лингвистикой за период, прошедший с момента разгрома советской общественностью антинаучных построений «нового учения» о языке. Со страниц журнала исчезли столь распространенные прежде, до 1950 г., поверхностные, начетнического толка работы. Подавляющее большинство публикуемых ныне статей построено на анализе конкретного материала, на языковых исследованиях. Теоретический уровень большинства работ является высоким и свидетельствует о хорошей научной подготовке и эрудированности их авторов.

Понятно, не все недостатки еще устранены. Судя по рецензируемым номерам журнала (статьи, опубликованные в течение 1955 г. и не рассматриваемые в рецензии, подтверждают это мнение), основным недостатком является то, что редколлегия в своей работе до сих пор недостаточно продуманно планирует тематику публикуемых статей, «идет на поводу» у авторов. Большинство статей по вопросам языкознания, опубликованных в журнале, написаны на основе принадлежащих их авторам кандидатских диссертаций. Это само по себе не так уж плохо, ибо таким путем широкие массы учителей как в центре, так и на периферии имеют возможность знакомиться с результатами новейших исследований по конкретным языковым проблемам и внедрять их в практику преподавания. Однако этого явно недостаточно. Редколлегия журнала следует смелее и шире использовать метод заказов, добиваться от авторов статей на актуальные и мало разработанные темы, имеющие живой интерес для преподавания иностранного языка. Если бы редакция проявляла в этом отношении должную активность, а не полагалась главным образом на стихийное поступление статей, то не было бы такого положения, при котором, как уже отмечалось выше, столь важные для практики преподавания разделы, как синтаксис, лексикография, а также фонетика, оказались «в загоне», что имеет место в настоящее время.

Вторым существенным недостатком в работе редколлегии журнала является тот факт, что публикуемые в журнале статьи по вопросам общего языкознания слабо увязаны с непосредственными практическими нуждами преподавателей языка. Так, например, научная ценность таких работ, как статья А. И. Смирницкого «Об особенностях обозначения направления движения в отдельных языках» или В. А. Звегинцева «История народа и развитие языка», не подлежит сомнению; однако нам кажется, что место этим статьям на страницах других изданий, а не в органе, рассчитанном главным образом на учительскую аудиторию. Статьи общезыковедческого характера следует печатать в журнале и впредь, но с учетом практических интересов и нужд преподавателей языка, в первую очередь в средней школе.

Журнал широко знакомит своих читателей с достижениями языкознания и методики преподавания языка в Советском Союзе. Однако, к сожалению, почти ничего не делается для того, чтобы ознакомить советских учителей с достижениями в этой области за рубежом. Несомненно, за границей — как в странах народной демократии, так и в капиталистических странах — идет большая научная работа в области языкознания и методики преподавания языков. Хотелось бы в будущем увидеть в журнале отдел «Языкознание и методика преподавания языков за границей».

Не всегда редколлегия предъявляет достаточную требовательность к качеству публикуемых в журнале работ. Ряд статей, как отмечалось уже выше, производит впечатление более слабых работ, чем остальные. В некоторых статьях, опубликованных в журнале, кое-где проявляется цитатничество, стремление по всякому, порой второстепенному, поводу сослаться на «авторитетные источники».

Можно с уверенностью полагать, что в ходе дальнейшей работы редколлегия журнала «Иностранные языки в школе» полностью изживет отмеченные недостатки, еще выше поднимет научно-теоретический уровень своего языковедческого раздела и приблизит его к запросам практики изучения языков в советской школе.

Л. С. Бархударов

ОБЛАСТНЫЕ РАБОТЫ ПО ТОПОНИМИКЕ

За последние годы в различных областных изданиях после значительного перерыва появились содержательные работы, вводящие в научный оборот обширный и ценный материал по топонимике. Подобные исследования требуют критического рассмотрения, так как в них имеются также и ошибки весьма серьезного характера, которые препятствуют успешному развитию топонимических исследований.

Предмет настоящего обзора — три интересные областные работы по топонимике: статьи А. П. Дульзона (Томск)¹, И. Д. Воронина (Саранск)² и Н. П. Милонова (Рязань)³.

*

Все три исследования рассматривают топонимику как вспомогательную историческую дисциплину. Это закономерно, но односторонне. Ее значение шире. Географические названия — своеобразный разряд слов, исторически весьма устойчивых на определенной территории, показания которых неоценимы и при решении языковедческих проблем. К сожалению, не только историков И. Д. Воронина и Н. П. Милонова, но и филолога А. П. Дульзона эта сторона не интересует: для них топонимика — лишь подспорье при общеоисторических исследованиях, причем, по мнению Н. П. Милонова, ее следует зачислить в разряд географических дисциплин: «топонимика, будучи ответвлением от географической науки, играет определенную роль в исторической науке» (стр. 5)⁴. Автор не считает с тем, что географические названия — неотъемлемая часть языка и раскрыть их происхождение и развитие их значений способна только наука о языке. Именно как факты истории языка они и становятся первоклассным историческим памятником. Своеобразие значения этой группы слов и ограниченность их территориального распространения дают топонимике право на самостоятельное место в ряду языковедческих дисциплин. Однако в роли вспомогательной исторической дисциплины топонимика полезна только при неременном условии овладения специальной методологией языкознания: как и все слова, географические названия подчиняются законам языкового развития, а игнорирование этих законов неизбежно приводит исследователей к ошибкам и неудачам, чему рассматриваемые работы (хотя и в разной степени) дают немало печальных примеров.

И. Д. Воронин и Н. П. Милонов, стремясь установить этимологии различных названий «глобовой атак», подбирают сходно звучащие корни, не учитывая закономерностей фонетических, морфологических и смысловых изменений. Н. П. Милонов не задумывается, например, почему село зовется *Олегино*, а не *Олегово*, как следовало бы ожидать, раз оно происходит, по его предположению, от мужского имени *Олег*. Название деревни *Гнетово* (из рязанских писцовых книг XVI в.) автор приводит под рубрикой «Социально-экономические условия», простосердечно полагая, что в этом названии отразился феодальный гнет.

Пренебрежение к законам языка открывает простор самым произвольным, фантастическим догадкам. Название деревни *Щекурово*, по мнению Н. П. Милонова, «возможно, представляет собою пример собственного славянского имени *Щек*, получившего суффикс *-ур-* (мордовское „местность“) и окончание древнерусского родительного падежа на *-ово*»; по времени образования это название относится автором «к родовому строю» (стр. 68). В подтверждение своего предположения Н. П. Милонов не смог привести ни одного доказательства, даже сомнительного. Название рощицы *Потюж*, по мнению И. Д. Воронина, происходит от мордовского слова *потямс* «сосать» и служит для обозначения маленькой рощи формы соска (стр. 273). Трудно допустить, что во времена, когда не знали ни топографии, ни аэрофотоъемки, источником наименования могло служить очертание в плане. Но и помимо этого предлагаемая этимология не обоснована данными языка: И. Д. Воронин не объясняет, в силу каких закономерностей из глагольной формы *потямс* должна образоваться (или хотя бы может образоваться) именная форма *потюж*. Такого вопроса для автора не существует. Единственно достаточным основанием ему представляется слуховая аналогия двух корней, а она слишком часто оказывается лишь результатом внешнего совпадения. Известно, что по случайному звуковому сходству для каждого слова, произвольно разрывая его на части и заменяя любой звук любым другим по собственному усмотрению, можно создать самые невероятные этимологии.

В топонимике об этом свидетельствуют простые примеры: река *Ведьма* не имеет ничего общего с суевериями (из *Ветьма*); название *Царское село* (до революции — летняя резиденция Романовых) происходит не от слова *царь*, а из *Сарское село* (ранее — мыза *Саари*). Поэтому убедителен только анализ, опирающийся на установленные наукой закономерности языка. Связь названия реки *Полота* и города *Полоцк* (первоначально *Полотеск*), например, доказана историками русского языка фонетически, морфологически, семантически: известны и превращение *-теск* в *-цк*, и значение суффикса *-ск-*,

¹ А. П. Дульзон, Древние сменя народов на территории Томской области по данным топонимики, «Ученые записки [Томск. пед. ин-та], т. VI, 1950.

² И. Д. Воронин, К вопросу о мордовской топонимике, «Записки [Науч.-исслед. ин-та при Совете министров Мордовской АССР], № 13, Саранск, 1951.

³ Н. П. Милонов, Топонимика как источник для изучения истории края, в кн. «Историко-краеведческий сборник» («Ученые записки [Ряз. пед. ин-та], № 11), 1953.

⁴ Здесь и далее в тексте в скобках указываются страницы соответствующих работ.

и случаи наименования городов по рекам. В конечном счете, каждый факт языка — результат исторических условий. Но зависимость эта сложна и опосредствована внутренними законами языка. Поэтому тщетны и опасны скороспелые прямолинейные «увязки» отдельных слов с отдельными историческими явлениями без учета законов, управляющих изменениями слов.

В тех редких случаях, когда И. Д. Воронин пытается проследить звуковые переходы между исходной и современной формами названия, он прибегает к объяснениям, не отвечающим современному уровню науки о языке (ср., например, способ, каким доказывается превращение названия реки *Инсер* в *Инсар* — стр. 268). Н. П. Милонов, со своей стороны, утверждает: «*Шумошь* аналогично *Шумлява*» (стр. 68). Почему и как? Очень просто: «Все разновидности названий с корнем *шум* означают местность шумящего леса, лесистый край» (там же). Такое утверждение никак нельзя считать доказанным, да и появление окончаний *-ошь*, *-ава* совершенно неясно. За бесспорное выдается предположение, основанное единственно на сходстве звучания одного слога. Шаткое основание! Слогов-звукосочетаний бесконечно меньше, чем географических названий, и здесь неизбежны повторения, омонимы (*Брест* на Буге и *Брест* в Бретани и т. п.).

Этимологии В. К. Тредиаковского, производившего, например, названия *скифы* от *скитаться*, а *сарматы* от *за Ра матери* (т. е. «наши матери за Волгой; так сыны амазонок, якобы, отвечали на вопрос: «Кто вы?»), не раз воскресали в попытках насильно извлекать первоначальное значение имен из созвучных корней, игнорируя все законы языка, превращая любой звук в любой другой. Н. Я. Марр довел подобные упражнения до фантастических пределов. Особенно при этом пострадала топонимика, с трудом освобождающаяся от привитых ей пороков.

Грубые, элементарные ошибки в топонимических исследованиях напоминают нам, насколько запущена разработка даже основных положений топонимики.

Так, И. Д. Воронин объявляет невероятным, чтобы при наличии мордовских названий притоков сама река называлась не по-мордовски (стр. 269), причем тезис о невероятности, естественно, ничем не подкрепляется, кроме личной уверенности автора. Между тем известно, что названия крупных рек как раз обычно принадлежат не тому народу, который назвал малые реки того же бассейна.

Н. П. Милонов вслед за последователями «нульгарного географизма» в топонимике утверждает, что «пользуясь данными топонимики, мы можем на картах очерчивать участки и границы распространения березовых, вязовых, кленовых, липовых рощ и дубрав, характерных для этого края в XVI — XVII веках» (стр. 47), и даже предлагает строить на этой базе практические планы лесонасаждения. Автор не учитывает, что в ряду многочисленных *Бережанок* немало и таких, чье название не связано непосредственно с наличием березы в данной местности, а произошло от фамилии владельца, либо занесено переселенцами, либо даже переосмыслено из непонятого чужезычного названия (как название острова *Голодай* — из *Холлендей*). Общеизвестный пример — происхождение названия острова *Бережань* близ устья Днепра, некогда тоже носившего это название (что отразилось в его греческом имени *Борисфен* и сохранилось в имени реки *Бережия*): остров получил название по реке и если оно обязано своим происхождением березам, то лишь произраставшим на сотни километров северней. В многочисленных *Икендорфах* и *Икендорфах* усматривали следы былого распространения тиса (*Eibe*) и дуба (*Eiche*) за Эльбой, пока не разоблачили в этих предположениях наивную ошибку, установив их корни в личных именах. Напрасно также Н. П. Милонов убежден, что р. *Гусь* (откуда *Гусь Хрустальный* и *Гусь Железный*) названа по птице (стр. 46).

Со ссылкой на сельского учителя Н. П. Милонов сочувственно приводит легендарные толкования: «Очень интересно объяснение названия села *Шолдомеж*. Оказывается, данное село получило такое название в связи с тем, что Батый зашел до межи — границы Новгородской земли» (стр. 57). Как предание — это интересно, но как реальное объяснение названия — беспомощно; никакие натяжки не помогут представить образование собственного имени из подобной фразы. Так отсутствие научной методологической основы приводит исследователя к коллекционированию анекдотов.

Все три автора исходят в рецензируемых работах из положения о бессменности этнического состава населения на той или иной территории. Статья И. Д. Воронина, например, целиком направлена против исторических миграций. Он исключает всякую возможность домордовского происхождения названий *Сура* и *Инсар*, хотя ему не удалось убедительно опровергнуть оспариваемые взгляды. Взяв за аксиому признать несомненный факт миграций — пережиток марристских запретов. К счастью, у А. П. Дульзона выпады против миграций остаются фразеями, а обильный материал показывает, какие могучие волны народов катились через сибирскую лесостепь. На изучаемой Н. П. Милоновым рязанской земле только за одно тысячелетие история зарегистрировала поселения славян, меря, муромы, мордвы-эрзя, половцев, окских

татар. Обязанность исследователя — не закрывать глаза на всю сложность этнического прошлого, а бережно разобраться в ней, умело, добросовестно используя топонимический материал.

*

Еще около ста лет тому назад в топонимике было выдвинуто замечательное положение о том, что этимология названий не может строиться на основе изолированного рассмотрения отдельных названий; раскрыть ее можно лишь на основе сплошного чтения карты. Развитие сравнительно-исторического языковедения вооружило топонимику методами выяснения этимологий, вскрыв закономерности фонетических переходов, установив морфологические системы, натолкнув на плодотворное исследование топонимических ареалов. На рубеже XIX — XX вв. А. И. Соболевский для индоевропейских языков и В. В. Радлов — для тюркских указали на бесчисленно повторяющиеся одинаковые окончания речных названий. Огромные количества их, сосредоточенные на определенной территории, исключали случайность: если сходные корни обнаруживаются довольно редко, а разделяют их подчас тысячи километров, то одинаковые служебно-грамматические элементы встречаются сотнями в одном и том же районе, полностью исчезая за его пределами. Оставалось нанести соответствующие названия на карту и, обведя границы их распространения, получить ареал какого-то языкового единства в прошлом. Метод ареалов, основанный на множественности бесспорных фактов, прикрепленных территориально, позволяет нащупать географические контуры былой языковой общности, хотя и не дает ответа на вопрос о первоначальном значении слов и их дальнейшей эволюции. Засилье марризма с его нигилистическим пренебрежением к грамматике закрыло путь дальнейшему развертыванию топонимических исследований в направлении, намеченном А. И. Соболевским и В. В. Радловым. Поэтому следует с удовлетворением отметить, что А. П. Дульзон восстанавливает в правах метод топонимических ареалов, построив именно на нем свое содержательное исследование.

На карте Южной Сибири он очертил распространение речных названий с окончаниями *-аас*, *-дат*, *-га* и др. Ему удалось выделить несколько несомненных историко-лингвистических районов. Не ограничиваясь этим, А. П. Дульзон стремится определить этническую принадлежность групп названий, чтобы определить прежние рубежи расселения племен (селькупов, кетов) и даже наметить соответствующую датировку. Однако тут он вступает на менее прочную почву, так как остается неясным, совпадали ли языковые границы с племенными и сохранились ли их ареалы в неизменных границах на протяжении веков. Данных языка недостаточно для решения этих задач; здесь необходимо тесное сотрудничество археологии, антропологии, этнографии, к которому не раз призывают авторы всех трех рецензируемых работ.

Отдельные промахи А. П. Дульзона порождены недостатками не метода, а его применения. Он сурово ограничил себя во времени и пространстве: не выходя за рамки избранного квадрата карты и не углубляясь дальше средних веков. Для речных названий, нередко переживающих тысячелетия, три-четыре века — слишком «мелкая пахота». Ареал названий на *-дат* врезается на карту А. П. Дульзона острым клином с юго-востока, его центр остается где-то за кромкой карты. Где же? Автора это не занимает: там «не его участок». Такая территориальная и хронологическая замкнутость лишает нас представления об общем характере выделяемых ареалов, взятых в целом. Поэтому нельзя считать вполне убедительными выводы о названиях на *-дат*. Еще хуже обстоит дело с названиями на *-га*. Тысячи этих названий компактной массой заполняют необъятное пространство нашего Севера, а их южная граница захватывает район, исследуемый А. П. Дульзоном. Но так как он не рассматривает ареал в целом, то приходит к невероятному результату: самый огромный в мире топонимический массив он выводит из... одного диалекта селькупского языка. Понятно осторожное самоограничение тщательного исследователя, но оно губительно, если за бортом остается само содержание исследуемых явлений.

Нельзя требовать, чтобы исследователь охватил все группы названий. И все же напрасно А. П. Дульзон полностью умолчал о столь характерных для его территории названиях на *-ла*, *-лы* (*Берла*, *Чибилла*, *Локла*, *Канлы*, *Чанлы*, *Чубулы* и мн. др.). Юг Сибири, — повидимому, восточная окраина их обширного ареала. К сожалению, никто не пытался этнически определить эти названия, датировать их, просто собрать, так что это скорей пожелание, чем упрек.

В тех случаях, когда исследователь изменяет методу, он неизбежно оступается в трясину произвольных толкований. А. П. Дульзон считает название реки *Кия* испорченным *Кису* или *Ки*, не задумываясь, как могло это произойти, и не замечая, что тут же рядом есть и *Яя*, и *Чая*, и *Лая*, и *Тяя* (даже две). Не опровергнув родственности их происхождения, он своей версией лишь добавил к сотне предположительных толкований сто первое.

*

Положительное значение рецензируемых работ заключается прежде всего в широком вовлечении в научный обиход богатейшего местного материала.

Все три автора сознают, что изолированное название — не объект изучения. Как правило, они стремятся связать его со всей массой названий на данной территории (хотя характер этой связи, например у И. Д. Воронина, совсем иной, чем у А. П. Дульзона). Особенно ценен призыв Н. П. Милонова «собрать топонимический материал путем сплошного обследования местности и опроса местных жителей. Только таким путем можно собрать большое количество названий, относящихся к различным урочищам, мелким рекам, оврагам и т. д., которые не попали и, наверное, не попадут ни на одну карту, ни в списки селений» (стр. 7). В дореволюционное время не раз предпринимались подобные попытки, но для них на местах не находилось сил. Сейчас, когда каждый район располагает многочисленным отрядом интеллигенции, такое мероприятие своевременно.

Не менее важно понимание всеми авторами необходимости контакта со смежными дисциплинами. Самое же главное заключается в том, что теперь уже прочно укрепилось требование историзма по отношению к топонимическим исследованиям, хотя причины изменений порой еще ускользают от авторов, теряющихся перед сложностью и своеобразием языковых процессов.

Отметив ряд достижений, имеющих в работе А. П. Дульзона, следует сказать, что два других исследования также содержат отдельные верные наблюдения. Н. П. Милонов подробно разработал свидетельства топонимики, рисующие историю рязанской промышленности. И. Д. Воронин выявил группу названий, содержащих элемент *-пель* («половина, часть»): *Пелелей, Пелетьма, Пелелейка, Пеля* (стр. 274), расшифровывая, например, *Пелелей* как «приток» (буквально: «половина реки»). Жаль, что Н. П. Милонов некоторые очень интересные вопросы рассматривает как бы между прочим. Так, дважды упомянув древнейшие русские названия *Каттогочь* и *Родогочь* (стр. 34, 49), он отделяется ничего не говорящим замечанием, что они «характерны». Сообщив, что им «восстановлена по топонимике картина классового деления Рязани в старое время» (стр. 60), он ограничивается этим заявлением, не только не поделившись своей находкой, но даже не приведя ни одного примера.

Всем трем работам совершенно чуждо равнодушие к предмету исследования. Подлинный энтузиазм, с каким авторы поднимают обширные пласты свежего материала, отстаивают свои положения, несомненно принесет драгоценные результаты, когда получит прочную опору в научно разработанной методологии.

•

Топонимикой занимаются лингвисты, историки, географы, этнографы, краеведы. Только за пятилетие (1950—1954 гг.) ее библиография пополнилась более чем сотней работ на русском языке. Своеобразное положение топонимики на стыке нескольких наук и ее «районность» приводят к крайней разобщенности: историк и географ работают над географическими названиями изолированно от лингвиста и друг от друга; наши областные издания не находят достаточного распространения и своевременного отклика.

Взаимная несогласованность даже на одном и том же участке топонимики обходится чрезмерно дорого. Издательство иностранной литературы, стремясь к упорядочению топонимической транскрипции (достаточно указать, что название *Кызыл-жум* печатается в 30 вариантах), выпустило объемистые словари географических названий целого ряда стран. Но выяснилось, что рекомендуемые написания противоречат обязательным инструкциям, принятым в картографии, т. е. не способствуют единообразию, а увеличивают разноречие. «Словари географических наименований, транскрипция которых имеет расхождения с транскрипцией тех же наименований на картах, — бесполезное, если не сказать вредное, дело...»¹ Свою долю в разногласиях вносит и радио, не считаясь в произношении названий ни с литературой, ни с картографией². Решающее слово в установлении принципов транскрипции принадлежит науке о языке, однако от тех работ, которые появляются в последнее время³, до внедрения разработанной единой системы транскрипции еще очень далеко.

¹ С. А. Тюрин и И. В. Попов, О «Кратком словаре русской транскрипции географических наименований Латинской Америки», «Сборник статей по картографии», вып. 2, М., 1952, стр. 76.

² Примеры приводит С. И. Ожегов в статье «О культуре речи» («Лит. газета» 10 II 53).

³ См., например: В. И. Кузнецова, Фонетические основы передачи английских имен собственных на русском языке. Автореф. канд. дисс., JL, 1955; Л. С. Карум, О транслитерации латинскими буквами русских фамилий и географических названий, ВЯ, 1953, № 6; Г. В. Шнитке, О транслитерации собственных имен, ВЯ, 1954, № 5; А. В. Суперанская, Сводные алфавиты, ВЯ, 1955, № 5; А. В. Маракеев, Краткий очерк топонимики как географической дисциплины, «Ученые записки Казах. гос. ун-та», т. XVIII, вып. 2, 1954; Э. М. Мурзаев, Некоторые вопросы географической номенклатуры, «Известия

Необходима систематическая информация о многочисленных исследованиях, выходящих на языках народов СССР. Не стали всесоюзным достоянием широко развернувшиеся за последние годы в союзных республиках работы по топонимике Я. М. Эндзелина в Латвии, К. К. Целуйко на Украине, Г. А. Капанцяна в Армении, Г. А. Конкашбаева и А. Абдрахманова в Казахстане. И совсем уж отрывочна информация о зарубежных топонимических исследованиях.

Настоятельная задача — объединить эти огромные, но разрозненные усилия для создания подлинно научных основ топонимики, остающейся пока наиболее запущенной отраслью языкознания.

В. А. Никонов

Dictionarul limbii române literare contemporane. Vol. I. — [București], ed. Acad. R. P. R., 1955. XXVI, 628 стр.

Вышел в свет первый том (А — С) четырехтомного «Словаря современного румынского литературного языка». Второй том (D — L) находится в печати; третий (M — P) и четвертый (R — Z) тома находятся в стадии окончательного контроля и редактирования.

Рецензируемый словарь подводит итоги предшествующей долголетней работы по созданию академического словаря румынского литературного языка и является одним из важнейших этапов в осуществлении культурной революции в РНР.

Трудным и длительным был путь создания словаря румынского языка. Попытки составления большого румынского словаря были предприняты в первой половине XIX в., еще до образования Румынской Академии. Более 30 лет трудились над составлением румынско-латинско-венгерско-немецкого словаря основоположники так называемой «латинской школы» — С. Мику-Клайн, П. Майор, а также их последователи — В. Колоши, И. Теодорович, А. Теодори и др. Словарь, составленный по образцу политиков тех времен, вышел в свет в Буде в 1825 г.¹ Несмотря на то, что для этой работы был собран огромный лексический материал, словарь не нашел себе применения в жизни даже у современников, так как в основе его лежала порочная концепция «латинистов». В течение первой половины XIX в. издавалось еще несколько словарей. Однако все они представляли собой лишь подражание различным иностранным словарям.

Образованная в 60-х гг. прошлого столетия Румынская Академия должна была решить и основные вопросы румынского языкознания. В первом же параграфе Устава, принятого 1 апреля 1866 г., указывалось, что Академия обязана установить правила орфографии, разработать грамматику и составить словарь румынского языка². Следует, однако, отметить, что ни одна из этих задач не была выполнена прежней Румынской Академией. Более 60 лет на румынской орфографии сказывалось вредное влияние этимологизирующих концепций румынских академиков. Только в наши дни, после установления в Румынии строя народной демократии, осуществлена реформа орфографических правил, основанных на фонетическом принципе. Новая орфография вступила в силу с 1 апреля 1954 г. С целью быстрее и лучшего внедрения орфографии был составлен орфографический (и отчасти орфоэпический) словарь на 9 тыс. слов³.

Грамматика Т. Ципариу, опубликованная прежней Академией в 1869 и 1877 гг.⁴, ознаменовала собой провал второй стоявшей перед Академией задачи, после чего последняя по существу отказалась от выполнения этой работы. Только в 1954 г. Академия РНР осуществила выпуск академической «Грамматики румынского языка»⁵.

Что касается составления словаря, то эта работа в прошлом была поручена Академией двум «латинистам» — А. Т. Лауриану и И. К. Массиму, которые и опубликова-

АН СССР», Серия географическая, 1953, № 4; С. А. Т ю р и н, Некоторые принципы передачи географических названий на картах, там же, № 5; Д. Х. К а р а м ы ш е в а, О недостатках в транскрипции географических наименований Средней Азии и Казахстана, «Вестник АН Казах. ССР», 1952, № 12; Г. М. М а м а е в, О правильной транскрипции названий географических объектов Азербайджанской ССР, Баку, 1950.

¹ «Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemtescu quare de mai multi autori în cursul a trideci si mai multoru ani s'au lucratu», Buda, 1825.

² «Analile Societatei Academice Romanе», t. I, București, 1869, стр. 3.

³ «Mic dictionar ortografic», [București], ed. Acad. R.P.R., 1953.

⁴ Т. Ц и п а р и у, Gramatica limbii române, București: partea I — 1869; partea II — 1877.

⁵ «Gramatica limbii române», ed. Acad. R.P.R., 1954: vol. I—Vocabularul, fonetica și morfologia; vol. II — Sintaxa.

ли в 1871—1876 гг. «Словарь румынского языка»¹, ознаменовавший собой кульминационную точку антинаучных и антинародных упражнений «латинистов». Не являясь словарем румынского языка, эта работа не представляет собой и словаря латинского языка, хотя в нее и включены слова, заимствованные из латинских словарей. В словаре имеется много латинизированных румынских слов (*silvaticire*, *ustulatura* и др.) и, кроме того, большое количество слов, искусственно созданных авторами словаря в порядке безответственного словотворчества (например: *tardilimb* «молчаливый», *tepefacere* «согревать»). Кроме того, из словаря изгнаны все слова нелатинского происхождения, которые, по мнению «латинистов», «не могут и не должны иметь места в румынском словаре»². Авторы словаря включили такие слова в специальное приложение³. Этот произвол в отношении языка, естественно, и предопределил судьбу первого академического словаря. Он был мертворожденным детищем прежней Академии, отвергнутым румынским народом, его лучшими писателями и другими культурными деятелями.

Почти одновременно, но вне стен Академии, работал над своим этимологическим словарем известный языковед XIX в. А. Чихак, исследовавший 5765 румынских слов⁴. Он совершенно правильно показал, что несмотря на то, что румынская лексика является «латинской в своей основе», все же громадное большинство румынских слов по своему происхождению является нелатинским. Около 80% румынских слов являются лексическими единицами славянского, венгерского, турецкого, новогреческого и албанского происхождения. Однако, как это со всей убедительностью раскрыл один из выдающихся румынских языковедов XIX в., питомец Харьковского университета Б. Хаждэу, указанная статистика А. Чихака не говорит о том, что румынский язык является нероманским языком. Своей теорией об «обращаемости слов» (*Circulația cuvintelor*) Хаждэу доказал латинский характер румынской лексики и языка в целом⁵.

Появление в свет словаря А. Чихака побудило Румынскую Академию возобновить работу над словарем, но уже на новых началах. В 1884 г. Академия поручила составление словаря Б. Хаждэу. Более 13 лет работал этот ученый над словарем и успел опубликовать из него под названием «*Etymologicum Magnum Romaniae*» всего лишь три тома на буквы А и В (до слова *bărbat*). Работа была задумана как словарь *thesaurus*, т. е. он должен был включать как современную лексику, так и лексический материал прошлых периодов развития языка. Словарь должен был представлять настоящую энциклопедию румынского народа и, следовательно, должен был отразить всю его жизнь, как она отложилась в языковых явлениях. Каждое слово рассматривалось в связи с историей, фольклором, этнографией румын. Автор ставил перед собой задачу — исследовать этимологию слова, его диалектные варианты и т. д. Огромные размеры задуманного словаря оказались не под силу одному ученому, даже такого масштаба, как Б. Хаждэу.

В 1897 г., по поручению Академии, к составлению словаря приступает яский профессор А. Филиппиде, который, по сути дела, принял тот же план словаря, что и Б. Хаждэу. Несмотря на то, что на протяжении 9 лет собран был огромный лексический материал, Филиппиде все же не смог выполнить задания Академии. Он не опубликовал своих словарных материалов, но зато материал его использовался всеми последующими составителями академического румынского словаря.

Не довел работу над словарем до конца и клужеский профессор С. Пушкарю, который на протяжении 38 лет опубликовал лишь часть его (буквы А — С, F — L до слова *lojniță*). С. Пушкарю имел в виду также составление словаря, в который вошли бы все слова румынского языка, как литературные, так и диалектальные формы, с указанием истории и этимологии каждого слова.

Таким образом, лексикографическая традиция составления академического словаря в Румынии имеет довольно большую и богатую историю. Пусть не все в прежней работе над словарем было благополучно, однако Академия РНР располагает огромным фактическим материалом, который может и должен быть использован. Хотя составление грамматики и словаря народа является трудным делом, однако это дело чести коллектива лингвистов каждой страны. И румынские языковеды в условиях строя народной демократии успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

¹ A. T. Laurianu și J. C. Massimu, *Dictionariul limb'ei romane*, București: t. I (A — H) — 1871; t. II (I — Z), Collaboratori J. Hodosiu și G. Baritiu — 1876.

² A. T. Laurianu și J. C. Massimu, указ. соч., t. I, стр. VI.

³ «Glossariu care cuprinde vorbele d'in limb'a romana straine prin originea sau form'a lor, cumu și cele de origine indouioasa», București, 1876.

⁴ A. de Cihac, *Dictionnaire d'étymologie daco-romane*, Francfort s/M.: [t. I] — *Éléments latins, comparés avec les autres langues romanes*, 1870; t. II — *Éléments slaves, magyars, turcs, grecs-modernes et albanais*, 1879.

⁵ См. B. P. H a s d e u, *Cuvente den bătrîni*, vol. III, partea I, București, 1881, стр. 91—105.

В 1948 г. составление академического словаря было поручено акад. И. Иордану. Но более интенсивная работа над словарем началась в 1952 г., когда, после широкого обсуждения словарной работы, Президиум Академии РНР постановил издать ряд словарей: современного литературного языка, историко-этимологического, диалектологического и словаря синонимов.

С практической точки зрения наиболее важным является словарь, рецензируемый нами. Как указывается в «Предисловии» (стр. VII), словарь выходит в такой сравнительно короткий срок благодаря большой помощи и поддержке со стороны Правительства РНР и Румынской рабочей партии, а также благодаря освоению его редакторами передовых теоретических установок советской лингвистики. Кроме того, следует учесть и тот факт, что румынские словари до 23 августа 1944 г. были почти исключительно словарями ученых-одиночек, между тем «словарь не может быть индивидуальным делом, а должен делаться коллективными усилиями»¹.

В составе работников над настоящим словарем числятся 82 фамилий ученых, среди которых такие известные лингвисты, как акад. И. Иордан, акад. Э. Петрович, акад. А. Росетти, акад. А. Граур, проф. Д. Макря и др., а также ряд молодых лингвистов-лексикографов, прошедших хорошую лингвистическую школу вообще и лексикографическую в частности.

Президиум Академии РНР и его языковедческие институты провели большую подготовительную работу. С привлечением специалистов всей страны (Бухареста, Клужа, Ясс и других городов) в конце июля 1952 г. было проведено широкое обсуждение состояния и перспективы работы над словарем. Затем пробный материал для ознакомления общественности был опубликован в журнале «*Studii și cercetări lingvistice*» за 1953 и 1954 гг.

После выхода в свет первого тома еженедельник «*Contemporanul*» и другие периодические издания открыли дискуссию о словаре, которая содействует улучшению работы над последующими томами, и в особенности при подготовке нового издания. В дискуссии принял участие уже большое количество высококвалифицированных специалистов. Все это говорит о том, что общественность РНР считает почетным долгом сказать свое слово в отношении этой капитальной работы румынских лингвистов.

Настоящий словарь содержит лексику современного румынского литературного языка. Румынским литературным языком составители словаря считают письменный язык, употребляемый не только в художественных произведениях, но также в научных исследованиях, политических трактатах; язык газет и журналов. Что касается понятия «современный язык», то румынские ученые исходят из того, что современная румынская литература берет свое начало в первой половине XIX в. в произведениях писателей, сгруппировавшихся вокруг журнала «*Dacia literară*» («Литературная Дакция»), во главе которого стояли М. Когэлничану, В. Александри, А. Руссо, К. Негруцци, Н. Бэлческу, П. Гика и др. Язык этих писателей лег в основу языка современной румынской литературы. Словарь содержит лексику художественных произведений, научных исследований, периодических изданий, начиная с первой половины XIX в. и вплоть до настоящего времени. Кроме того, использованы публикации по фольклору. Особое место среди источников словаря занимают переводы произведений классиков марксизма-ленинизма, приведенные для уточнения и углубления различных общественно-политических и научных терминов.

Современная эпоха в жизни румынского народа, строящего при братской помощи всех народов Советского Союза и стран народной демократии социалистическое общество, ознаменована невиданными достижениями в области культуры, науки, техники, искусства и т. д. Словарь современного румынского литературного языка стремится отразить сдвиги, происшедшие в общественной жизни румынского народа. Поэтому в словарь включено более 8% (по отношению ко всему количеству (слов) лексических единиц, связанных с общественно-политическими науками. Это либо совершенно новые слова, либо слова, претерпевшие семантические изменения в связи с преобразованиями, последовавшими после 23 августа 1944 г. В эту категорию входят слова: *activ, activist, agitație, anarho-sindicalism, antifascist, antagonism, apolitism, aspirant, autocritică, autoliniștire, avangardism, bază (economică), brigadier, burghezie, candidat (în științe), capital, capitalism, cauzalitate, centrism, colectiv, comunist, cultură* и др. Следует приветствовать включение в словарь форм женского рода существительных, обозначающих различные занятия, профессии женщин, как, например: *autoare, aviatoare, brigadieră, combineră, compozitoare* и т. д., связанные со все возрастающей ролью румынской женщины в общественной жизни страны. В словарь включено много таких слов, которых не было в предшествующих словарях, составленных во времена буржуазно-помещичьей Румынии: *alfabetizare, anexionism, antimonarhic, antiimperialist, comunard, colonialism* и др.

¹ Л. Щерба, Предисловие, в кн. «Русско-французский словарь», сост. Л. В. Щерба и М. И. Матусевич, под общ. ред. Л. В. Щербы, М., 1939, стр. 7.

В связи с растущей ролью науки и техники и распространением научно-технических знаний среди широких масс трудящихся в словаре более 17% слов являются терминами естественных, математических и технических наук: *abacă, abatoaj, abotiza, abraziune, abraziv, amerizare, anterupțiă, atomist, autocisternă, babă, bacheliiă, baciloză, bactericid* и др.

В настоящий словарь не только включено большое количество новых слов, но и дано новое толкование многим, ранее бытовавшим в румынском языке словам в связи с общественно-политическими преобразованиями и, осуществляемыми в РНР. По-новому толкуются такие слова, как *agitator, agitație, calitate, cantitate, chiabur* и т. д.

В отличие от предшествующих словарей в рецензируемый словарь не включаются диалектная лексика, слова, имеющие узко областное распространение, как, например: *abes* (употребляется в Банате), *ablas* (Олтения), *a acera* (Банат), *acov* (Олтения, Банат), *băscuicață* (Трансильвания), *bădan* (Банат, Олтения), *boltaș* (Трансильвания), *a borjăi* (Молдова) и др.

Однако если диалектные слова вошли в литературный оборот, будучи широко использованы писателями — классиками и современными, — то тогда они включаются в словарь. Например: *colb* (встречается в произведениях Садовяну, Гырляну, Эминеску, Крянгэ и др.), *cușmă* (Галан, Садовяну, Камилар, Негруцци и др.), *ciubolă* (Топырчану, Крянгэ), *a acira* (Станку) и др.

Кроме того, наряду с общелитературной формой, имеющей валашскую огласовку, словарь допускает в качестве варианта и молдавскую форму, например молд. *bolohan* при литературной форме *bolovan*; *bacal* при *băcan* и др.

Явно устаревшие слова не входят в словарь (*abăioară, abiruire, accizar, acești, bacsevan* и др.), кроме тех случаев, когда они широко использованы писателями (например, *comis* встречается в произведениях Делабранча, Одобеску, Александри и др.).

Из терминологии, научной и технической, словарь включает только те термины, которые вошли в литературный оборот и встречаются в книгах широкого обращения, в учебниках и т. д. Узко специальная терминология (как, например: *abligeană, camă, carnolit, carotieră, compresiv* и т. д.) не учитывается в словаре.

Румынские лексикографы исходили из насущных потребностей практической жизни и стремились удовлетворить не ученых узкой специальности а широкие массы трудящихся, которые найдут в рецензируемом труде точные данные о правильном употреблении лексических богатств румынского языка. Настоящий словарь является не только толковым, но и нормативным. Он представляет собой список слов, рекомендуемых Академией РНР и отвечающих современным нормам румынского литературного языка. Нормативный характер словаря проявляется в отборе слов, в подаче грамматических и стилистических помет, в постановке ударения на всех заголовочных многосложных словах, в указании на произношение отдельных слов и т. д. Литературными считаются, например, формы: *acantă* (не *acant*), *acetilenă* (не *acetilen*), *bagatelă* (не *bagatel*) и т. п.

Наиболее трудным моментом в работе над толковым словарем является определение значения слова. Каждая лексическая единица должна иметь точное, сжатое, ясное, всеобъемлющее определение, которое указывало бы важнейшие признаки соответствующего понятия. Для определения значения каждого слова в словаре используются различные специальные пособия, а также иллюстративный материал, заимствуемый в большинстве случаев из произведений авторитетных писателей. Даже термины подкрепляются цитатами из классиков литературы. Например, *algebră* (Негруцци), *aneroïd* (Караджале), *aritmetică* (Садовяну, Крянгэ и др.). Такой метод служит не только для определения слова, но прежде всего для показа общего распространения той или иной лексической единицы¹. В словаре был использован огромный иллюстративный материал, собранный на протяжении 58 лет. Библиография словаря дана на 10 страницах и насчитывает около 450 названий различных источников. Работники словаря подсчитали, что в первом томе имеется 20 092 примера из работ различных авторов. Из художественной литературы извлечено 18 777 цитат, в том числе 14 753 из классиков и других писателей прошлого, 1361 из фольклора и 2663 цитаты из произведений современных писателей. Больше всего используются цитаты из произведений классика современной румынской литературы акад. М. Садовяну. За ним следуют писатели — классики прошлого века И. Крянгэ, В. Александри, К. Негруцци, М. Эминеску, Ал. Одобеску, И. Л. Караджале и др.²

Рецензируемый словарь является не энциклопедическим, а толковым. В нем приводятся устойчивые сочетания (как, например, *trai, neneaco, cu banii babachii; bun ca pînea caldă; din cale-afară* и др.), обычные обороты речи (*carte de căpătîi, a arunca peste bord* и др.), ходячие выражения (*călcîiul lui Ahile, sare atică, frumusețe atică*

¹ Такой прием используется и русским академическим словарем.

² См. I. Stanciu, Din problemele elaborării Dicționarului limbii romîne literare contemporane, журн. «Contemporanul», 1955, № 25.

и др.), словосочетания, используемые как научные и технические термины (*arc electric, arc voltaic, bac de celulă electrolitică, bac de răcire* и др.). Определение значений слов дано в соответствии с новыми достижениями в области науки и техники. Для этого были привлечены специалисты по разным отраслям знания. В качестве консультантов привлекались специалисты 25 академических институтов, а также 9 учреждений вне Академии РНР. Конечно, словарная работа не может обойтись без лексикографа, потому что специалист по какой-либо одной отрасли знаний может иногда дать толкование, которое не будет понятно для широкого круга читателей¹. Опыт составления толковых словарей в Советском Союзе показывает, что определения научных и технических терминов в толковом словаре «... не должны противоречить науке и действительности, но в то же время могут и не совпадать с научными определениями, так как могут не передавать всех научных признаков понятия»².

Составители стремились дать все значения и оттенки слов, а также выражения, употребляемые в литературном языке. Однако этот словарь не является терминологическим и не может ни в какой степени заменить специализированные терминологические словари. Поэтому вполне понятно, что некоторые общеупотребительные слова поданы лишь как таковые и не снабжены определениями как термины специальных дисциплин. Например, слово *ardere* имеет не только общеупотребительное значение. Оно используется со специальным терминологическим значением в биологии, патологии и т. д. Эти последние значения вполне законно, на наш взгляд, в словаре не приводятся.

Весьма тщательно разработана в словаре система омонимов. Например, при слове *bun* различается: *bun*¹ — наречие в смысле русск. «хорошо, ладно»; *bun*² — существительное мужского рода, русск. «дедушка»; *bun*³ — существительное среднего рода, русск. «добро, благо» и *bun*⁴ — прилагательное, русск. «хороший». Затем следует весьма богатая фразеология с соответствующими толкованиями. Вообще нужно сказать, что статья *bun* относится с лексикографической точки зрения к хорошо разработанным статьям.

В заключение хотелось бы высказать несколько критических замечаний и пожеланий. Один из упреков, который следует сделать данному словарю, — это непоследовательность в подаче отглагольных существительных, образованных от инфинитивов. Так, в словаре имеются существительные *abandonare, abonare, abolire, abandare* и т. д., в то время как *abnegare* отсутствует, хотя его можно встретить в стихотворениях В. Александри, а также в произведениях других писателей.

Необходимо включить в словарь названия профессий типа *băieșii* или *băieșag* при имеющемся в словаре существительном *băiaș* и др. Желательным было бы включение в словарь различных форм вспомогательных глаголов (*aș, ai, ar* и т. д.), притяжательных артиклей (*a, ai, ale*) в виде самостоятельных словарных статей (хотя бы только со ссылкой на начальную форму).

Хотя этот словарь и не является этимологическим, все же читатель вправе потребовать от академического словаря некоторых данных об историческом происхождении слов, тем более, что до сих пор не имеется полного этимологического словаря румынского языка. В «Справочном отделе», где приводятся различные сведения о произношении, ударении и т. д., можно было бы давать хотя бы некоторые указания на этимологию слова, примерно так, как это делает академический русский словарь. Такие сведения необходимы не только для румынских языковедов, но и для всех специалистов по романскому языкознанию.

Можно было, на наш взгляд, опустить некоторые узко специальные термины, как, например: *acromegalie, acroter, acromatopsie, actinometrie, anemostat* и др., включение которых противоречит принципам составления словаря общелитературного языка. Наоборот, в словаре отсутствуют некоторые широко употребительные слова и словосочетания: *abiturient, accidentar, achindii, aductor, apă grea, băbană, băbăciță, bună dimineața (bot), canistră, ciclotron, comsomolist, comsomol* и др. Включение подобных слов тем более необходимо, что многие из них употребляются писателями.

На букву *ă* включены формы указательных местоимений исключительно просторечные и диалектные: *ăl, ăla, ălălalt, ăst, ăsta* и др., которые если и употребляются в литературе, то только с целью характеристики того или иного действующего лица. Такие слова совсем не обязательны в словаре литературного языка, тем более, что данный словарь не учитывает, как правило, лексические единицы, употребляемые в различных произведениях для раскрытия определенного образа.

В отношении лексикографического оформления слов следует заметить, что целесообразно было бы более четко выделить различные морфологические формы,

¹ О таких случаях рассказывает в своей статье один из ведущих работников словаря И. Станчу (I. Stançu, указ. статья).

² «Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, т. I, стр. XXIV, § 7.

тех слов, у которых они связаны со спецификой терминологического употребления. Так, *arc*, *arce* употребляется преимущественно как термин в геометрии и архитектуре, в то время как *arc*, *arcuri* — термин механики. Другой пример. *col*, *coate* означает «локоть, локти»; *col*, *cofi* — старинная мера длины, русск. «локоть»; *col*, *coluri* — «поворот, изгиб»; тех. — «колено». Рецензируемый словарь дает такие формы множественного числа в начале словарной статьи с арабской цифрой в скобках. Эта подача нам кажется неудобной, потому что неясно, какая форма какое имеет значение. тем более, что в примерах типа *cristale*, *cristaluri* эти цифры исчезают.

Из замеченных типографских погрешностей укажем только одну грубую: в словаре сказано, что акр равняется 1047 кв. м., в действительности же он содержит 4047 кв. м.

*

Выход в свет «Словаря современного румынского литературного языка» и «Грамматики румынского языка» наглядно показывает, что румынская лингвистика в условиях народно-демократического строя отошла от решения малых, неспринципальных вопросов и занимается исследованием вопросов нормализации современного литературного языка. Однако следует все же указать на то, что издание данного словаря не снимает с повестки дня издания большого академического словаря, который полностью охватил бы лексическое богатство румынского литературного языка и использовал все лучшие достижения академической традиции румынской лексикографии.

Н. Г. Корлякову

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЧЕХОСЛОВАКИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В пражском журнале «Советское языкознание»¹ помещен обзор работ чешских и словацких ученых, посвященных рассмотрению отдельных проблем фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики русского языка и некоторых других вопросов (авторы статьи А. Адамец, И. Цамутали, В. Грабе, М. Крбец, О. Ман, Я. Порак, А. Стржижова, А. Шоуркова, И. Влчек).

Как следует из обзора, в последние годы чехословацкие ученые-русисты сосредоточили свое внимание на изучении отдельных сторон современного русского языка. Этот интерес именно к современному русскому языку станет вполне понятным, если учесть сложившиеся в послевоенные годы дружественные отношения и тесное сотрудничество СССР и Чехословакии в самых различных областях.

Многие работы чехословацких русистов преследуют цели практического изучения русского языка, но вместе с тем разрабатываются и теоретические вопросы. Так, среди работ по фонетике русского языка выделится прежде всего статья М. Ромпортла «Фонетическое изучение русского *ы*»², в которой, на основе экспериментальных данных, автор характеризует звук *ы* как с артикуляционной, так и с акустической стороны. Автор впервые сопоставил русскую и чешскую интонационные системы, указав на их сходство и различия³. Вопросу о соотношении согласных по мягкости и твердости посвящена статья Я. Порака⁴. Наконец, к числу теоретических работ по фонетике относится и во многом спорная статья Я. Попелы «Фонетика современного русского языка для чехов»⁵.

Значительно больше внимания уделили чешские лингвисты вопросам практического освоения фонетики русского языка. После выхода в свет в 1950 г. книги Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение», как отклик на нее, появляются статьи, выдвигающие главным образом вопросы методики освоения русского литературного произношения⁶. Наиболее широко рассмотрены эти вопросы в статье М. Циц-

¹ Deset let naší jazykovědné rusistiky, «Sovětská jazykověda», ročn. V, seš. 3, Praha, 1955, стр. 176—199.

² См. М. Romportl, Fonetická studie o ruském «y», «Slavia», ročn. XXII, 1953, стр. 529—556.

³ См.: его же, K tónovému průběhu v mluvené češtině, Praha, 1951; его же, Melodie ruské a české věty, «Sovětská jazykověda», IV, 1954, стр. 207—222.

⁴ J. Porák, K otázce měkkostní korelace ruských velár, там же, стр. 227—232.

⁵ J. Popela, Hláskosloví současné ruštiny pro Čechy, там же, стр. 197—206.

⁶ См.: Л. В. Копецкы́, K otázce osvojení ruské výslovnosti, «Ruský jazyk», I, 1950—1951, стр. 99—105, 137—145; А. Фринта, O ruské výslovnosti, там же, стр. 145—149.

ра «Изучение русского произношения в чешской школе»¹. Однако больше всего появляется работ, посвященных вопросам ударения в русском языке².

Заслуживают внимания работы по русскому правописанию и транслитерации русских слов Л. В. Копецкого³, А. Фринты⁴, Б. Гавранка⁵ и др.⁶.

В изучении морфологии русского языка чешские лингвисты исходили главным образом из практических задач освоения русского языка в учебных заведениях страны. В связи с этим выдвигается, как основной, вопрос о продуктивных и непродуктивных типах в словоизменении. Большая заслуга в решении этого вопроса принадлежит Л. В. Копецкому⁷.

Некоторые более частные вопросы морфологии русского языка рассматриваются в сравнительном плане с другими славянскими языками. Следует указать интересные статьи Г. Балажа об отглагольных существительных⁸ и А. В. Исаченко о количественных числительных в русском языке⁹. Наконец, необходимо указать на такие работы по морфологии, которые хотя и строятся на чешском или словацком языковом материале, но по своим выводам представляют определенный интерес для русских грамматистов. В частности, интересны статьи, посвященные проблеме выделения категорий состояния¹⁰.

В области синтаксиса почти все работы строятся в плане сопоставления соответствующих явлений в русском и чешском языках¹¹. Отдельные проблемы, которых касаются чехословацкие лингвисты в своих работах, стоят на границе синтаксиса и словообразования. Таковы вопросы о типах приставочных образований, рассмотренные в статье Г. Чермаковой и О. Мана «Образование слов при помощи приставок в русском языке»¹², о глагольных конструкциях с предлогом *om* в значении отделительном и причинном¹³ и др.

¹ См. М. Cípr, *Vyučování ruské výslovnosti v české škole*, «Tři studie o vyučování ruštině», Praha, 1953.

² См.: V. Kůst, *K ruskému přízvuku a metodě jeho vyučování*, «Ruský jazyk», IV, 1954, стр. 14—19; M. Vencovská, *Pohyblivý přízvuk tvarů minulého času v ruštině*, «Ruský jazyk», II, 1952, стр. 356—360; V. Oktábec, *Pohyblivý přízvuk podstatných jmen ve spisovné ruštině*, там же, стр. 17—21, 40—44; A. Střížová, *O nácviku poslechu v ruském jazyce*, «Ruský jazyk», III, 1953, стр. 208—213; A. V. Isačenko, *O prechode prízvuku na predložky v ruštině*, «Ruský jazyk», II, 1951, стр. 101—105; E. Janáčková, *Přízvuk krátké formy přídavných jmen*, там же, стр. 238—243.

³ Л. В. Копецký, *Písemný a slohový výcvik v ruštině. I. Ruský pravopisný systém*, Praha, 1946.

⁴ А. Фринта, *Návrhy jednotného pravopisu slovanských řečí*, «Slavia», ročn. XVIII, seš. 1—2, 1947, стр. 47—56.

⁵ B. Havránek, *Psaní ruských jmen v češtině*, «Naše řeč», 33, 1949, стр. 41—46.

⁶ См. B. Ilek, *O převodu ruských vlastních jmen do češtiny*, «Naše řeč», 35, 1951—1952, стр. 7—12.

⁷ См. Л. В. Копецký, *K otázce mluvnice a slovníku v české škole*, «Ruský jazyk», IV, 1954, стр. 175—182.

⁸ G. Baláž, *Abstraktné deverbativa v ruštině, slovenčine a češtině*, «Sovětská jazykověda», IV, 1954, стр. 12—21.

⁹ A. V. Isačenko, *O niektorých zvláštnostiach základných číslovek v ruštině*, «Ruský jazyk», III, 1953, стр. 55—59.

¹⁰ Cp.: F. Kopečný, *Význam krátkých tvarů adjektivních a zejména tvaru neutrálního v češtině*, «Slavia», ročn. XXII, 1953, стр. 557—574; Ľ. Ďurovič, *K otázke neohybných čiasťok reči ve slovenčine*, «Jazykovedný zborník SAVU», IV, Bratislava, 1950, стр. 113—140; M. Komárek, *K otázce predikativa (kategorie stavu) v češtině*, «Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura», Praha, 1954, стр. 7—25.

¹¹ Cp.: J. Bauer, *Klasifikace souvětí v českých a ruských mluvnicih*, «Sovětská jazykověda», V, 1955, стр. 8—19; Л. В. Копецký, *O ruské skladbě na české škole*, «Studie a práce linguistické», I, Praha, 1954, стр. 296—307; A. V. Isačenko, *Čo zodpovedá doplnku v ruštině*, «Ruský jazyk», III, 1953, стр. 141—145; B. Ilek, *Vyjadřování současných dějů v ruštině a češtině*, ČMF, XXXIV, 1951, стр. 102—108; R. Mrázek, *Deiktické to v češtině a ruštině*, «Sovětská jazykověda», IV, 1954, стр. 285—304; S. Benesová, *O. Man, Genitiv přivlastňovací a přídavné jméno přivlastňoací v ruštině a češtině*, там же, стр. 22—24; B. Ilek, *O některých zvláštních rysech ruského záporu ve srovnání s českým*, «Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura», Praha, 1954, стр. 27—43; R. Mrázek, *K syntaxi vět s nestálým reflexivem v ruštině a češtině*, «Sovětská věda. — Jazykověda», III, 1953, стр. 431—448.

¹² H. Čermáková a O. Man, *Přístavkový typ skládání slov v ruštině*, «Sovětská věda. — Jazykověda», III, 1953, стр. 354—357.

¹³ См. J. Sedláček, *O některých slovesných vazbách s předložkou*, «Ruský jazyk», III, 1953, стр. 240—244.

Среди указанных выше работ большую помощь в постановке преподавания русского языка в чешской школе оказала статья Л. В. Копецкого, в которой уделяется внимание и вопросам методики преподавания, а также работа А. В. Исаченко о типах предложений с составным именным сказуемым. Способы выражения главных членов предложения, связанные с определением и характеристикой различных типов предложений, стояли в центре внимания таких работ, как «Обобщенно-личные предложения» Р. Мразека¹, «Выбор и постановка субъекта в русском и чешском языках» Б. Илека², «О вторичном предикате в русском и чешском языках» В. Грабе³. Ряд интересных работ по синтаксису содержит сборник «Книга о переводе» (об инфинитивных конструкциях, деепричастных оборотах, порядке слов и др.)⁴.

В изучении словарного состава русского языка наибольшее значение имеет подготовка и издание в Чехословакии двуязычных словарей и разработка связанных с этим теоретических вопросов. Работа по составлению словарей сосредоточена в двух центрах: в Праге (русско-чешские и чешско-русские словари) и в Братиславе (русско-словацкие и словацко-русские словари). Пражский центр представляет собой лексикографическое отделение Чехословацко-советского института под руководством проф. Л. В. Копецкого и акад. Б. Гавранка. Работой братиславского центра руководит проф. А. В. Исаченко.

Для успешного развития лексикографической работы в Чехословакии большое значение имела проведенная 5—7 июня 1952 г. в Братиславе лексикографическая конференция, на которой были обсуждены наиболее важные проблемы теории и практики лексикографии⁵.

В Праге ведется работа по составлению «Большого русско-чешского словаря» (вышло из печати два тома под ред. Л. В. Копецкого, Б. Гавранка, К. Горалка, Б. Новака и Е. Некроховой: I — буквы А — Й, II — буквы К — О). Теория и практика словарного дела в Чехословакии опирается как на свою национальную традицию, так и на достижения советской лексикографии, в частности, на теоретические работы таких ученых, как Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Е. С. Истрина, С. И. Ожегов.

Кроме большого русско-чешского словаря, после 1945 г. был переиздан средний по объему «Русско-чешский словарь» проф. Л. В. Копецкого (первое издание 1937 г.), который и в настоящее время считается лучшим из словарей этого типа. В 1952 г. издан «Настольный русско-чешский словарь», подготовленный специально для слушателей Народных курсов русского языка авторским коллективом из Центральной комиссии этих курсов. В 1953 г. вышел из печати «Русско-чешский фразеологический словарь» М. Мартинковой, подготовленный при участии сотрудников лексикографического отделения Чехословацко-советского института.

Что же касается чешско-русских словарей, то, кроме переизданного в 1951 г. малого словаря А. Шировой и карманных словарей В. Веверки и Б. Гончаря, которые уже не соответствуют современному состоянию лексикографии, другие чешско-русские словари в этот период не издавались. В связи с этим коллектив работников лексикографического отделения Чехословацко-советского института на основе новейших теоретических принципов готовит новый чешско-русский словарь среднего объема.

В Братиславе были подготовлены за этот период словацко-русский словарь проф. А. В. Исаченко⁶ и настольный русско-словацкий словарь под ред. А. В. Исаченко⁷.

Из теоретических работ о словарном составе русского языка одни ставят более общие проблемы, как, например, статьи Л. В. Копецкого «О слове и словосочетании»⁸,

¹ R. M r á z e k, Věty s v š e c e b n ý m p o d m ě t e m, «Ruský jazyk», V, 1955, стр. 150—157.

² B. I l e k, Volba a postavení subjektu v ruštině a v češtině, «Studie a práce lingvistické», I, Praha, 1954, стр. 275—295.

³ V. H r a b ě, O druhotném predikátu v ruštině a češtině, «Ruský jazyk», III, 1953, стр. 72—79, 107—110.

⁴ См.: K. H o r á l e k, O překládání infinitivních konstrukcí, «Kniha o překládání», Praha, 1953, стр. 247—257; V. O k t á b e c, O překládání ruských přechodníkových vazeb, там же, стр. 258—279; H. K ř í ž k o v á, Problémy českého a ruského slovosledu, там же, стр. 280—298; I. S a m u t a l i o v á, Některé zvláštnosti ruských spojek a jejich překlad do češtiny, там же, стр. 299—318 и др.

⁵ См. материалы этой конференции в книге «Lexikografický sborník» (Bratislava, 1953).

⁶ A. V. I s a č e n k o, Slovensko-ruský prekladový slovník, diel I, A—O, Bratislava, SAVU, [1951] (тит. л.: 1950).

⁷ «Príručný slovník rusko-slovenský», Bratislava, 1952 (сост.: Е. Čulenová, Л. Ďurovič, А. Isachenko, В. Lapárová, О. Malíková, М. Sásíková).

⁸ L. V. K o p e c k i j, O slově a slovním spojení, «Ruský jazyk», 1951—1952, č. 6—7.

о семантизации словарного состава¹, другие посвящены конкретным вопросам (характеристике словаря², влиянию русского языка на словарный состав других языков³ и т. д.).

Наконец, для изучения словарного состава русского языка большое значение имели работы, посвященные проблемам словообразования. Среди них в первую очередь необходимо назвать статью проф. А. В. Исаченко «О взаимоотношении между морфологией и словообразованием» как более общую по своему характеру⁴. Другие статьи касаются частных вопросов словообразования в современном языке⁵.

¹ См. J. Veselý, K problému sémantisace slovní zásoby, «Ruský jazyk», 1955, č. 4.

² См.: Z. Horálková, K charakteristice slovní zásoby ruštiny (na základě srovnání s češtinou), «Sovětská jazykověda», IV, 1954, č. 2; H. Křížková, Ruské lexikální prvky v češtině po r. 1945, «Kniha o překládání», Praha, 1953.

³ См.: J. Šabršula, Vliv ruštiny na slovní zásobu současných evropských jazyků, «Sovětská jazykověda», IV, 1954, č. 2; M. Dokulil, Vliv ruštiny na současné jazyky slovanské v sovětské epoše, «Sovětská jazykověda», V, 1955, стр. 161—175.

⁴ А. В. Исаченко, О vzájomných vzťahoch medzi morfológiou a deriváciou, «Jazykovedný časopis», ročn. VII, č. 1, 1953, стр. 35—49.

⁵ См. М. Мановá а О. Ман: О некоторых типах адъективных словен в русинь а чешинь, «Sovětská věda.—Jazykověda», III, 1953, стр. 448 и сл.; Obyvatelská jména v ruštině а чешинь, там же, стр. 544 и сл.; J. Vlček, Tvoření slov v současné ruštině, «Ruský jazyk», III, 1953, č. 8 и др.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ СЛАВЯНОВЕДОВ В БЕЛГРАДЕ

15—21 сентября 1955 г. в Белграде происходило международное совещание филологов-славистов, созданное по инициативе кафедр славянской филологии шести университетов Югославии (Белградского, Загребского, Люблянского, Сараевского, Скопского и Новосадского). Совещание носило довольно широкий представительный характер: в его работе приняли участие ученые 18 стран (Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германской Федеральной Республики, Голландии, Дании, Италии, Польши, Румынии, СССР, США, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии). Только из-за границы на совещание прибыло 65 участников, с югославской стороны число их доходило до 80 человек.

Советский Союз был представлен делегацией в составе 6 человек, а именно: акад. В. В. Виноградовым (глава делегации), членом-корр. АН СССР М. П. Алексеевым, профессорами В. П. Борковским, И. П. Третьяковым, А. С. Мясниковым и доц. Ю. С. Масловым. Седьмой член советской делегации проф. Д. С. Лихачев не смог прибыть в Белград лично, но подготовленный им доклад был напечатан и распространен среди участников совещания.

Югославская делегация, возглавляемая акад. Александром Беличем, подразделялась на 6 университетских делегаций (делегацию Загребского университета возглавлял проф. Иосип Бадалич, Люблянского — проф. Антон Слюдняк, Сараевского — проф. Салко Назечич, Скопского — проф. Блаже Конески и Новосадского — проф. Миливой Павлович).

Австрия была представлена одним делегатом — проф. Рудольфом Ягодичем; Болгария — акад. В. Георгиевым и профессорами И. Лековым, Л. Андрейчиным и П. Диневым; британскую делегацию возглавлял проф. В. К. Мэтьюз, в состав делегации входили профессора Элизабет Хилл, С. Коновалов, Б. Унбегаун, д-р Р. Оти и др.; Венгрию представляли проф. Ласло Гадрович и Петер Кирай; Германскую Федеральную Республику — профессора Пауль Дильс, Эрвин Кошмидер, Алоис Шмаус и др.; Голландию — три делегата: Ван Схоневельд, ван ден Берк и Т. Экман; Данию — проф. К. Стиф; Италию — проф. Джованни Мавер и К. Вердиани; Польшу — делегация в составе 8 человек, а именно: профессора Т. Лер-Сплавинский (глава делегации), Г. Вольпе, Зд. Штыбер, В. Дорошевский, Ант. Обребеска-Яблоньска, Т. Миккульский, М. Якубц, Е. Земек; Румынию представлял акад. Э. Петрович; США — профессора Р. Якобсон, В. Ледницкий и Г. Лант; Финляндию — проф. Э. Неминен и В. Кипарский; Францию — делегация в составе 7 человек, а именно: профессора А. Мазон, А. Вайан, Ж. Люсиани, М. Эрар, А. Буассен, Ш. Корбе и Р. Триомф; Чехословакию — делегация в составе 7 человек, а именно: акад. Б. Гавранек, проф. И. Курц, К. Горалек, Ю. Доланский, Ф. Вольман, В. Бланар, А. Мраз; Швейцарию — проф. Э. Дикенманн; Швецию — проф. Гуннар Гуннарссон и Гуннар Якобсон.

Программа совещания включала ряд важных пунктов. Так, его участникам предстояло разрешить несколько очень существенных организационных вопросов и прежде всего вопрос о международном съезде славистов. Как известно, традиция периодических международных съездов славистов, начатая в 1929 г. съездом в Праге и продолженная через 5 лет, в 1934 г., в Варшаве, была затем прервана второй мировой войной (начало которой сделало невозможным созыв 3-го съезда, подготовлявшегося в 1939 г. в Белграде). Участникам совещания предстояло решить вопрос о времени и месте созыва очередного съезда, а также создать международный комитет славистов, т. е. орган, который взял бы на себя подготовку к съезду и вообще служил бы международным организационным центром славяноведения в период до съезда. На повестке дня совещания стояли и другие организационные вопросы, касающиеся создания международной библиографии по славянской филологии, обмена публикациями и т. д.

Далее в программу совещания входил ряд научно-информационных докладов о развитии славянской филологии за последние десять лет в странах, представленных на совещании.

Наконец, были предусмотрены научные доклады исследовательского характера, посвященные различным общим и специальным вопросам славянской филологии.

Совещание открылось 15 сентября в парадном зале Сербской Академии наук вступительной речью акад. А. Белича и приветствиями ряда делегаций. Акад. А. Белич закончил свое выступление словами: «Открывая это совещание, я поздравляю наших дорогих гостей из различных стран мира и выражаю свою радость, что вижу их в нашей среде. В то же время я хотел бы выразить наше величайшее желание, чтобы они провели дни совещания в атмосфере дружественного согласия и договоренности и сохранили о них, как и обо всем пребывании в нашей стране, незабываемые воспоминания». Затем был избран рабочий комитет совещания, который занялся подготовкой решений по организационным вопросам. Вечером состоялся торжественный прием участников совещания у вице-председателя Союзного Исполнительного Веча Югославии Родолюб Чолаковича. В дальнейшем работа совещания протекала в форме пленарных заседаний и в форме секционных заседаний двух секций — языка и литературы. Рабочими языками совещания были все славянские языки, а из неславянских — немецкий, французский и английский.

По организационным вопросам, рассматривавшимся на совещании, были приняты следующие решения:

1. Был образован международный комитет славистов в составе 12 членов и 12 заместителей. Членами комитета избраны: В. В. Виноградов (СССР), Т. Лер-Сплавинский (Польша), Б. Гавранек (Чехословакия), В. Георгиев (Болгария), А. Белич (Югославия), А. Мазон (Франция), г-жа Э. Хилл (Великобритания), Р. Якобсон (США), Ад. Стендер-Петерсен (Дания), М. Фасмер (ГФР), Дж. Мавер (Италия), Э. Петрович (Румыния). Заместителями избраны В. И. Борковский (СССР), В. Дорошевский (Польша), Ю. Долякский (Чехословакия), П. Диеков (Болгария), А. Барац (Югославия), А. Вайан (Франция), В. К. Мэтьюз (Великобритания), В. Ледницкий (США), Г. Гуннарсон (Швеция), Р. Ягодич (Австрия), Э. Ло Гатто (Италия), П. Кнежа (Венгрия). Председателем международного комитета славистов единогласно был избран акад. В. В. Виноградов.

2. По предложению советской делегации единодушно было принято решение о созыве очередного международного съезда славистов в Москве в 1958 г. С одобрением был встречен и предложенный главой советской делегации акад. В. В. Виноградовым ориентировочный список проблем, подлежащих рассмотрению на этом съезде, включающий такие узловые вопросы славянской филологии, как вопрос об основных закономерностях развития реализма в славянских литературах (включая и вопрос о генезисе социалистического реализма), вопрос о взаимоотношениях и взаимодействии славянских литератур друг с другом и с литературами других народов, вопрос об эпосе славянских народов, о развитии славянских литературных языков в связи с историей славянских народов, проблемы исторической диалектологии славянских языков (в связи с задачами составления общеславянского лингвистического атласа), проблемы сравнительно-исторической лексикологии славянских языков и, наконец, вопрос о новых данных, освещающих происхождение славянских племен и языков (вопрос, который позволит привлечь к широкому участию в съезде также историков и археологов).

3. Решения, принимаемые по вопросам упорядочения библиографии по славяноведению, состоят в следующем. По славянскому языкознанию создается международный библиографический центр в Кракове, где на базе журнала «Rocznik slawistyczny» будут издаваться под редакцией акад. Т. Лер-Сплавинского ежегодные библиографические обзоры. Во всех славянских странах при академиях наук или при университетах должны быть созданы группы библиографов или референтов, которые будут собирать библиографию по данной стране для передачи ее в библиографический центр в Кракове. По неславянским странам соответствующую работу взял на себя прф. Э. Дикеман (Швейцария). По истории славянских литератур было признано целесообразным издание национальной библиографии в каждой славянской стране; по неславянским странам библиографический центр решено создать в Голландии, а именно — при Лейденском университете.

4. Кроме того, по предложению французской делегации (докладчик Р. Триомф) было признано целесообразным рекомендовать всем делегациям обратиться к правительствам своих стран с ходатайством о заключении, на основе взаимности, культурных конвенций об обмене на определенные сроки преподавателями и студентами, как и о других мерах, облегчающих контакт между учеными разных стран.

Переходя к обзору докладов, предложенных вниманию совещания, прежде всего приходится с сожалением отметить, что как пленарные, так и секционные заседания оказались переполненными большим количеством докладов, в силу чего обсуждение их вообще не имело места и даже вопросы докладчикам публично не задавались. Это, конечно, явилось существенным недостатком совещания. Кроме того, надо сказать, что одна лишь советская делегация представила свои доклады не только в устном изложении, но еще и в печатном виде и в количестве, позволившем снабдить ими всех участников совещания и многих гостей. Делегации других стран, к сожалению, огра-

ничились устным изложением своих докладов и не имели даже каких-либо кратких письменных тезисов, которые они могли бы распространить среди присутствующих. Правда, организационный комитет совещания предполагает в ближайшее время получить у всех докладчиков тексты их выступлений для опубликования, но можно сомневаться в полном успехе этого предприятия (отметим, что доклады не стенографировались, да, вероятно, и не могли бы стенографироваться, так как читались на разных языках).

В и н ф о р м а ц и о н н ы х д о к л а д а х, прочитанных на заседаниях секции языка, было освещено развитие славянского языкознания за послевоенные годы во всех славянских странах: в Югославии (доклад проф. Мате Храсте), в Чехословакии (доклады акад. Б. Гавранка и — специально о достижениях в изучении старославянского языка — проф. И. Курца), в Польше (доклады проф. Т. Лер-Сплавинского и — специально о работах по польской диалектологии — проф. Зд. Штибера), в Болгарии (доклад проф. Л. Андрейчина и И. Лекова) и в СССР (устный доклад был сделан акад. В. В. Виноградовым; кроме того, участникам совещания были розданы печатные тексты трех докладов: В. В. Виноградова «Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР», В. И. Борковского «Разработка советскими учеными вопросов исторической грамматики и диалектологии восточнославянских языков в послевоенные годы» и Ю. С. Маслова «Изучение южных и западных славянских языков в СССР за последние десять лет»¹). Доклады по всем пяти славянским странам продемонстрировали значительные достижения в деле изучения как современных славянских языков, так и их истории и были с большим интересом прослушаны присутствующими.

На заседаниях секции литературы были прочитаны аналогичные информационные доклады, содержавшие обзор достижений и проблем в области истории славянских литератур, — доклады проф. Т. Микульского (Польша), Др. Павловича (Югославия), Ф. Вольмана (Чехословакия) и др. О работах советских ученых по истории русской литературы XVIII — XX вв. за последние десять лет доложил проф. А. С. Мясников, который также роздал присутствующим печатный текст своего доклада и доклада проф. Д. С. Лихачева об изучении древнерусской литературы в СССР за тот же период.

Делегации большинства неславянских стран представили по одному информационному докладу. Эти доклады, поскольку в каждом из них рассматривались как лингвистические, так и литературоведческие работы славистов соответствующих стран, читались на пленарных заседаниях. От неславянских стран с информационными докладами выступили профессор А. Вайан (Франция), Р. Якобсон и В. Ледвицкий (США), Э. Хилл (Англия), П. Кирай (Венгрия), Р. Ягодич (Австрия), Дж. Мавер (Италия), А. Шмаус (Германская Федеральная Республика) и Э. Петрович (Румыния). Кроме того, на одном из пленарных заседаний с кратким сообщением о работе Института славяноведения АН СССР выступил проф. П. П. Третьяков. Большинство информационных докладов, вынесенных на пленарные заседания, особенно доклады Э. Хилл, П. Кирай и ряда других, были заслушаны также с живым интересом. Правда, отдельные доклады оказались чересчур перегруженными библиографическими справками и недостаточно выделяли главное в работах рассматриваемого периода (впрочем этот недостаток был присущ и некоторым докладам, прочитанным на секционных заседаниях).

Наглядной иллюстрацией к информационным докладам, представленным советской делегацией, явилась выставка советских книг по славянской филологии, устроенная в помещении Белградского университета, где проходили секционные заседания. Выставка, на которой были представлены как московские издания, так и издания, вышедшие в Ленинграде и на Украине, пользовалась большим успехом среди участников совещания. После выставки советская делегация передала книги в качестве подарка Сербской Академии наук и Белградскому университету.

Д о к л а д ы п е и н ф о р м а ц и о н н о г о, исследовательского характера, как лингвистические, так и литературоведческие, были посвящены различным темам. Все они читались на секционных заседаниях.

Из числа докладов, прочитанных в секции языка, некоторые были посвящены вопросам общеметодологического характера. Любопытно отметить, что по своим темам они в известной степени соответствовали проблематике, намечаемой для будущего международного съезда. Это доклады Б. Гавранка «Изучение развития литературных славянских языков в связи с общественным развитием славянских народов», В. Дорошевского «Диалектология и сравнительно-исторический метод в языкознании», К. Горалка «Необходимость сравнительной лексикологии славянских языков». Другие доклады рассматривали более частные вопросы сравнительно-исторической фонетики (доклады В. К. Мэтьюза «Староболгарские группы *шт* и *жд*», И. Хамма «Праславянское *ѣ* в западных и южных славянских языках»,

¹ О содержании докладов В. В. Виноградова, В. И. Борковского и Ю. С. Маслова, см. ВЯ, 1955, № 6, стр. 132—137.

В. Георгиева «Концепция индоевропейских гуттуральных и ее значение для этимологии некоторых славянских слов» и др.); вопросы о связях между славянскими и неславянскими языками (доклады Э. Неминена «Имеются ли в прибалтийско-финских языках заимствования из праславянского», Л. Гадровича «Проблема венгерских элементов в сербо-хорватском языке», Т. Лер-Силавинского «Несколько замечаний о кельто-праславянских языковых отношениях»); вопросы развития грамматического строя славянских языков (доклады А. Белича «О значении глаголов с двумя видами в славянских языках», С. Живковича «О славянском глагольном виде», И. Лекова «Отклонения от флективного строя в славянских языках» и др.). Наконец, были интересные доклады, стоявшие вне указанного круга тем, например доклад Л. Йонке «Идеологические основы загребской филологической школы», Б. Конеского «Замечания о языке Апостола так называемой старшей редакции», В. Бланара «Лексикологическая и грамматическая проблематика имен собственных» и др.

Из числа докладов, прочитанных на заседаниях секции литературы, отметим доклады профессоров Фр. Петре (Югославия) «От модернизма до экспрессионизма и сюрреализма в югославских литературах», Ю. Доланского (Чехословакия) «Задачи и методы изучения литературных связей народов Чехословакии и Югославии», М. П. Алексеева (СССР) «Славянские источники „Утопии“ Томаса Мора», А. Шмауса (Зап. Германия) «Пути и цели изучения славянского народного эпоса» и др. И здесь, как видим, темы некоторых докладов в той или иной мере соответствовали проблематике, намеченной для предстоящего международного съезда, что, конечно, не случайно и говорит о том, что проблемы для съезда выбраны актуальные, отвечающие тому, над чем сейчас работают слависты различных стран.

В перерывах между заседаниями для участников совещания были устроены интересные экскурсии (в частности, в столицу авт. края Воеводины — Нови Сад и в город Сремски Карловци, игравший видную роль в истории сербского возрождения); было организовано посещение драматического театра, в котором нам показали прекрасную комедию Марина Дрижича «Дундо Мароев»; кроме упомянутого уже торжественного приема у Р. Чолаковича, были устроены приемы у председателя Народного комитета (мэра) гор. Белграда М. Минича и в клубе Сербской Академии наук. Эти экскурсии, посещение театра и приемы дали возможность участникам совещания встретиться с общественными деятелями Югославии, ближе познакомиться с ее культурой и, отчасти, природой. В перерывах между совещаниями, во время экскурсий и приемов участники совещания широко общались друг с другом, что имело большое значение для установления личного контакта, для налаживания научных связей, обмена публикациями и т. д. Различные культурные учреждения Югославии (Матица Српска в Новом Саде, Сербская Академия наук, Славянский семинарий Белградского университета) преподнесли участникам совещания — лично и для передачи в библиотеки соответствующих научных учреждений — довольно значительное количество книг и журналов по славянской и южнославянской филологии.

После окончания совещания акад. В. В. Виноградов, по приглашению Белградского университета, прочел на философском факультете этого университета публичную лекцию на тему «Основные вопросы формирования русского национального литературного языка», прослушанную с большим интересом преподавателями и студентами факультета.

Подводя итоги совещания, следует отметить что, несмотря на отсутствие дискуссий по докладам и некоторые другие указанные выше недостатки, в целом совещание было очень интересным и полезным. Со времени 2-го варшавского съезда славистов в 1934 г. не было ни одного международного совещания славистов такого масштаба, как это. Можно быть только благодарным югославским коллегам, проявившим ценную инициативу и взявшим на себя немалый труд (и немалые расходы) по организации совещания. Не приходится сомневаться в том, что белградское совещание, принятые на нем важные решения и личные встречи славистов, имевшие место в ходе совещания, не замедлят плодотворно сказаться на дальнейшем развитии славянской филологии как у нас в СССР, так и во всех других славянских и неславянских странах.

Ю. С. Маслов

НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО (1950—1955 гг.)

После дискуссии по вопросам языкознания кафедра русского языка Киевского государственного университета пересмотрела и изменила тематику научных работ в плане максимального приближения их к конкретному осуществлению задач, стоящих перед советскими языковедами.

Переработке подверглись учебные программы, тематика кандидатских диссертаций аспирантов, а также дипломных и курсовых работ студентов; подвергся обсуж-

дению ряд научно-методических вопросов, связанных с новыми задачами советского языкознания.

Работники филологического факультета прослушали доклады профессоров: Л. А. Булаховского «Об итогах языковедческой дискуссии в газете „Правда“», А. А. Белецкого «О принципах этимологических исследований», А. И. Белецкого «Проблемы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина» и др.

Научные работники филологического факультета приняли активное участие в лекционно-пропагандистской работе. Так, профессора и доценты Л. А. Булаховский, А. И. Белецкий, А. А. Белецкий, И. К. Белодед, К. К. Целуйко, Н. Н. Стаховский, В. И. Масальский и др. прочитали множество докладов и опубликовали в газетах и журналах десятки статей.

После лингвистической дискуссии за 5 лет кафедра русского языка окрепла и провела значительную работу по подготовке научно-педагогических кадров, публикации научно-исследовательских, методических и научно-популярных работ, проведению теоретических и методических докладов и т. п.

За это время при кафедре русского языка подготовлены и защищены следующие кандидатские диссертации: В. А. Сиротина «Особенности языка и стиля публицистики Горького советского периода», Т. И. Малина «Безличные предложения и их стилистические функции в произведениях А. М. Горького», А. М. Барзилович «Субстантивация имен прилагательных в русском языке», М. А. Карпенко «Лексика и фразеология романа А. М. Горького „Фома Гордеев“».

Все эти товарищи, воспитанники кафедры, в настоящее время являются членами кафедры русского языка филологического факультета КГУ.

Многие преподаватели, прошедшие подготовку при кафедре и защитившие кандидатские диссертации, работают в других вузах Украины. Отметим здесь диссертации Г. М. Чумакова «Прямая речь в современном русском языке», Е. П. Кулинич «Изменения в употреблении предлогов в современном русском литературном языке», И. Г. Галенко «Сложные слова в русском языке 2-й половины XVIII века», Г. И. Рихтера «Синтаксис предлогов в языке современной русской публицистики», Ф. К. Гужвы «Исследования об употреблении кратких и полных форм прилагательных в русской советской художественной литературе» и др.

После пересмотра планов научной работы усилия членов кафедры были сконцентрированы вокруг следующих задач: 1) подготовка докторских и кандидатских диссертаций, 2) подготовка и издание учебных пособий, 3) подготовка и издание научно-методических и научно-популярных работ.

Над докторскими диссертациями работают доценты К. К. Целуйко («Основы топонимики Среднего Приднестровья»), В. И. Масальский («Значение творчества М. Коцюбинского для развития украинского литературного языка»), Н. Н. Стаховский («История преподавания русского языка в средних школах во 2-й половине XIX и в начале XX в.»).

За это время члены кафедры подготовили и издали ряд учебных пособий В. И. Масальский издал «Основные принципы преподавания грамматики в средней школе», «Вопросы методики грамматики, правописания и развития речи учеников» («Радянська школа», 1953). Н. Н. Стаховским составлены «Фонетические и морфологические таблицы по русскому языку» («Радянська школа», 1951), «Методические указания к фонетическим и морфологическим таблицам по русскому языку» (1951) и опубликованы «Синтаксис русского языка» для библиотеки «Университет на дому» («Радянська школа», 1950) и «Вопросы культуры русской речи» («Радянська школа», 1952).

Кроме того, члены кафедры русского языка опубликовали за 5 лет свыше шестидесяти научно-исследовательских, научно-методических и научно-популярных статей в журналах СССР и УССР, в «Ученых записках» университетов, Института языкознания АН УССР. При этом отродило отметить, что в печати активно выступают и молодые научные работники кафедры.

За 5 лет члены кафедры русского языка подготовили десятки научных докладов и прочитали их на кафедре, на пленуме языковедческих кафедр и на научных конференциях. Так, например, доц. Н. Н. Стаховский подготовил и прочитал следующие доклады: «Борьба за культуру русской речи», «Порядок слов в предложении», «О некоторых трудных формах имен существительных», «Н. И. Пирогов о подготовке научно-педагогических кадров» и др.

Доц. В. И. Масальский выступил с такими докладами, как «О закономерностях и методике обучения языку в средних школах», «Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов о языке и его изучении», «К вопросу об изучении языка и речевых стилей творчества М. Коцюбинского».

Канд. филол. наук Т. И. Малина прочла доклады: «Односоставные предложения в памятниках XI — XIV вв.», «О происхождении языка в свете трудов классиков марксизма-ленинизма».

Доц. К. К. Целуйко выступил с докладом «Об основах топонимики Среднего Приднестровья». Были прочитаны доклады и на другие темы.

При кафедре русского языка все время работает научный студенческий кружок по русскому языкознанию, руководимый канд. филол. наук Т. П. Малиной. Кружок проводит свои заседания два раза в месяц. В кружке работает около 30 студентов.

Под руководством кафедры русского языка члены кружка за 5 лет подготовили и прослушали более шестидесяти докладов. Среди них можно отметить следующие: 1) «Критерии разграничения частей речи» (т. Грошева), 2) «Категория состояния» (т. Калужная), 3) «Обобщенно-личные предложения в эпистолярной прозе Пушкина» (т. Артамонова), 4) «Междометные глаголы в современном русском языке» (т. Коваленко) и многие другие.

Некоторые из названных докладов опубликованы в сборнике студенческих научных работ, некоторые рекомендованы к печати в 1955 г.

Лингвистический кружок при кафедре русского языка является первичной научной ячейкой, готовящей студентов в аспирантуру. Так, члены кафедры русского языка В. А. Сиротина, А. М. Барзилович, М. А. Карпенко и др. несколько лет тому назад были активными членами этого кружка.

В развертывании своей научной работы кафедра русского языка имела и недостатки. Кафедра мало координировала свою работу с родственной кафедрой украинского языка, а также и с другими лингвистическими кафедрами (общего языкознания, славянской филологии); кафедра недостаточно организованно развернула библиографическую работу; кафедра не всегда хорошо производила отбор в аспирантуру, в связи с чем не все аспиранты своевременно защищают свои диссертации; недостаточно активно участвуют аспиранты кафедры в работе лингвистического кружка.

В заключение отметим, что нам представляется очень желательным систематический обмен информацией и опытом работы лингвистических кафедр на страницах журнала «Вопросы языкознания».

Н. Н. Стаховский

НОВАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВОПРОСАМ ЯЗЫКОЗНАНИЯ *

1. Вопросы языкознания. [Сб. статей.] Кн. 1.— Львов, 1955. [Кафедра русского языка и общего языкознания (Львовского ун-та им. Ив. Франко)].

К р о т е в и ч Е. В. Предложение нераспространенное и распространенное; Ш а т у х М. Г. Структурно-семантические разряды приложений в современном русском языке; Г а л е н к о И. Г. Из наблюдений над удвоением корней, основ и слов; И ц к о в и ч В. А. К вопросу об отношениях между самостоятельными предложениями в тексте. (Независимые предложения, выступающие в функции вводных); К о р о б ч и н с к а я Л. А. Функции порядка слов в древнерусском языке; П е т р о в с к и й В. И. Стилистические особенности авторской речи и речи действующих лиц в поэме А. Недогонова «Флаг над селом советом»; К а л а м о в а Н. А. Переход наречий в предлоги.

2. Записки [Удмуртского науч.-исслед. ин-та истории, языка, лит-ры и фольклора при Совете Министров Удмуртской АССР]. Вып. 17.— Ижевск, 1955.

С е р е б р е н н и к о в Б. А. О природе прошедшего неочевидного в пермских и марийских языках; П е р е в о ш и к о в П. Н. Переходные конструкции в удмуртском языке и знаки препинания в предложениях с этими конструкциями. (К обсуждению Проекта правил пунктуации); А л а т ы р е в В. П. Существует ли звук *ц* в удмуртском языке?

3. Известия Казанского филиала [АН СССР]. Серия гуманитарных наук. Вып. 1.— Казань, 1955.

А х у н з я н о в Э. М. Морфологическое освоение русских слов, заимствованных в татарский язык (имена существительные и прилагательные); М а х м у т о в а Л. Т. Описание грамматических особенностей касимовского говора татарского языка; Г а й н у л л и н М. Х. Н. Г. Чернышевский и его рукописи на татарском языке; Б у р г а н о в а Н. Б. Из наблюдений над говором параньгинских татар. (По материалам экспедиции 1953 г.)

* В настоящем перечне учтены продолжающиеся издания типа «Ученых записок» и «Трудов», вышедшие из печати преимущественно во второй половине 1955 г. Предполагая сделать информацию о новой советской литературе по языкознанию постоянной, редакция просит читателей и авторов, а также все заинтересованные учреждения присылать по ее адресу новые книги, сборники, оттиски статей и авторефераты по вопросам языкознания — для своевременного отражения их на страницах журнала в обзорах, рецензиях, аннотациях или библиографических перечнях.

4. Краткие сообщения [Ин-та славяноведения АН СССР]. Вып. 15. — М., 1955. Матусевич М. И. Экспериментально-фонетические исследования согласных болгарского языка; Чешко Е. В. Слово сочетания с предлогом с в болгарском литературном языке; Маслов Ю. С. О своеобразии морфологической системы глагольного вида в современном болгарском языке; Трубачев О. Н. К этимологии слова *собака*; Доклад академика В. И. Георгиева на тему «Болгарское языкознание на новом пути»; Чешко Е. В. Второе совещание по вопросам болгарской грамматики [Москва. Дек. 1953 г.]; Журавлев В. К. Дипломные работы по славянскому языкознанию в МГУ (1954 г.); Иванова Н. Х. Творительный предикативный падеж в польском языке. [Автореф. канд. дисс.]; Булыгина - Шейнкерман А. М. Язык «Сети веры» Петра Хельчицкого. (Из истории чешского языка XV века). [Автореф. канд. дисс.].
5. Научные записки [Львовского торгово-эконом. ин-та]. Вып. 1. — Львов, 1954. Опельбаум Е. В. Заимствования из русского языка в немецком языке в области промыслов и сельского хозяйства.
6. Труды Воронежского гос. ун-та. Т. 38. Сборник работ Историко-филол. фак-та. Харьков, 1955.
Чижик-Полейко А. И. Языковые средства фольклорного колорита в сказах П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»; Собиенникова В. И. Родительный и винительный падежи прямого объекта при отрицании в народных говорах. (По материалам говоров Гремяченского района Воронежской области); Кавецкая Р. К. Категория вида в действительных причастиях.
7. Труды Ин-та истории естествознания и техники [АН СССР]. Т. 3. — М., 1955. Костров В. Н. Из истории русской технической терминологии; Яковлева О. А. К вопросу о названиях полудрагоценных камней в Московской Руси.
8. Труды Томского ун-та им. В. В. Куйбышева. Т. 129. Серия языкознания. Четвертая научная конференция Томского ун-та им. В. В. Куйбышева. Секция языкознания. — Томск, 1955.
Скворцова А. А. Основные задачи изучения русских говоров Западной Сибири; Палагина В. В. Фонетические особенности говора дер. Заливино Тарского района Омской области; Овчинникова Р. С. К вопросу о народной основе селскохозяйственной терминологии; Агеева З. С. Особенности в формах местоимений и имен прилагательных в акающих говорах Красноуфимского района Свердловской области; Скворцова А. А. К вопросу о происхождении деепричастий в русском языке; Свиридова М. Г. Орловские говоры на территории Новосибирской области. (Кыштовский район).
9. Ученые записки [Азерб. ун-та им. С. М. Кирова]. № 3. — Баку, 1955. — Резюме на азерб. яз.
Алиев А. К. О пассивной форме глагола в азербайджанском языке.
10. Ученые записки [Азербайджанского ун-та им. С. М. Кирова]. № 4. — Баку, 1955. — Резюме на азерб. яз.
Алекберли Г. Г. Идеалистическая основа понимания фонемы в концепции Л. В. Щербы и его последователей.
11. Ученые записки [Ереванского русск. пед. ин-та им. А. А. Жданова]. Т. V. — Ереван, 1955.
Гарибян А. С. Из сравнительной фонетики армянского и славянских языков; Мелкумян Р. Л. Категория рода в современном русском языке.
12. Ученые записки [Ин-та истории, языка и лит-ры Молдавского филиала АН СССР]. Т. IV — V. Серия филологическая. — Кишинев, 1955. — На молдав. и русск. яз.
Борщ А. Т. Очередные вопросы молдавского языкознания; Корлятуху Н. Г. Проблема происхождения и развития основного словарного фонда молдавского языка (на молдав. яз.); Соловьев В. П. Вопросы фразеологии молдавского языка (на молдав. яз.); Вартичан И. К. К вопросу о глагольном словообразовании в молдавском языке; Корчинский Н. А. К вопросу о сложном предложении (на молдав. яз.); Вартичан К. И. К вопросу о некоторых языковых особенностях первой печатной молдавской книги «Казания гл҃й Варлаам» (1643 г.); Руссеев Е. М. К вопросу о летописи Григория Уреке как памятнике молдавского языка XVII в.; Надель Б. И. Проблема «народной» латыни и вопросы происхождения молдавского языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию; Лисицкий В. А., Удлер Р. Я. Об особенностях вокализма молдавских говоров Северной Буковины; Дзедзельский И. А. Молдаванизмы и их стилистическая роль в украинских говорах Нижнего Поднестровья; Мельничук А. С. Молдавские элементы в пограничном украинском говоре; Гринько Г. В. К вопросу о взаимосвязях

основного словарного фонда и словарного состава северных молдавских говоров (на молдав. яз.); Борщ А. Т. [Рец. на кн.:] «Вопросы молдавского языкознания. Доклады науч. сотрудников Ин-та языкознания АН СССР и Ин-та истории, языка и лит-ры Молдав. филиала АН СССР на совместной сессии, посв. вопросам молдавского языкознания». — М., Изд-во АН СССР, 1953; Борщ А. Т., Орляну Н. Г., Руссеев Е. М. [Рец. на кн.:] «Румынско-русский словарь» под ред. Б. А. Андрианова и Д. Е. Михальчи. — Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, М., 1953.

13. Ученые записки [Кабардинского пед. ин-та]. Вып. 7. — Нальчик, 1955.

Бабайцева В. В. Переход кратких прилагательных в состав безлично-предикативных слов; Таболова Г. А. О соотношении форм дееспричастий совершенного вида в современном русском языке; Кокков Д. Н. Некоторые наблюдения над употреблением сложных слов — имен существительных в лексике современного русского языка.

14. Ученые записки [Киргизского женского пед. ин-та им. В. В. Маяковского]. Вып. 1. — Фрунзе, 1955.

Батманова Л. В. Словарная работа в Киргизии.

15. Ученые записки [Кишиневского ун-та]. Т. XV (филол. наук). — Кишинев, 1955. Ардентов Б. П. К изучению заонежского диалекта; Ардентов Б. П. Контактирующие слова; Захарова М. Н. К вопросу о семантическом словообразовании в русском языке.

16. Ученые записки [Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена]. Т. 104. Кафедра русского языка. — Л., 1955.

Матвеева-Исеева Л. В. Грамматические категории; Руднев А. Г. Обращение; Якубович М. П. К вопросу о придаточном определительном предложении. (По материалам I тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя); Матвеева Е. В. Из истории склонения имен существительных в русском языке (склонение слова *путь*); Чагишева В. И. Вторые именительные падежи в русском литературном языке XVIII века; Кодохов В. И. Способы передачи чужой речи в русском языке; Гринова Н. П. Из наблюдений над некоторыми устаревшими словами русского языка; Богородский Б. Л. Об одном термине из «Слова о полку Игореве» (*насады*—*носады*); Максимова М. К. Общественно-политическая лексика А. И. Герцена. (По материалам писем «С того берега»); Ильенко С. Г. К вопросу о принципах анализа речи персонажей. (По трилогии М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты»); Степанова В. В. Вопросы лексики в изучении языка исторического романа. (По роману А. Н. Толстого «Петр I».)

17. Ученые записки Ленингр. ун-та им. А. А. Жданова. № 180. Серия филол. наук. Вып. 21. Исследования по грамматике. — Л., 1955.

Трофимов В. А. Явления конструктивного параллелизма в синтаксисе современного русского языка; Моисеев А. И. Синтаксические наблюдения над употреблением инфинитива в русском языке; Иванова В. Ф. К вопросу о соотношении причастий и прилагательных в современном русском языке. (Причастия и прилагательные с суффиксом *-м*); Амосова Н. Н. Слова с опрошенным морфологическим составом в современном английском языке;

[Гербач Н. Р.] Суффиксальное образование прилагательных в новоанглийский период; Венедиктов Г. К. К вопросу о глаголах с двумя приставками в современном болгарском языке; Суровцев А. Н. Функции придаточных предложений причины в современном русском языке; Жигadlo В. Н. О переходности и непереходности глаголов в современном английском языке; Лейкина Б. М. О категории состояния в современном английском языке; Шигааревская Н. А. Ударение в современном французском языке; Акулова К. П. Качественные и обстоятельственные наречия в современном немецком языке; Коротаева Э. П. Условное предложение.

18. Ученые записки Ленингр. ун-та им. А. А. Жданова. № 203. Серия философ. наук. Вып. 8. Психология. — Л., 1955.

Ярмоленко А. В. К вопросу о многоязычии (взаимоотношение образа и понятия на двух языках).

19. Ученые записки [Могилевского пед. ин-та]. Вып. 1. — Минск, 1955.

Юргелевич П. Я. Особенности говоров Могилевской области.

20. Ученые записки [Моск. обл. пед. ин-та]. Т. XXXII. Вып. 2. Труды кафедры русского языка. — М., 1955.

Черных П. Я. К вопросу о «смешении» и «чистоте» языков; Мучник И. П. О значениях форм повелительного наклонения в современном русском языке; Бертагаев Т. А. Об основных типах аппозитивных сочетаний в русском языке; Кожин А. Н. К вопросу о смысловом преобразовании слов в русском языке; Кожин А. Н. Из наблюдений над сложносокращенными словами

в русском языке. (На материале лексики эпохи Великой Отечественной войны); Черных П. Я. О некоторых вопросах изучения языка А. С. Пушкина; Кардашевский С. М. Из истории изучения лексики курско-орловских говоров. (Обзор материалов.)

21. Ученые записки [Науч.-исслед. ин-та языка, лит-ры и истории при Совете Министров Чувашской АССР]. Вып. XII. — Чебоксары, 1955.

О дискуссии по некоторым вопросам чувашской грамматики [итоговая статья];

Дмитриев Н. К. Некоторые замечания к дискуссии в чувашском языкознании; Серебrenников Б. А. К вопросу о количестве падежей в чувашском языке; Убрятова Е. И. Замечки по поводу падежей в чувашском языке; Павлов И. П. О двух типах деепричастных конструкций в чувашском языке. (К вопросу о придаточном предложении); Андреев Н. А. О характере заимствований в чувашском языке; Андреев Н. А. Вопросы чувашской терминологии; Горский С. П. Язык и стиль народного поэта П. П. Хузангая; Шамрай Д. Д. К истории появления первой грамматики чувашского языка.

22. Ученые записки [Орехово-Зуевского пед. ин-та]. Т. II. Факт русского языка и лит-ры. Вып. 1. — М., 1955.

Белов А. И. Грамматическая система проф. А. М. Пешковского; Донован З. П. К вопросу об ударении в сложных словах; Муза Е. В. Славяно-книжная лексика, ее стилистические функции и приемы использования в языке прои-комических поэм В. Майкова и М. Чулкова; Бланк Л. Д. К вопросу о слове, понятии и значении.

23. Ученые записки [1-го Ленингр. пед. ин-та иностр. языков]. Новая серия. Вып. II. Вопросы грамматики и лексикологии. — Л., 1955.

Кашеева М. А. Заимствования как один из способов пополнения словарного состава английского языка в XIV — XV веках; Жельская О. С. К вопросу о словарном составе диалекта периода феодальной раздробленности. (На материалах псковской деловой письменности XIV — XV вв.); Рябова Г. М. Соотношение категорий вида и времени в процессе их развития в немецком языке. (На материале прошедших времен глагола); Шигаревская Н. А. К изучению носовых гласных французского языка; Шахова И. Н. Некоторые вопросы изучения основного словарного фонда и словарного состава французского языка; Потапова И. А. Сокращения в современном английском языке; Замчук Д. Б. Из наблюдений над фразеологией романов Анны Зиссер «Седьмой крест» и «Мертвые остаются молодыми»; Адмони В. Г. О двусоставности предложения; Дикшин О. И. К вопросу о чередовании форм в глаголах современного английского языка; Кузнецова Н. Н. Перевод на немецкий язык относительных прилагательных русского языка.

24. Ученые записки [1-го Моск. пед. ин-та иностр. языков]. Т. VII. Грамматический строй языка. — М., 1955.

Дегтярева Т. А. Системный анализ языковых явлений; Макаев Э. А. Вопросы синтаксиса индоевропейских языков (постановка вопроса); Долгопольский А. Б. Против ошибочной концепции «гибридных» языков. (О креольских наречиях); Гордон Е. М. Значение предложного сочетания с *by* в пассивной конструкции и при причастии прошедшего времени в современном английском языке; Поченцов Г. Г. К вопросу о классификации наречий английского языка; Гулыга Е. В. Модальные слова в современном немецком языке; Кантор А. М. К вопросу об адъективации причастий в современном немецком языке; Кузнецова О. Ф. К вопросу об олимпийных предложениях в немецком языке; Коленько Е. А. Конструкция *sein* с причастием II в современном немецком языке; Полякова Л. И. Словообразование имен посредством «полусуффиксов» в современном немецком языке; Резни И. И. Проблема обособления (на материале современного немецкого языка); Никольская Е. К. Конъюнктив во временных предложениях в современном французском языке; Филипович Н. И. Синтаксическое использование так называемого относительного придаточного предложения вне его основной определительной функции; Илья Л. И. Некоторые замечания к вопросу об аналитической форме частей речи во французском языке; Канонич С. И. К вопросу о функциях артикля в современном испанском языке; Воронцова Г. Н. Подлежащее — объект в английском языке; Аллендорф К. А. К вопросу о построении курса истории языка; Катагощина Н. А. Франсиский диалект и его место среди других старофранцузских диалектов; Слюсарева Н. А. Фонемы *ā* и *ae* в древнеанглийском языке.

25. Ученые записки Свердловского пед. ин-та. Вып. 11. Русский язык, литература, история. — [Свердловск], 1955.

Затопляев А. В. Обособленные определения и приложения; Кочн-

- нева О. К. О словообразовании некоторых наречий в современном русском языке; Кищинская Л. А. Приемы языковой характеристики образа в романе А. Н. Толстого «Петр Первый».
26. Ученые записки [Тамбовского пед. ин-та]. Вып. 7. — [Тамбов], 1955.
Морозова М. Н. «Русская грамматика» А. Х. Востокова; Горбунов П. Я. Из истории изучения словообразовательной роли суффиксов существительных в русском языке.
27. Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 38. Труды историко-филол. фак-та. — Таллин, 1955. — На эстон. яз. Резюме на русск. яз.
Каск А. Введенный Фр. Р. Крейцвальдом суффикс *-na(-nna)* в эстонском языке; Лаугасте Эд. Архаические черты в языке эстонских народных песен; Каск А., Эстонско-немецкий словарь С. Х. Вестринга и его роль в эстонской лексикографии; Аристе П. О древнем земледелии прибалтийских финнов по языковым данным.
28. Ученые записки Ташкентского юрид. ин-та. Вып. 1. — Ташкент, 1955.
Бакиров Ф. С. Некоторые вопросы узбекской юридической терминологии.
29. Ученые записки Уральского ун-та им. А. М. Горького. Вып. 13. Философия. — [Свердловск], 1955.
Архангельский Л. М. К вопросу о роли языка в формировании понятий.
30. Ученые записки [Чувашского пед. ин-та]. Вып. 2. — Чебоксары, 1955.
Михайлов М. М. К вопросу о происхождении и формировании чувашского языка; Рабинович Б. Д. О залогах в восточнославянских языках; Юшков С. П. Некоторые опыты и наблюдения по изучению чувашского глагола; Хмар-Борщева Т. Э. К вопросу о качественных изменениях в языке. (По материалам о функциях предложного падежа с предлогом «о» в русском языке.)
31. Ученые труды [Вильнюсского ун-та им В. Капсукаса]. Т. V. Ученые записки Историко-филол. фак-та. Т. I. — Вильнюс, 1955. — На литов. и русск. яз.
Зинкевичюс Э. Дательный падеж имен существительных с основой на *a* (õ). (На литов. яз. Резюме на русск. яз.); Палионис И. И. Несколько новых данных к истории грамматик литовского языка. (Анонимная рукописная «Grammatices Litvanicae»). (На литов. яз. Резюме на русск. яз.); Костельницкий В. Историческое развитие русско-литовских языковых отношений до середины XVI века.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

русских периодических и продолжающихся изданий,
принятых в журнале «Вопросы языкознания»

- ВЯ — Вопросы языкознания
ВИ — Вопросы истории
ВФ — Вопросы философии
ВДИ — Вестник древней истории
ИАН ОЛЯ — Известия АН СССР. Отделение литературы и
языка
ИАН ОТН — Известия АН СССР. Отделение технических
наук
«Р. яз. в шк.» — Русский язык в школе
«Ин. яз. в шк.» — Иностранные языки в школе
ФЗ — Филологические записки
РФВ — Русский филологический вестник
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и сло-
весности Имп. Акад. наук.
-